

Евгений
Водолазкин
Брисбен

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000037857540

Автор бестселлеров

«ЛАВР»,
«АВИАТОР»



Евгений
Водолазкин
Брисбен
Роман



Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В62

Художник — *Андрей Рыбаков*

Водолазкин, Евгений Германович.

В62 Брисбен : роман / Евгений Водолазкин. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 410, [6] с. — (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-111100-7

Евгений Водолазкин в своем новом романе «Брисбен» продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых — как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский — музыкант-виртуоз — на пике успеха теряет возможность выступить из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает... прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-111100-7

© Водолазкин Е.Г.
© ООО «Издательство АСТ»

There is a reason to imagine that a continent,
or land of great extent, may be found
to the southward of the track of former navigators.

James Cook, 1769¹

Есть основание предполагать, что континент
или значительного размера земля может быть найдена
к югу от пути прежних мореплавателей.

Джеймс Кук, 1769

25.04.12, ПАРИЖ — ПЕТЕРБУРГ

Выступая в парижской *Олимпии*, не могу сыграть тремоло. Точнее, играю, но нечетко, нечисто — так, как это делают начинающие гитаристы, издающие глухое бульканье вместо нот. Никто ничего не замечает, и *Олимпия* взрывается овациями. Я и сам забываю о своей неудаче, но, садясь под крики поклонников в лимузин, ловлю себя на характерном движении пальцев. Правая рука, словно искупая допущенную ошибку, исполняет теперь уже не нужное тремоло. Пальцы двигаются с невероятной скоростью. Касаются воображаемых струн. Так ножницы парикмахера, оторвавшись на мгновение от волос, продолжают стричь воздух. Подъезжая к аэропорту имени Шарля де Голля, выстукиваю неудачно сыгранную мелодию на стекле — ничего сложного. Как я мог запнуться на концерте?

Из Парижа лечу на съемки клипа в Петербург. Сосед по креслу пристегивает ремень. Поворачивает голову и замирает. Узнал.

— Вы — Глеб Яновский?

Киваю.

— Сергей Нестеров, — сосед протягивает руку. — Писатель. Публикуюсь под псевдонимом Нестор.

Вяло пожимаю руку Нестора. Вполуха его слушаю. Нестор, оказывается, возвращается с Париж-

ского книжного салона. Судя по запаху из его рта, на салоне были представлены не только книги. Да и у писателя не чеховский вид: оттопыренные уши, седловидный, с крупными ноздрями нос и никакого пенсне. Нестор вручает мне свою визитную карточку. Засовываю ее в бумажник и прикрываю глаза.

Нестор — мне, спящему:

— Мои вещи вряд ли вам известны...

— Только одна, — не открываю глаз. — *Повесть временных лет.*

Он улыбается.

— Что ж, это — лучшее.

Я, собственно, тоже пишу. Дневник — не дневник — так, изредка делаю записи, дома по вечерам или в аэропортах. Потом теряю. Недавно как раз в аэропорту и потерял. Исписанные кириллицей листы — кто их вернет? Да и нужно ли?

Самолет вырывается на взлетную полосу, приостанавливается, но мотор тут же резко увеличивает обороты. Рыча и сотрясаясь от нетерпения, машина в одно мгновение набирает скорость. Так ведет себя на охоте хищник — дрожит, поводит хвостом. Не сразу вспоминаю, кто именно. Кто-то из семейства кошачьих — какой-нибудь, допустим, гепард. Хороший образ. Охота на пространство, отделяющее Париж от Петербурга. Самолет отрывается от земли. Наклонив крыло, совершает прощальный круг над Парижем. Чувствую, что начинаю засыпать.

Просыпаюсь от тряски, сопровождаемой объявлением о зоне турбулентности. Просьба ко всем — пристегнуть ремни безопасности. А я только что отстегнул. Даже ремень на брюках ослабил — жмет. Подходит стюардесса с просьбой пристегнуться. Го-

ворю ей, что не люблю ремней — ни в машинах, ни в самолетах. Не для свободного человека приспособление. Девушка не верит, ведет себя в высшей степени кокетливо и на все мои доводы отвечает коротким *вау*. Ей искренне жаль, что такой замечательный артист летит непристегнутым.

Прекращая беседу, демонстративно поворачиваюсь к Нестору. Спрашиваю, тяжело ли писать книги. Нестор (спал пьяным сном) бормочет, что не тяжелее, чем играть на гитаре. Стюардесса не выражает ни малейшего раздражения, ясно ведь: звезда капризничает. Уж так им, звездам, положено. Грозит в шутку пальцем и уходит. Провожая ее взглядом, Нестор неожиданно говорит:

— Сейчас вдруг подумал... Я мог бы написать о вас книгу. Вы мне интересны.

— Спасибо.

— Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал.

Обдумываю предложение минуту или две.

— Не знаю, что и ответить... Обо мне есть уже несколько книг. По-своему неплохие, но все как-то мимо. Понимания нет.

— Музыкального?

— Скорее, человеческого... Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное проистекает из человеческого.

Нестор тщательно обдумывает сказанное. Вывод — неожиданный:

— Я думаю, моя книга вам понравится.

Алкогольный выдох как предложение верить. Становится смешно.

— В самом деле? Почему?

— Потому что я хороший писатель. Нескромно, конечно...

— Есть немного. А с другой стороны — чего уж тут скромничать, если хороший. — Выстукиваю тремоло на подлокотнике кресла. — Валяйте, пишите.

Ритмичный стук напоминает мне, как сорок с лишним лет назад в Киеве выстукивал ритм Федор, мой отец, проверяя музыкальный слух сына. Чем не начало для книги? Поворачиваюсь к Нестору и кратко информирую его о самом первом моем экзамене, воспроизвожу даже предложенное тогда задание. Я с ним тогда не справился. Нестор, улыбаясь, стучит пальцами по подлокотнику. Он тоже проваливает экзамен.

1971

Накануне первого дня учебы Глеб сидел перед Федором и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести ритм. За окном трезвонили, поворачивая, трамваи. В ответ кротко звякала в буфете посуда. Потом Федор спел что-то и попросил повторить. Мелодию повторить не удалось — только слова: паба-паба, паба-паба, паба-па... Не ахти какие слова — не скажешь, что проникновенные, да и запомнились они единственно потому, что напоминали слово *papa*. Впрочем, Федор просил называть его по-украински — *tato*. Мало кто в Киеве так называл отцов. С Глебом и женой Ириной Федор не жил уже несколько лет: Ирина от него ушла. Вернее, ушел-то как раз Федор, которого Ирина попросила покинуть их жилье в семейном общежитии. Будучи изгнан, он снял комнату в другой части города и, имея диплом музучилища, устроился преподавать в музыкальной школе скрипку. Некоторое

время после развода пил, предпочитая дешевые изделия вроде *72-го портвейна* или *Букета Молдавии*. Крепких напитков не любил. Если уж пил водку, то, наполнив рюмку, делал это не сразу — несколько раз подносил к глазам, ко рту. Несколько раз выдыхал. Затем зажимал пальцами нос и вливал огненную воду в широко открытый рот. Бывшая жена считала это пьянство показным, поскольку протекало оно преимущественно на виду у тех, кто мог Ирине о нем рассказать. В одном из редких разговоров с бывшим мужем такое поведение Ирина назвала детским. Не переходя на русский, Федор возразил ей, что определение не выдерживает критики, поскольку дети, по его представлениям, не пьют. Логика была на его стороне, но вернуть Ирину это не помогло. Года три-четыре спустя, когда Федору стало окончательно ясно, что жена не вернется, пьянство прекратилось. Ирина позволяла отцу навещать Глеба, но радости от этих посещений не испытывала. Строго говоря, не испытывал их и сам Глеб. Взяв мальчика на прогулку, Федор по большей части молчал или читал наизусть стихи, что для Глеба в каком-то смысле было хуже молчания. Порой, когда в конце прогулки Глеб уставал, Федор брал его на руки. Их глаза оказывались тогда на одном уровне, и сын рассматривал отца немигающим детским взглядом. Под этим взглядом в карих глазах Федора появлялись слёзы. Одна за другой они скатывались по щекам и навеки исчезали в пышных усах. Несмотря на очевидную трезвость в начале прогулки, к концу ее Федор непостижимым образом оказывался навеселе. Сидя на руках у отца, Глеб различал запах дешевого вина. С этим запахом в памяти мальчика прочно соединились отцовские слёзы. Может быть, они и в самом

деле так пахли — кто изучал запах слез? Когда без пяти минут первоклассник Глеб заявил о своем желании учиться играть на гитаре, Ирина сама привела его к Федору. Сидела в углу и молча следила за тем, как, повторяя напетое отцом, Глеб не попадал в тональность. Гліб... Федор налил себе полстакана вина и выпил в три глотка. Гліб, дитя моє, ти не створений¹ для музики. Папа, не пей, попросил по-русски Глеб. Отец налил еще полстакана и сказал: п'ю, бо ти не створений для музики — перший з музичного роду Яновських. Заметил лежащую на столе хлебную корку и поднес ее к носу: прикро! Что такое *прикро*, спросил Глеб. Прикро — это досадно, сказала Ирина. Да, досадно, подтвердил Федор. Не проронив больше ни слова, мать взяла сына за руку и вывела из комнаты. На следующий день они пошли записываться в ближайшую музыкальную школу. Там Глеба тоже попросили повторить ритмическую фразу и пропетую мелодию. Волнуясь, мальчик выполнил задание еще хуже, чем накануне, но это никого не обескуражило. Неожиданность подстерегала Глеба в другом: его рука оказалась слишком мала для гитарного грифа. Потому в музыкальную школу его пред-

¹ (Не) создан.

Автор исходит из того, что украинский язык русскому читателю в целом понятен. Тем не менее в книге предлагается перевод отдельных слов, способных вызвать у читателя затруднения. Слова переводятся в форме (род, число, падеж, лицо), соответствующей оригиналу. При чтении украинских текстов следует принимать во внимание, что буква *e* читается как русская буква э, *є* как е, *і* как и, *и* как ы, *ї* как йотированная и, *г* напоминает жестко произнесенную х. Звонкие согласные в конце слога не оглушаются, *о* в безударном положении не переходит в а.

ложили принять по классу четырехструнной домры — до тех, по крайней мере, пор, пока не вырастет его рука. Ирина, явно растерянная, спросила, почему речь идет именно о четырехструнной домре. Ей ответили, что есть, конечно, и трехструнная домра, но типично украинской (гитару в руках Глеба заменили на домру) является все-таки четырехструнная. Гриф домры пальцы мальчика обхватывали без напряжения. Ирину также попросили не путать обе домры с восточной домброй и даже собирались объяснить разницу между ними, но этого она не захотела слушать. Хотела было спросить, отчего это нельзя подобрать для Глеба гитару меньших размеров; спросить, не обманом ли суют ее сына туда, куда добровольно никто не идет, но — промолчала. Встав, просто взяла Глеба за руку. Другая его рука все еще держала домру. Ирина показала взглядом, что инструмент можно положить, но Глеб этого не сделал. Ты хочешь играть на четырехструнной домре, поинтересовалась она. Хочу, ответил мальчик. Это решило дело, потому что мать старалась ему лишний раз не отказывать. В музыкальную школу его записали по классу домры. Тогда же Глеб пошел и в обычную школу. Он навсегда запомнил цвета, запахи и звуки, явленные ему 1 сентября 1971 года, потому что в тот день его чувства резко обострились. Запах только что поглаженной школьной формы — коричневой, с кинжальными стрелками на брюках. Цвет и стрелки были тем, что, казалось Глебу, рождало этот запах. Точно так же, как запах болоньевой куртки возникал из водонепроницаемых свойств материала. При первом же дожде материал оказался проницаемым, но на память о запахе это никак не повлияло. Это была первая болоньевая куртка Глеба,

носившего до того только пальто. Теплый сентябрьский день не требовал куртки, но мальчику очень хотелось прийти именно в ней, хотя мать была против. Спустя годы, рассматривая свою первую школьную фотографию, Глеб Яновский нашел эту куртку на редкость бесформенной. Он так и не смог понять, чем именно изделие тогда ему нравилось. Может быть, оно опьяняло его своим запахом, как хищное растение пьянит насекомых. Как бы то ни было, 1 сентября мать, как всегда, пошла ему навстречу. Помогла надеть куртку и ранец. Посоветовала лишь куртку не застегивать. Ранец пах кожей, и еще водой и маслом, и ядовитой пластмассой пенала, в котором громыхали ручки и карандаши. При спокойном движении мальчика громыхание было умеренным, но когда он переходил на бег, звук многократно усиливался. Отбивавшийся четкий ритм напоминал оркестровую погремушку мараку. Будучи уже постарше, мальчик задавался вопросом: где учатся игре на мараке — неужели в музыкальной школе есть класс мараки, подобно классу скрипки или фортепиано? И не находил ответа, потому что не было такого класса. Так вот, ранец, школа. По желанию отца Глеба отдали в школу, где обучали на украинском языке. Мать не возражала. Она почти никогда не возражала. Зная ее способность примиряться с обстоятельствами, можно было бы удивиться тому, что ей хватило характера расстаться с мужем. Удивительным, однако, было скорее то, что они с ним сошлись. Федор был родом из Каменца-Подольского, а Ирина — из Вологды, оба в свое время учились в Киевском институте гражданской авиации, и оба попали туда случайно. Ирина — после неудачной попытки поступить в театральный, Федор — в консерватор-

рию. Так они получили возможность остаться в большом городе. Гражданской авиацией не интересовались ни в малейшей степени. Это была одна из немногих вещей, которая их объединяла. В остальном же они говорили на разных языках в прямом и переносном смысле. Считается, что несходство рождает влечение, и это справедливо — но только на первых порах. Да, темноволосого южанина Федора притягивала северная красота Ирины. Эта красота была как туман в кратком утреннем безветрии, как сон царевны, который соблазнительно нарушить, была тихим прудом, по которому хочется, чтобы пошли круги. На Ирину же производила впечатление неизменная задумчивость Федора, намекавшая на опыт и мудрость. Она с удовольствием вслушивалась в произносимые им украинские слова и каждую минуту требовала перевода. Но то, что разогревало чувства в первые годы, с течением времени в глазах Ирины обратилось в свою противоположность. Задумчивость Федора стала казаться ей угрюмостью, мудрость являлась не с той частотой, на какую она рассчитывала, а непонятные слова красивого, но чужого языка начинали вызывать раздражение. Она уже не спрашивала их перевода, дожидаясь, когда Федор догадается сделать это сам. Ирина могла бы заставить его перейти на русский (в ответственных случаях он так и поступал), но в произношении Федора родной язык казался ей чудовищным. А в постели, слыша его русские слова, она смеялась, как от щекотки, отталкивала его и просила говорить только по-украински. А потом она ушла. Уже взрослым Глеб неоднократно слышал об иной причине развода — якобы *легкомысленном* поведении Ирины. В легкомыслие матери (что бы под ним ни подразумевалось) он, пожалуй,

мог бы поверить, но развод с ним не связывал. Причина развода, как казалось ему, была глубже и в чем-то трагичнее. Произошедшее между родителями Глеб объяснял той особой задумчивостью, в которую отец время от времени впадал. Этой задумчивости мать, человек жизнерадостный, стала бояться. В такие минуты Глеб также чувствовал себя неудобно. Отец словно проваливался в глубокий колодец и созерцал оттуда звёзды, видимые только ему, — даже днем, такова оптика колодцев. Когда Ирина ушла, всю полноту чувств Федора ощутила скрипка. Обычно он играл наедине с собой. Эту игру Глеб однажды слышал, когда с разрешения матери остался ночевать у отца. Рано утром, чтобы не будить мальчика, Федор играл, закрывшись в ванной. Включив к тому же воду, чтобы заглушить звуки скрипки. Эти звуки, смешанные с шумом воды, потрясли Глеба до глубины души. В 2003 году он записал несколько композиций, где на фоне шума воды звучит гитара, и это было воспоминанием об игре отца. Когда он их записывал, у него возникла вдруг мысль, что на самом деле воду отец тогда включил, чтобы спокойно повеситься. Когда Глеб закончил записывать композиции с дождем, ему сказали, что на них лежит отблеск отчаяния. Глеб ничего не ответил. Он помнил особое выражение глаз отца, которое только и можно было определить как отчаяние. Что же в действительности тогда происходило? Была ли Ирина легкомысленной? Скорее — легко всё воспринимающей, отдающей явное предпочтение солнечной стороне жизни. И не склонной особо вникать в ее теневые стороны. Она часто повторяла, что хотела бы жить в Австралии — почему-то эта страна казалась ей воплощением беззаботности. В шутку

просила, чтобы нашли ей мужа-австралийца, с которым они могли бы путешествовать по всему миру. В одном из таких разговоров Глеб впервые услышал слово *Брисбен*. Говоря о городе своей мечты, мать назвала Брисбен. Когда ее спросили, почему именно этот город, ответила просто: красиво звучит. Ответ показался смешным — всем, кроме Глеба. Брисбен. Город легко присоединился к Зурбагану, Гель-Гью и Лиссу, о которых мальчик читал у Александра Грина. Глеб тогда спросил у матери, возьмет ли она его с собой в Брисбен. Конечно, возьмет. Мать поцеловала его в лоб. Как она может его не взять? Придет время, и они будут жить в Брисбене. Годы спустя, когда Глеб уже заканчивал школу, Ирина на сэкономленные деньги хотела купить себе путевку в Австралию. Ее вызвали на парткомовскую комиссию, которая должна была разрешить ей поездку, точнее, как выяснилось, — не разрешить. Она не была членом коммунистической партии, так что вопрос, отчего все решалось партийным комитетом, остается открытым. Ей предложили поименно назвать членов политбюро, поинтересовались, о чем шла речь на последнем съезде компартии, и попросили перечислить основные преимущества социалистического строя перед капиталистическим. Она ответила на первое, на второе и даже на третье. Третье представлялось ей самым сложным, но она справилась и с этим, потому что готовилась тщательнейшим образом. И тогда Ирине был задан последний вопрос — неотразимый, как танковый залп. Ее спросили, видела ли она уже всё в СССР. На этот вопрос невозможно было ответить утвердительно — слишком уж велика была страна, в которой ей довелось родиться. Отрицательный же ответ подразумевал,

что матери Глеба следует отложить поездку в Австралию до полного ознакомления с СССР — так, по крайней мере, казалось членам комиссии. В разрешении ей было отказано. Впрочем, отнеслась Ирина к этому легко; она почти ко всему так относилась. Может быть, благодаря именно этому качеству вскоре после развода получила комнату в коммуналке. Получила от конструкторского бюро, в которое ее распределили после учебы, как молодой специалист в области гражданской авиации. Отнесись она к такой возможности серьезно — ничего, наверное, ей бы не дали. С переездом из общежития в коммуналку в жизни Глеба изменилось многое. Прежде всего — появилась бабушка Антонина Павловна. Она приехала из Вологды подменять мать, то и дело уезжавшую в разных направлениях. Свое отсутствие мать объясняла командировками, причем всякая заканчивалась подарком Глебу. Подарки — чаще всего это были пластмассовые игрушки — тихо раскладывались на подушке спящего мальчика. Он не задумывался, почему мать любила именно такие игрушки, просто принимал их с благодарностью. Как натренированная на поиск собака, просыпался от чуть слышного пластмассового запаха, касавшегося его ноздрей, потому что это был запах радости. Открыв глаза, видел мать. Она сидела на табуретке у его кровати и улыбалась. Порой плакала: никогда ее возвращения не были делом обыденным. Отчего у тебя стало так много командировок, спросил однажды Глеб. Мать покраснела и не ответила. Бросила взгляд на бабушку, но та сделала вид, что ничего не заметила. Вытерла руки о передник — у нее всегда был этот спасительный жест. Когда мать ушла на работу, Глеб повторил свой вопрос бабушке. Антони-

на Павловна, помолчав, приложила палец к губам. Тс-с, сказала она Глебу, понимаешь, ей нужен рядом надежный человек, только где его найдешь? А папа, спросил Глеб, — он ненадежный? Папа... Бабушка вздохнула и развела руками. Между тем папа был очень рад, что Глеб играет на украинском народном инструменте, в особенности же — что сын выбрал его сам. Отсутствие слуха теперь не казалось Федору непреодолимым препятствием, — он высказывался даже в том духе, что абсолютный слух при игре на домре и не нужен. Для игры на скрипке, у которой нет ладов, он, да, желателен, но к инструментам, гриф которых разделен на лады, такое требование избыточно. К тому же слух, по мнению Федора, мог еще и развиваться. (Якоюсь мірою¹, уточнял он.) В один из дней Федор повез Глеба в магазин музыкальных инструментов и предложил купить ему домру. Выбрать ее отец демонстративно предоставил сыну: разбираться в качествах двенадцатирублевых инструментов он считал ниже своего достоинства. Пробежавшись по магазину, Глеб остановился на самой темной из всех домр и принес ее отцу. Федор строго посмотрел на сына: у неї ж немає струн. Будь уважний², синку. После некоторого колебания отец взял одну из домр и провел большим пальцем по струнам. Поморщился от фанерного звука, напоминавшего звяканье игрушечной балалайки. Другая домра была такой же, и все остальные тоже. Выбрали, как и хотел Глеб, по цвету — не такую темную, как первая, но зато со струнами. Когда они вернулись, дома пахло приготовленным обедом. Останешься обедать

¹ (В какой-то) мере.

² Внимателен.

с нами, спросил отца Глеб. Ні, ответил Федор. Мене ніхто й не запрошує. Что такое *не запрошує*, полюбопытствовал мальчик. Не приглашает, глядя в глаза Федору, пояснила Ирина. Бабушка молча вытирала руки о передник. Ей казалось, что человека, еще недавно бывшего мужем ее дочери, следует пригласить.

18.07.12, КИЕВ

Приехав на гастроли в Киев, посещаю отца. Он принимает меня доброжелательно, но без лишней суеты.

— Привіт, москалю. Що скажеш?

Улыбается. Улыбаюсь в ответ:

— Скажу: вливайтесь в империю!

На папиросную бумагу отец насыпает табак, скручивает ее и, проведя по ней языком, склеивает. Этого раньше не было.

— Нам цього не можна.

— Почему?

Он щелкает зажигалкой и выпускает первый клуб дыма.

— А ти, синку, подумай сам.

Входит Галина, вторая жена отца, испуганно мне кивает. Ставит перед мужем пепельницу и выходит.

— У меня какие-то сложности с правой рукой, — сгибаю и разгибаю пальцы. — Выступал в Париже — чуть не провалился.

— Грають не рукою — душею. Згадай¹ Паганіні — він грав за будь-яких обставин².

¹ Вспомни.

² (При любых) обстоятельствах.

Смотрит на меня с полуулыбкой.

— Одна струна у него все-таки была — это уже кое-что. А вот без руки, знаешь...

— Він зіграв би і зовсім без струн, синку. І без руки б зіграв. — Подумав, отец добавляет: — А втім¹ — піди до лікаря.

Да, возможно, схожу. Перед самым уходом почему-то вспоминаю о предложении литератора из Петербурга написать обо мне книгу. Рассказываю об этом отцу. Он пожимает плечами, и я уже жалею, что рассказал. Скручивает новую папиросу, закуривает.

— Музыка — вона і в Петербурзі музика. Хай пише.

Выпущенный дым проделывает сальто-мортале — настолько же сложное, насколько медленное. С возрастом, кажется, и отец замедлился. Стал мягче. А может быть, равнодушнее.

— Тут не в музыке дело, — говорю. — Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. Это он потом становится музыкой или, там, литературой. Не знаю, поймет ли это писатель.

От отца до гостиницы иду пешком. Чтобы не узнавали, надвигаю на нос кепку — это лучше, чем солнцезащитные очки, которые привлекают внимание сами по себе. Дорога лежит через Ботанический сад. По боковой аллее дохожу до кафе, в котором мы с бабушкой ели мороженое. Кафе на месте, мороженое, по-видимому, тоже, а вот бабушки — нет. В каждый приезд прихожу на кладбище, где нас разделяет два метра грязно-рыжей глины.

Сажусь на скамейку и смотрю на кафе. У самых ног — белка. Стоит на задних лапках, передние мо-

¹ Впрочем.

литвенно сложены на груди. Объясняю ей, что еды с собой не ношу, что мог бы, конечно, что-то купить и принести ей, но это так сложно... Слова бессильны. Хлопаю себя по карманам, чтобы белка видела: угостить мне ее нечем. Для наглядности достаю бумажник и даже его открываю. Есть в этом, безусловно, излишняя театральность. В смысле продуктов возможности бумажника никакие. Предел мечтаний — сыр в нарезке.

Замечаю визитку Нестора. Зачем я начал рассказывать ему о детстве? Зачем он всё это будет писать? Возникает мысль бросить визитку белке — пусть она ему позвонит. Напишет о белкиной жизни, разве она не интересна? Обо мне издано уже с полдюжины книг, а вот о белке, пожалуй, ни одной. Разве что *Повести Белкина*. Беру кусочек картона двумя пальцами, всё готово для полета. Медлю. В сущности, о моей жизни тоже — ни одной. О чем угодно писали, только не о жизни. М-да, есть о чем подумать... Кладу визитку обратно.

1972

Всю осень Глеб провел с Антониной Павловной. После школы они ходили в Ботанический сад, который находился прямо против дома. Ботаническим садом это сказочное место никто не называл, говорили — *Ботаника*. Там Глеб с бабушкой собирали букеты кленовых листьев, ярко-желтых и ярко-красных, — они стояли по всей комнате в молочных бутылках. Собирали шиповник, из которого бабушка заваривала чай. Сам по себе шиповник не слишком увлекателен, с чем-то таким она его смешивала, что

делало вкус чая богаче. Но главный интерес чая состоял, конечно же, в том, что шиповник был собран своими руками. Это была открытая часть Ботаники, где позволялось собирать всё что угодно. Сад спустился с холма террасами, и на одной из террас водились белки. Точнее, водились-то они по всей Ботанике, но на этой террасе позволяли себя кормить. Брели еду прямо из рук. В кармане демисезонного пальто Антонина Павловна приносила для них лесные орехи. Пальто она купила в Киеве и слово *демисезонное* (видимо, услышав у кого-то) некоторое время произносила в нос, потом перестала. В остальном же по-вологодски *окала*: хорошо, молоко, мороженое. Да, мороженое: оно было главной радостью Ботаники, а днем его было воскресенье. Часов около двух бабушка с внуком приходили в открытое кафе, размещавшееся над выходом метро *Университет*. Всё здесь было круглым: выход метро, кафе, не говоря уже о шариках мороженого — они просто не могли быть другими. Их подавали в пластмассовых вазочках, а ели пластмассовыми ложечками. Эти прекрасные вещи были неотчуждаемой собственностью кафе, поскольку время одноразовой посуды еще не наступило. Между тем Глебу ложечки очень нравились. Как-то раз, облизав одну после очередной порции мороженого, он засунул ее в карман штанов. О приобретении сообщил бабушке дома. Бабушка еще ничего не сказала, а ответ уже отпечатался на ее лице. Всё в этом лице в буквальном смысле опало: надбровные морщины, мешки под глазами, уголки губ. Получалось так, что ложечку он украл — и завтра после школы они вместе (мы ведь украли вместе, уточнила бабушка) пойдут ложечку возвращать. Возврат мыслился Глебу актом торжественным

и страшным, с привлечением всего персонала кафе, а может быть, и милиции. Ночью он почти не спал, а потом оказалось, что все-таки спал, но сон был хуже бодрствования. Вот они с бабушкой входят в кафе, садятся за столик. Не успевают еще ничего заказать, как от соседних столиков к ним бегут милиционеры, притворяющиеся рядовыми любителями мороженого. Одеты в штатское, во внешнем виде — избыточная легкомысленность: панамы, шейные платки, шорты. Уже по одному этому можно было бы догадаться, что речь идет о засаде. Милиционеры бросаются на Глеба (полные ужаса глаза бабушки), и это самый страшный эпизод ареста. Когда заламывают ему руки за спину — не страшно, когда защелкивают наручники и ведут к машине марки *Волга*, ГАЗ-21 — не страшно. А вот когда вскакивают и бегут к нему — страшно. Суки, менты гребаные, кричит Глеб, переходя на визг. Так кричит сосед дядя Коля, когда его забирают, — кричит и катается по полу, а вся квартира смотрит на него с осуждением. Смотрит сверху вниз. И Глеб катается, ловя взгляд бабушки: что, дождалась? Что, нельзя было дома отсидеться? Бабушка плачет: она уже всё поняла. Сидеть в машине со связанными сзади руками неудобно, но то, что его везут в *Волге*, несколько скрашивает ситуацию. Глеб давно мечтал прокатиться на *Волге* (один олень впереди чего стоит!), только всё как-то не складывалось... Да, часть ночи он все-таки не спал — и потом подремывал на уроках. После уроков они с бабушкой действительно пошли в кафе. Вопреки ожиданиям мальчика, всё прошло довольно просто и даже не без приятности — потому, наверное, что самое плохое случилось ночью. Бабушка заказала две порции мороженого и, пока их несли,

положила злосчастную ложечку на соседний стол. Через много лет Глеб вспоминал эту ложечку в самолетах, помешивая поданный стюардессой чай. В то время он летал почти еженедельно (бабушки уже не было рядом — она, мертвая, лежала на киевском кладбище *Берковцы*) и имел, соответственно, широкие возможности выбирать себе ложечки по душе. Но не взял больше ни одной: жизнь — учит. Теперь об учебе. Глеб, как сказано, ходил в школу с украинским языком обучения. Этот выбор приветствовался не только отцом (что понятно), но и матерью, считавшей, что нужно знать язык края, в котором живешь. На сделанный выбор повлияло, правда, и практическое обстоятельство. В то время как русские школы ломались от желающих в них учиться (5 параллельных классов по 45 человек в каждом), в украинских царили спокойствие и камерность. Класс Глеба насчитывал 24 ученика, а параллельных классов не было. В этой школе учились дети украинских писателей и — поскольку она находилась рядом с вокзалом — ребята из ближайших к Киеву сел. Глеб не принадлежал ни к тем, ни к другим, и его украинский ограничивался отдельными словами, услышанными от отца. Впрочем, в ответственных случаях выяснялось, что писательским детям известно было тоже не всё. Когда на первом уроке классная руководительница Леся Кирилловна спросила, как по-украински будет *камыш*, ответ знали только деревенские. *Очерет*, произнес ученик по фамилии Бджилка. *Очэрэт*, зачарованно прошептал Глеб. Он с горечью подумал, что среди людей, знающих такие волшебные слова, ему делать нечего. Он обречен плестись в хвосте и восхищаться теми, кто впереди. Глеб, однако, ошибся. За все последующие годы

Бджилка не дал больше ни одного правильного ответа: *очерет* был его звездным часом. Впоследствии Глеб пытался вспомнить, отчего на первом уроке Леся Кирилловна заговорила о камышах. Очевидно, было тому какое-то объяснение. Хотя не обязательно: в общеобразовательных учреждениях случались ведь и необъяснимые вещи. Даже загадочные. Так, в минуту гнева Леся Кирилловна шевелила губами, что-то беззвучно произнося. То есть кое-что в таких случаях она произносила и вслух, но озвученное имело в целом характер благополучный — по крайней мере, в сравнении с выражением ее лица. Загадкой оставалось лишенное звука, и выражение лица соответствовало, очевидно, ему. Когда однажды Глебову уху случилось оказаться у самых губ Леси Кирилловны (она наклонилась над ним), некоторые из загадочных слов прояснились. Есть случаи, когда разгадка не приносит утешения. И радости не приносит. Радость в жизни вообще редкая гостья. Из всех безрадостных вещей не было в эти годы ничего безрадостнее уроков русского языка. Каждый такой урок Леся Кирилловна начинала с разминки, которая, по рекомендации методички, включала в себя скороговорки. В сущности, это была одна, но очень печальная скороговорка: *жутко жуку жить на суку*. Сначала сидящие в классе произносили ее по очереди, затем — хором. Выслушав всех с мрачным видом (а с каким еще видом можно слушать такой текст?), Леся Кирилловна облизывала губы и готовилась показать эталонное произношение. В первом у она плавно переходила на вой, остальные были не многим краше. В таком исполнении скороговорка лишалась скорости, но ощутимо приобретала в жути. Лишь послушав Лесю Кирилловну, чувства жука

можно было понять в полной мере. Некоторые плакали, глядя, как, стоя у стола, их учительница выпускала одну у за другой и они бесконтрольно (и жутко) летали по классу. Вообще говоря, с Лесей Кирилловной всё было не так просто: как-то в середине учебного года, заглянув в дверную щелку, ученица Плачинда увидела, как Леся Кирилловна садилась поочередно на места разных учеников и, подражая им, тонкими детскими голосами давала ответы на учительские вопросы. Чтобы задать эти вопросы, педагог всякий раз возвращалась за свой стол и оттуда нарочито брутальным голосом обращалась к очередной жертве. Голос ее сам по себе был достаточно брутален, так что усиления, строго говоря, не требовалось. Больше всего ученицу поразили два обстоятельства. Первое: отвечая в роли Плачинды, Леся Кирилловна гримасничала, горячо жестикулировала, и из ее писка было понятно, что урок не выучен. Второе: вернувшись на учительское место, Леся Кирилловна обрушила на отвечавшую поток отборных матерных ругательств. Да, ученице было неприятно, что кто-то видит ее так со стороны, да, неприятно, что не выучен урок, но почему, спрашивается, мат, да еще какой мат! Когда она рассказала обо всем дома, родители, к ее удивлению, проявили сдержанность. Пожевав губами, Плачинда-отец пробормотал, что, в конце концов, школа общеобразовательная, что обучение школьников ведется в самых разных направлениях... Между тем, помимо общеобразовательной, Глеб продолжал ходить и в музыкальную школу. Первые две недели с ним занималась одна лишь Вера Михайловна, молодая полная дама. Несколько раз мальчик слышал, что она — его учительница *по специальности*. Ему нравилось, что

теперь у него есть специальность, есть учительница, которая занимается с ним одним и *ставит ему руку*. Его маленькая ладонь в руках Веры Михайловны была пластилином: преподаватель лепила из нее руку настоящего домриста. Она придавала его пальцам правильное положение, иногда встряхивала, как бы сбрасывая с них все ошибки и неточности, и мяла, мяла, мяла. Именно эта часть занятий нравилась Глебу больше всего. От прикосновений Веры Михайловны по его руке и позвоночнику проходил низкого напряжения ток. Может быть, поэтому он довольно быстро научился правильно держать медиатор, небольшой пластмассовый лепесток, которым касаются струн домры. В отличие от гитарных струн, которые длинны и мягки, струны домры коротки и жестки, здесь без медиатора не обойдешься. Держать его следует большим и указательным пальцами правой руки, сама же рука (кисть) должна иметь форму домика. Играть нужно — и это очень важный момент — кистевым движением, а не всей рукой. Вот кистевое-то движение у Глеба и не получалось, почему-то начинала двигаться вся рука. Но к началу октября получилось. В октябре Ирина с Глебом и Антониной Павловной не жила. Она заходила домой почти каждый вечер, пила чай, но ночевать отправлялась в какое-то другое место. В отличие от командировок, это была долговременная история, а главное — куда более серьезная. Куда ты всё время уходишь, спрашивал ее Глеб, но мать не отвечала. Улыбалась. В глазах ее светилось счастье. В ноябре она вернулась домой, причем как-то странно, среди ночи. Вид у нее был подавленный. Глеб с бабушкой ничего не спрашивали, а она не объясняла. С этого дня все ночи Ирина проводила дома, что

Глеба несказанно радовало. Ему вовсе не было плохо с бабушкой, просто он любил, когда все в сборе. Кроме того, Антонина Павловна, как ни крути, была во всех смыслах бабушкой — и по возрасту, и по положению, Ирина же — молодой женщиной, с которой ему было интересно. Той осенью, однако, в жизни Глеба возникла женщина, общение с которой оказалось еще интереснее. Это была учительница музыкальной школы Клавдия Васильевна (Глеб мысленно называл ее Клавочкой), которая стала его первой любовью. Клавочка была, в сущности, совсем еще девочкой, но даже в этих обстоятельствах она оказывалась втрое старше своего почитателя. И примерно вдвое выше. Впрочем, не это беспокоило Глеба больше всего. Клавочка преподавала то, что любимой женщине преподавать ни в коем случае не следует: сольфеджио. Отправляясь раз в неделю к ней на урок, Глеб испытывал два противоположных чувства: любовь к Клавочке и отвращение к ее предмету. До сольфеджио музыка казалась ему слетевшей с небес, не имеющей в своей красоте никаких объяснений. Но объяснения существовали, и они были похожи скорее на математику, чем на музыку. Воздушный корабль, на котором пустился в плавание Глеб, имел, оказывается, довольно мрачное машинное отделение, где ухали маховики и остро пахло смазкой. Самым удивительным было то, что командовала в этом крошечном мире Клавочка. Свойства же этого мира стали понятны Глебу не сразу. Пока Клавочка объясняла длительность нот и особенности нотного стана, ничего плохого даже не приходило в голову. Первые опасения стали закрадываться, когда она перешла к трезвучиям. Сообщила, что трезвучием называется аккорд из трех зву-

ков, расположенных по терциям. Одна лишь радость была в этом — смотреть на Клавочкины тонкие пальцы, которыми она показала трезвучия на фортепьяно: до-ми-соль. Потом спела еще: до-ми-соль. Голос нежный, бархатный — спела бы, честное слово, что-нибудь другое... Что еще было плохо на сольфеджио — Клавочка занималась не с одним Глебом: на занятиях присутствовало еще семь человек. И все, кстати, кроме учащейся Анны Лебедь (специальность — виолончель), сольфеджио не любили. Например, сидевший за одной партой с Глебом Максим Клещук (аккордеон) постоянно сучил ногами, а при слове *трезвучие* покрывался потом. Как-то раз Клавочка целое занятие посвятила обращению трезвучий, которое состоит в перенесении нижнего звука на октаву вверх. Первое обращение — секстаккорд, второе обращение — квартсекстаккорд. Клещук, сказала она в конце занятия, построй-ка мне тонический секстаккорд в до мажоре. Клещук, и до того сидевший с напряженным лицом, словно окаменел. По его лицу беззвучно катились крупные слёзы. Под его сидением раздавалось негромкое журчание. Все смотрели под сидение Клещука, потому что, как бы ни были крупны его слёзы, журчать они, безусловно, не могли. Правая рука аккордеониста лежала на парте и держала авторучку, а левая сжимала что-то под партой. С сидения, имевшего вогнутую форму, тонкая струйка стекала в образовавшуюся на полу лужу. Больше о трезвучиях Клавочка Клещука не спрашивала, ограничиваясь вопросами о длительности нот. Это значило, что о трезвучиях должны были чаще говорить другие ученики. Глеб мало что мог сказать любимой девушке о трезвучиях, и это его очень рас-

страивало. Дома он часами сидел над учебником с одной лишь целью: не ударить в грязь лицом перед Клабочкой. Время от времени брал изучаемые аккорды на домре. Иногда поднимал глаза и наблюдал за скольжением снега за окном, ведь как-то незаметно наступила зима. Сосредоточиться на трезвучиях Глебу было непросто — не только из-за снега. Дома многое отвлекало. Дома. Дому. Дом. Единственный, возможно, в его жизни. Потом домов было много — так много, что они потеряли свое домовое качество и стали местом жительства. А с этим связывала пуповина: Дом. Маленький, двухэтажный, стоял на бульваре Шевченко, бывшем Бибикивском. На втором этаже — балкон, скрытый в ветвях старого каштана.

19.07.12, КИЕВ

Побывал там, где когда-то стоял мой дом. На месте дома возвышается нечто застекленное — пятизвездочная, судя по вывеске, гостиница. По стенам-стеклам скользит люлька мойщиков окон. Их двое, они стоят по разным концам люльки и делают энергичные движения руками. Стекло отражает их, а также — оранжевые лучи заката, которые растекаются по стеклу вместе с моющим средством.

Бабушка мыла окна совсем по-другому. Сначала — тряпкой, тряпкой же вытирала, а последние штрихи наводила смятой в ком газетой. На промокшую газету раз за разом накладывалась свежая, образовывалась такая как бы луковица, скрипящая и визжащая при соприкосновении со стеклом. Подобный звук издают струнные инструменты, если ногтями

большого и указательного пальцев проехать вниз по струне.

Поворачиваюсь спиной к гостинице и рассматриваю тополя на бульваре. В отличие от дома, они устояли. Если не оборачиваться, можно думать, что за спиной по-прежнему мой дом. Что меня сейчас, например, позовут ужинать. Или вынесут теплый свитер — потому что вечер. Нет, не выносят. Никто меня не окликает — что-то пошло не так. Звонит мобильный, высвечивается: *Мама*. Из своего далека, как из небытия. Голос глух, перебивается треском в трубке.

— Глеба, как ты?

— Слава богу, что ты позвонила. Слава богу...

Вхожу в холл гостиницы. Меня узнают, собирается толпа. Прибежавшему гостиничному начальству сообщаю, что когда-то здесь жил. Начальство кивает из вежливости, хотя (ему это странно) ничего подобного не помнит. Это тем более странно, что обычно такого рода приезды они четко фиксируют.

— Вы меня не поняли, — говорю, — я жил в двухэтажном доме, который стоял на этом месте.

— Вот оно что, — удивляется начальство, — знаменательно. Где-то даже беспрецедентно.

— Дома уже нет, — продолжаю, — а адрес в памяти остался: бульвар Шевченко, 28, квартира 2. Как поводок собаки, которая давно околела.

Все сдержанно улыбаются. Служащим дорогих отелей не подобает смеяться во весь рот.

— Примечательное замечание. С любовью, что называется, к живой природе.

— В детстве мне очень хотелось иметь собаку. Очень, но не позволяли соседи. А теперь — не хочется.

Хлопці ще нічого, а дівчата — дурні, сообщила на родительском собрании Леся Кирилловна. В качестве иллюстрации своей мысли изобразила Люсю Мироненко, которая думает о чем угодно, только не об уроке: подбородок на ладони, глаза лишены фокуса и вообще собраны где-то на лбу. А фамилию свою пишет через *e*: *Мероненко*. Мать Люси смущенно улыбалась. Заметив улыбку на лице другой матери, Леся Кирилловна переключилась на нее: а Сидорова пишет: *домашня ропопа*. Ропопа — просто блиск!¹ Все знали, что Сидорову дома порют, так что описку можно было бы объяснить по Фрейду, но с этим автором в семидесятые годы не был знаком никто — ни Сидорова, ни родители, ни даже Леся Кирилловна. Если говорить о Сидоровой, то жизненный опыт привел ее к двум простым выводам: в школе ей нравится, а дома нет. И это, в сущности, было объяснимо. Что касается Глеба, то ему больше нравилось в музыкальной школе. Теперь, когда он освоил технические азы игры на домре, они с Верой Михайловной стали думать об эстетической стороне дела. Играй с нюансами, не уставала повторять ученику Вера Михайловна. Само слово *нюанс* Глеба завораживало. Оно было таким выразительным, таким утонченным, что не требовало уточнений. Играть с нюансами стало любимым занятием юного домриста. Увлекаясь, он, случалось, ставил пальцы не туда или ударял не по тем струнам, и тогда Вера Михайловна кричала: *лажа!* Но в крике ее чувствовалось понимание того, что технический

¹ Блеск.

брак возник как вынужденная жертва во имя красоты. Исполнитель знал, что лажа ему простится, в то время как отсутствие нюансов — никогда. Может быть, за это Глеб и любил музыкальную школу. Впрочем, он любил не только ее. Глебу, в отличие от Сидоровой, не знавшему порки, нравилось и дома, в коммуналке. Там всё было проще, чем в музыкальной школе, и по части нюансов — скромнее, но это был любимый дом, который не способна была заменить никакая школа. В квартире, помимо Глеба, мамы и бабушки, жили еще три семьи. Фамилии их значились под дверным звонком с указанием, кому сколько раз звонить. Эти фамилии встречали мальчика всякий день, и даже тогда, когда не стало уже ни соседей, ни самого дома, Глеб твердо помнил, что Пшебышевским следовало звонить один раз, Яновским — два, Колбушковым — три и Винниченко — четыре. Колбушковым и Винниченко не звонил никто, потому что гостей они не принимали. Вместо закрепленных за ними трех и четырех звонков можно было бы назначать и тридцать, и сорок — они бы никого не беспокоили. Но один и два звонка в Глебовых ушах засели крепко. По их громкости и длительности мальчик без труда определял звонивших. Оказалось, что дать даже один звонок (и здесь начинались настоящие нюансы) можно с безграничным разнообразием. Например, мгновенным касанием кнопки — и тогда звонок напоминал тьяканье щенка. Можно было позвонить, не слишком на кнопку нажимая, — и в тоне звонка появлялась робость. Когда же, наоборот, нажимали до белизны в пальце — раздавался полный треска скандальный звук. Два коротких звонка отсылали слушателя к воздушному стаккато, два длинных рождали мысль

о бомбоубежище. Это была отличная тренировка по *длительности нот* — любимой теме Клещука. Начиная со второго класса Клещук порой заходил к Глебу после уроков. Его короткие прикосновения к кнопке звонка давали две образцовые восьмушки. Вообще говоря, старая, пятидесятих годов, кнопка обладала выразительностью скрипки, и оттого весь спектр ее возможностей использовал только Федор — когда бывал навеселе. По особенностям его звонка можно было сразу определить количество выпитого. Но звучал не только звонок, имелась еще дверь, у которой был свой диапазон: от тихого щелканья язычка в замке (утренний выход на работу) до ураганного удара с сотрясением обеих створок в вечернее время. Такие удары обычно сопровождали бурный уход или бурное возвращение. Последнее было редкостью, потому что, проведя какое-то время во внешней среде, человек успевал остыть. Этим человеком был дядя Коля Колбушков. Собственно, и выходил-то он редко — предпочитал выгонять из комнаты жену Катерину. В таких случаях, свернувшись калачиком на большом покрытом ковром сундуке, она укладывалась спать в прихожей. Среди ночи несколько раз подходила к двери своей комнаты и сдавленным голосом просила: Микола, пусти! Из-за двери следовал короткий тяжелый мат. Иногда — если Микола выходил в прихожую — глухой удар: весь звук поглощало богатое тело Катерины. Один раз на глазах у соседей он запустил в Катерину ножовкой, которая вонзилась в дверь Глеба и некоторое время раскачивалась с короткой грустной мелодией. Глебу даже показалось, что доминировала там малая секста, на которой построена, скажем, *История любви Франсиса Лея* (до-ми-ми-до-до и т.д.).

Евдокия Винниченко вызвала милицию, но дело кончилось ничем: инструмент, оказавшийся музыкальным, дядя Коля успел забрать, а Катерина обвинений не выдвинула. Другого от дяди-Колиной жены и не ждали: в конце концов, *История любви* звучала для нее. Сама по себе Катерина была не робкого десятка и — нужно отдать ей должное — не упускала возможности оспорить мужа. Чаще всего это случалось, когда фронтовик дядя Коля, приняв после заводской смены на грудь, выходил в майке во двор, садился за стол под кривой маслиной и беседовал с населением. Над столом висела на проводе лампа, так что общение могло продолжаться и в темноте. В правой руке дядя Коля держал пачку *Беломора*, а в левой — спички, прижав их к ладони мизинцем и безымянным пальцем. Эти два пальца у него были постоянно согнуты: в них находились спички, которые извлекались по мере необходимости. Закурив папироску, дядя Коля рассказывал о том, как он, вчерашний воронежский крестьянин, шел в первых рядах освобождавших Киев. Кто йшов у перших рядах — тих вже нема, звучало неизменное разоблачение Катерины, которой только что поблизости вроде бы не было. Расправа не заставляла себя ждать. Если женщина находилась в пределах досягаемости, дядя Коля наносил ей смачный удар, если нет — ограничивался затейливым матом. После мгновенной вспышки ярости дядя Коля так же мгновенно успокаивался. Уже через минуту дым его папиросы уютно обволакивал горевшую лампу и исчезал в темных ветвях маслины. Рассказ о боевых буднях продолжался. Ничто его не могло остановить — даже вмешательства Катерины, которые для всех оставались загадкой. Тяга к истине в этой женщине соче-

талась со вкусом к страданию, поскольку, видимо, и в жизни одно сопряжено с другим. Возможно, ей не хватало чувства со стороны постаревшего дяди Коли, и она пыталась привлечь это чувство к себе, как корректировщик огня, отчаявшись, вызывает на себя последний залп. Здесь был важен не характер чувства, а его сила. Через много лет, когда коммуналку начали расселять районные власти, знающие люди советовали супругам временно развестись. Тогда они получили бы две однокомнатные квартиры вместо одной, а потом смогли бы одну из них продать или, скажем, обменять свои квартиры на двухкомнатную. И снова зарегистрировать брак. Противником хитроумного проекта оказалась Катерина: она отказалась разводиться, даже фиктивно. Боялась, что второй раз ее Микола на ней уже не женится. К слову, свадеб в квартире Глеб не видел ни разу, зато однажды видел похороны. Это случилось, когда умерла соседка Евдокия Винниченко. Несмотря на звучное имя, была Евдокия ничем не примечательным человеком. Единственная ее особенность состояла, пожалуй, в том, что она никогда не покидала квартиры. Все обязанности вне дома, включая магазины, лежали на ее муже Сильвестре. Никто не видел Евдокию в уличной одежде — на ней всегда был цветастый байковый халат и меховые тапки. Тихо ходила, тихо говорила, а чаще молчала. С Сильвестром они почти не разговаривали. Общались кое-как жестами, взглядами, но слов попусту не тратили. Вероятно, потому у них и не было детей, потому что как же можно зачать их в таком молчании? Молчание Сильвестра было столь глубоким, что, казалось, у него исчез голос. В конце концов исчез и сам Сильвестр. Никаких объяснений случив-

шемся Евдокия не давала. Может быть, их у нее и не было. На вопросы о местонахождении Сильвестра она коротко отвечала: шез. Жизнь ее после этого события никак не изменилась. Удивительно, но она так и не стала выходить на улицу — по крайней мере, так казалось Глебу. В его представлении она принадлежала к людям, окончательно связанным с определенным местом. Место Евдокии было у кухонного стола. Она проводила там больше времени, чем в собственной комнате; что-то мыла, чистила, перекладывала с места на место — с левого края стола на правый и наоборот. Прodelывала это странным манером — отрывая одну ногу от пола и балансируя на другой. Сама Евдокия при этом рассказывалась, напоминая то ли ваньку-встаньку, то ли балетную танцовщицу. Скорее, наверное, танцовщицу. Наблюдая однажды за Евдокией из-под своего стола, ей невидимый, Глеб заметил, что опорная ее нога красиво, как-то даже по-балетному сгибалась. Из уст ее едва слышно лилась грустная и прекрасная мелодия. Никаких сомнений не оставалось: Евдокия танцевала. Глебу очень хотелось спросить, что именно пела Евдокия, но даже ребенком он понимал, что, если дама пенсионного возраста танцует и поет, лучше сделать вид, что ты ничего не заметил, и уж во всяком случае ничего не спрашивать. Эту мелодию мальчик узнал в день похорон Евдокии — ее исполнял духовой оркестр. Музыка дышала и на каждом вдохе сопровождалась ударом тарелок и барабана. Это делало ее надрывной, трагичной — в ней уже не было той светлой грусти, какая слышалась в тихом исполнении. Глеб спросил у отца, пришедшего проводить Евдокию в последний путь, что это за мелодия. Це соната для фортеп'яно номер два

Шопена, ответил отец, часть третья — траурный марш. Евдокия пела это при жизни, удивился Глеб. Це є свідченням¹ того, що вона мріяла² померти, сказав Федор. Разве так бывает, спросил мальчик. Федор внимательно посмотрел на сына: людина звичайно³ співає про те, про що вона мріє.

28–31.08.12, ПЕТЕРБУРГ

Гастроли в Петербурге. По дороге из аэропорта останавливаю машину у книжного магазина и посылаю шофера купить все имеющиеся книги Нестора. Тот возвращается с двумя. Было еще пять других, но они раскуплены. Думаю, что достаточно двух.

В гостинице принимаю душ и распаковываю чемодан. Робко постучав, горничная ввозит в номер тележку с *Вдовой Клико* и фруктами, это подарок от заведения. Девушка краснеет и просит автограф. Доставая чаевые, натыкаюсь на визитку Нестора. Кладу у телефона. Набрал первые цифры, нажимаю на рычаг.

Достаю из пакета купленные книги и бегло их просматриваю. *Воздухоплаватель*, в полном согласии с названием, об истории воздухоплавания в России. Несовершенные летательные аппараты и самоотверженные авиаторы. меховые куртки, кожаные шлемы, очки-консервы. Полный, кажется, каталог монопланов и бипланов. Я список кораблей... На любителя.

¹ (Является) свидетельством.

² Мечтала.

³ Обычно.

Есть вещи поважнее укола. Шершавым языком аннотации читателю сообщают, что это — история медсестры, ставшей главврачом. Взлеты и падения. Отношения с пациентами и персоналом лечебного учреждения, непростые больничные будни, где любовь соседствует со смертью. Открываю книгу наугад — короткие рубленые предложения, точные описания. Мне нравится этот ритм, а главное — взгляд. Взлеты и падения... Судя по теме, и в первой книге тоже про падения. Что-то мне это напоминает. Есть вещи поважнее музыки...

Визитка у телефона. А зачем, спрашивается, звонить? У меня в Петербурге три концерта — три вечера подряд. Уверен, что на одном из них появится Нестор.

Не появляется. В последний вечер, после концерта, все-таки звоню Нестору. Под длинные гудки в трубке рисую на визитной карточке квадраты. Когда уже собираюсь повесить трубку, на том конце провода отвечают. Нестор очень рад звонку, он ничего не знал о гастролях. Рисую на визитке жирный восклицательный знак.

Нестор предлагает встретиться на следующий день, но у меня утром самолет. Тогда — немедленно. Нестор считает, что нужно встречаться немедленно. Они с женой Никой приглашают меня к себе. Я еще изображаю неуверенность, но внутренне, пожалуй, готов. Мысль о том, что сейчас я войду в чей-то ночной уют, наполняет радостью.

Нестор диктует адрес. Он собирается еще выскокить за водкой. И вот еще, Ника просит, чтобы гость захватил гитару. Рапортую, что будет сделано, и ставлю на визитке второй восклицательный знак. Вызываю машину, беру гитару. Подойдя к двери, замечаю

привезенную горничной тележку — ее обновляют каждый день. *Вдова Клико* и фрукты отправляются в книжный пакет.

Нестор живет на Большом проспекте Петроградской стороны. Ехать туда от гостиницы ровным счетом десять минут. Когда я выхожу из машины, Нестор как раз возвращается из магазина. Мы вместе поднимаемся в квартиру, где нас встречает Ника, дама с низким прокуренным голосом. Мы с Нестором и Никой, судя по всему, одногодки или очень близки по возрасту. С такими людьми обычно чувствуешь себя легко.

На кухне накрыт стол. Сыр, колбаса, шпроты, водка. Перед тем как сесть, Ника показывает квартиру писателя. Всё как положено: забитые до предела книжные полки (мужу дарят много книг, мы же их давно не покупаем), где вертикальная расстановка соседствует с горизонтальной. Помимо книг на полках непонятным образом находится место для массы безделушек. Книги на столах, на кроватях, на полу, на микроволновке и стиральной машине (писатель любит читать в ванной). Ника называет Нестора писателем и очень им гордится.

Вдова Клико укладывается в морозилку, но на нее здесь, кажется, никто особенно не претендует. Всем, включая жену, Нестор наливает водки, и у Ники это не вызывает протеста. Пьем за знакомство. Нестор подробно рассказывает Нике, как оно начиналось. Разговор в самолете описывает в лицах. Показывает, как я ему отвечал через губу, как не глядя прятал его визитку. Аплодирую Нестору.

— Неужели это я?

Зажмурив глаза, Нестор трясет головой.

— Это взгляд со стороны, — успокаивает меня Ника. — Я бы ему не доверяла.

— А я и не доверяю. — Выпиваю налитую мне стопку. — Но я хочу сказать, что ваш писатель очень даже ничего. Нормальный писатель.

У Ники звонит телефон. Зажав трубку ладонью, она сообщает, что это сын. Зажигает сигарету и идет разговаривать в коридор.

— Сын живет не с вами? — спрашиваю.

— Живет здесь недалеко. — Нестор тоже закури-
вает. — А я ведь уже начал писать... Вы действительно соглашаетесь на книгу? Это же тоже взгляд со стороны.

Из коридора доносятся три решительных *нет*.

— Я так долго смотрел на себя изнутри...

С четвертым *нет* появляется Ника.

— Иди в жопу, — шепчет она, отключив телефон. Садится за стол. — Простите, воспитательный момент. — Мне: — У вас есть дети?

— Нет.

Раздается звонок — теперь это телефон Нестора. После короткого сухого приветствия звучит еще одно *нет*. К этому слову здесь имеют вкус. Звонок Нестор оставляет без объяснений. Тема детей не возобновляется, потому что Ника произносит тост:

— За сотрудничество!

Все пьют.

— Мы как раз выясняли... — голос Нестора, как человека еще не закусившего, звучит сдавленно. — Мы выясняли, насколько серьезно Глеб относится к этому предприятию.

— И насколько? — спрашивает Ника. — Знаете, я ведь сама удивилась: вы так здорово всё рассказы-

ваете о жизни своей музыкой, зачем вам его слова? — она кивает на мужа.

Беру из Несторовой пачки сигарету. Нестор подносит мне огонь.

— Трудно объяснить. Я думаю, музыка... да и живопись, наверное... В конечном счете они существуют только потому, что существует слово.

Ника кивает на лежащую в футляре гитару.

— Сыграете?

Предлагаю всем перейти на *ты*. Достая гитару и несколько минут подтягиваю струны. Ника показывает мужу на пустые стопки.

— А я вот испытываю страх перед границей слова. — Нестор берет ее было за бутылку, но опять ставит ее на место. — Знаешь, там, где кончается слово, начинается музыка. Или, ну да, живопись. Или вообще молчание...

Начинаю играть песню *Вже сонце низенько* — сначала тему, затем вариации. Негромко напеваю. Слова зрителям ясны не все, но понятно, что песня грустная. Ночь. К девушке приходит возлюбленный. Она его, впуская, *за ручку стискала*. А как выпускала — *правдоньки питала*. Голос и струны входят в резонанс. *Чи ти ж мене любишь?* — спрашивает она. А может, спрашивает, ходишь к другой и не признаёшься? Нет, отвечает, *люблю, тільки признаюся, що брати не буду*. Гитарное соло. Пиццикато на верхних нотах — у самого начала грифа. *Ой, Боже ж мій, Боже...* Понятно, что всё он ей рассказывает. Высота звука переходит в высоту страдания. Утончается до полной неслышимости, потому что у горя нет выражения. И пальцы уже неподвижны, а музыка всё льется.

Уезжаю под утро. На пороге Нестор крепко меня обнимает, сверху ложатся руки Ники. Так мы стоим

втроем перед открытой дверью, ощущая спинами ночную еще прохладу. Деликатно потупясь, мимо проходит сосед с удочкой. У подъезда меня уже ждет машина.

1972

Вскоре после похорон Евдокии Глеб еще раз услышал тарелки и барабан. Это было в оперном театре, куда бабушка повела его слушать *Евгения Онегина*. Первым, что его поразило, было то, как разыгрывался оркестр. Огромный зал, полный обломков мелодий. Грандиозная свалка звуков, навсегда, казалось, освободившихся от музыки и создавших новую общность. Но так ведь только казалось. В потемневшем и замершем зале их собрал воедино первый же взмах дирижерской палочки. И Глеб зарыдал — от этой гармонии, от неслыханной прежде полноты и силы звучания, от того, что, погрузившись в темноту, зал медленно взлетел, и он был причастен к этому полету. Начиналось невероятное путешествие для избранных — тех, кто отважился сидеть в темном зале. Мальчик рыдал, зажав рот рукой, хотя и так никто его из-за громкой музыки не слышал, и в темноте не видно было вздрагивания его плеч. Глеб с бабушкой сидели в ложе первого яруса, а двумя ярусами выше на полу лежал Сергей Петрович Броварник, преподаватель общего фортепиано в музыкальной школе Глеба. Сергей Петрович считал, что музыку надо слушать, отключившись не только от окружающего мира, но даже от собственного тела. Приходил в театр с простыней и расстилал ее на полу — там, где кончались ряды кресел. Ложился

на простыню и закрывал глаза. Не пропускал ни одного оперного спектакля. Пристрастившись к опере, Глеб частенько видел Сергея Петровича в театре. Один раз, когда Антонина Павловна с внуком сидели на третьем ярусе (давали *Ивана Сусанина*), Сергей Петрович лежал прямо за ними. Время от времени снизу слышались приглушенные вздохи, и зрители, не искусенные в способах восприятия музыки, тревожно вглядывались в темноту за креслами. В памяти Глеба Сергей Петрович остался примером истинной преданности музыке. Что до *Ивана Сусанина*, то опера мальчику понравилась, но с *Евгением Онегиным* ее было не сравнить. Перекрывая разноголосицу, Ленский предельно четок: *Просто я требую, чтоб господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его принять мой вызов!* Ох, как это было жестко — в *Иване Сусанине*, несмотря на весь трагизм, ничего похожего. Особенно вот это *просто...* И крик хозяйки дома *О, Боже!*, музыкально повторяющий возглас *...мой вызов!*. Плюс, конечно, слово *господин*, которое Глебу нравилось безмерно — такое изысканное на фоне нечесаных, с несвежим запахом *товарищей*. Особая статья — исполненный аристократизма цилиндр вместо потертой, здрасте-пожалста, кепки. И все-таки главной и бьющей наповал была в глазах Глеба сцена дуэли. Эту сцену они бесконечно разыгрывали с Клещуком, которого, оказывается, родители тоже водили на *Евгения Онегина*. Клещук-Ленский медленно оседал на пол после выстрела Глеба-Онегина. Толстый Клещук делал это неловко и неестественно, и Глебу всякий раз приходилось показывать ему, как обычно падают после выстрела. Глеб делал это не без удовольствия — как артист и как педагог.

Несмотря на все усилия, прогресс был незначителен. Клещук осторожничал, несколько раз успевал посмотреть себе под ноги, хотя что, собственно, ожидал он увидеть на начищенном до блеска паркете? Наставляя Клещука, Глеб, однако, старался не перегибать палку. Он знал, что проистекает из избыточного нажима на людей, и не хотел портить впечатление от *Евгения Онегина*, который стал главной радостью его первого учебного года. Полнота этой радости достигалась тем, что начиная с зимы мальчик смог слушать оперу на пластинке. Мама и бабушка, долго совещавшиеся по вечерам, к Новому году преподнесли Глебу проигрыватель. К дорогой покупке был привлечен и Федор, нашедший, несмотря на безденежье, недостающие 20 рублей. К проигрывателю прилагалась картонная коробка, в которой лежало три пластинки: это был *Евгений Онегин*. И хотя впоследствии покупались и другие пластинки, Глеб слушал почти исключительно *Онегина*. Через пару месяцев он знал на память все арии. На семейных торжествах мальчик, по просьбе гостей, пел их подряд и вразбивку — с чувством, хотя, по словам приглашенного однажды отца, и не без фальши. Мать, возмущившись, возразила, что дело здесь не в том, как ребенок поет арии, а в том, что он их поет, что, вместо того чтобы поддержать его, отец говорит всякую ерунду. Фальш — то не ерунда, пробормотал Федор, но в спор вступать не стал. Глеб сделал вид, что к диалогу не прислушивался, но в душе был уязвлен. Ему очень хотелось произвести впечатление на отца. Не получилось. Зато он производил впечатление на других — например, на одноклассников. Хотя и не на всех. Так, Бджилка, знавший волшебное слово *очерет*, исполнением арий не

впечатлялся. Он призывал Глеба петь народные песни и даже спел одну — *Ой, у гаю при Дунаю* — из тех, что особенно любили в его селе. Песня была красивой (украинские песни сказочно красивы), но это не заставило Глеба сменить репертуар. Он продолжал петь свои арии под насмешливым взглядом Бджилки. Между тем тот задавал вопросы, на которые у Глеба не всегда находился ответ. Слушая в исполнении Глеба арию Ленского, Бджилка спрашивал, что такое денница (*блеснет заутра луч денницы*), почему лето медленное (*и память юного поэта поглотит медленная Лета*), а урна — ранняя (*слезу пролить над ранней урной*). На улице он, бывало, становился над урной и начинал собирать в ладонь воображаемые слезы. Впрочем, по части смеха Бджилка не мог сравниться с Глебом. С ним и другим одноклассником, Витей Кислицыным. Глеба с Кислицыным называли смехачами, потому что они постоянно хохотали. Посмотрят на проходящего завхоза (косой, губы толстые) — смеются, посмотрят на собаку (одно ухо стоячее, другое висит) — тоже смеются. На кого ни посмотрят — смеются, потому что в каждом есть смешное, для этого только нужен глаз. Глаз и компания, ведь не будешь же смеяться в одиночку. Шла как-то по коридору учительница английского, длинная как жердь, руки-ноги — как лезвия складного ножика. Строго шла: печатала шаг, голова откинута назад. Ирина Григорьевна. Глеб с Кислицыным засмеялись. Ирина же Григорьевна пожаловалась Лесе Кирилловне. На ближайшем своем уроке Леся Кирилловна, человек не улыбочивый, вызвала Кислицына к доске. Не говоря художного слова, подняла учащегося за шиворот (тихое покачивание ног) и предложила: смійся! Кислицын

не засмеялся — очевидно, это трудно делать на вису. Получилось ровно наоборот: по его щекам покатились слёзы. Глеб понимал, что сейчас, скорее всего, вызовут его, и ему стало страшно. Страшно и смешно — так бывает. Он бросил взгляд на висящего товарища, но ответного взгляда не получил: Кислицын и не думал переглядываться, смотрел в потолок. Глеб впервые заметил, что у Кислицына невероятно большая голова, под которой болталось маленькое тело. Его друг напоминал восьмушку на верхней линии нотного стана — ту, у которой мачта с хвостиком уходит вниз. *Ре*, по всей видимости. Или *фа*. Этой мысли Глеб улыбнулся, и теперь уже трудно было представить, какое наказание ожидает его. Но, поставив Кислицына на пол, неожиданно улыбнулась и Леся Кирилловна — впервые, может быть, за год. Что-то ее проняло — то ли слёзы Кислицына, то ли улыбка Глеба. Во рту Леси Кирилловны оказалось довольно много золотых зубов. Ее улыбку Глеб расценил как ослепительную и удивился, что обладательница такого богатства до сих пор не улыбалась. Собственно, не очень-то она улыбалась и впоследствии — кроме одного странного случая, о котором Глебу рассказала Плачинда, продолжавшая наблюдение за Лесей Кирилловной. В этот раз, сев за парту Кислицына, учительница робко улыбнулась — изображая, очевидно, улыбку учащегося. Затем, вернувшись за свой стол, она рассмеялась с той брутальностью, перед которой все ее прежние ругательства померкли. Леся Кирилловна оторвала воображаемого Кислицына от пола и потребовала: смейся! Но живой Кислицын уже не смеялся. После висения у доски он, можно сказать, так и не оправился. Порой еще улыбался, но улыбка его то и дело переходила

ла в слёзы. Может быть, поэтому об увиденном Плачинда рассказала не ему, а Глебу. Что же касается Глеба, то ему тоже досталось, хотя и несколько иным образом. Леся Кирилловна, видя, как Глеб смеется, однажды посоветовала ему спрятать его *конячі зуби*. С точки зрения педагогики этот совет, возможно, вызывал вопросы, но по меткости сравнения бил в самую точку. К середине второго класса верхние зубы Глеба заметно выдвинулись вперед и стали именно такими, как их описала учительница. Единственным преимуществом неправильно выросших зубов стали их акустические свойства. Щелкая по зубам ногтями больших пальцев, Глеб научился виртуозно исполнять *Воздушную кукурузу* Герсона Кингсли. Он умел играть и кое-что другое, но с дробной, будто на ксилофоне сыгранной мелодией сравниться не могло ничто. После учительской фразы удивительный дар Глеба был забыт в одночасье. Сказанное Лесей Кирилловной в классе повторяли все. Особенно веселился Кислицын, не желавший смириться с тем, что висеть ему пришлось одному. Слушая, как новая дразнилка повторяется на разные лады, Глеб удивлялся тому, какие дети все-таки жестокие существа. Почему, думалось Глебу, их (нас) считают ангелоподобными? Единственным человеком, выразившим Глебу сочувствие, оказался Бджилка. Высказывание Леси Кирилловны он благоразумно не комментировал, зато дал совет по сути. Ти зуби зализуй, і вони випрямляться, сказал он Глебу и даже показал, как это делается. Язык Бджилки — неожиданно длинный и ловкий — свободно перемещался по внешней стороне зубов. В какой-то момент показалось даже, что его язык прочно цепляется за передние зубы и с силой тащит их назад.

И хотя при внимательном рассмотрении обнаружилось, что зубы Бджилки остались в прежней позиции, сила его убеждения была так велика, что несколько дней Глеб и в самом деле зализывал зубы. Безрезультатно. Нет, не совсем так: результат выразился в том, что проблему осознала бабушка. Она повела Глеба к зубному врачу. Еще не усадив мальчика в зубо врачебное кресло, врач сказал, что ему нужна пластинка. Глеб с тоской подумал, что его неправильный прикус виден уже с порога. Чтобы не терять времени, мерку для пластинки решили снять тут же. Медсестра взяла металлическую форму и наполнила влажным гипсом. Врач засунул ее глубоко в рот Глеба, велел прикусить как можно сильнее. Нижними зубами мальчик ощущал металл, а верхние вязли в слабо, но дурно пахнущей массе. Ему казалось, что эта масса умножается, что скоро она забьет ему горло и он не сможет дышать. Его начало мутить. Он старался держаться, говорил себе, что через мгновение всё кончится, но ничего не кончилось. Мутными волнами накатывал страх оттого, что если его начнет рвать, то рвоте выходить будет некуда. Его вырвало через секунду после того, как форму с застывшим гипсом вынули изо рта. Когда через пару недель пластинка была готова и Глеб надел ее в первый раз, его снова вырвало. Пластмассовое нёбо противно выглядело, противно касалось нёба настоящего и с противным же звуком от нёба отлипало. Единственной более или менее приемлемой частью изделия была двойная проволока, которой захватывались отклонившиеся от нужного положения зубы. При касании ногтем проволока тихо, но мелодично звучала. Она одна и примиряла мальчика с процессом исправления зубов. Сторонний

наблюдатель видел только ее, не подозревая об отвратительной в своей физиологичности конструкции, на которой держалась эта хрупкая деталь. Иногда терпение Глеба заканчивалось. Осмотревшись по сторонам, он вытаскивал пластинку изо рта и клал в парту. Искренне (а может, и не очень) забывал ее там. Как бы то ни было, на следующее утро он неизменно получал пластинку от Леси Кирилловны и под ее строгим взглядом вставлял в рот. Глеб носил пластинку почти год, и — кто бы мог подумать! — зубы исправились. Теперь они были крупными и ровными, что, несомненно, составляет красоту мужских зубов. Не обошлось, однако, без утрат: выровнявшись, зубы отчего-то потеряли свои музыкальные свойства. *Воздушная кукуруза* на них больше не звучала. Зато как звучала его домра! Мало-помалу всем становилось ясно, что мальчик обладает большими способностями, потому что никто, кроме него, не был в состоянии так впечатляюще играть с нюансами. Его порой подводила техника, он не всегда выдерживал темп, но по части нюансов равных ему не было. Именно они сделали Глеба гордостью музыкальной школы. Да, слух его был по-прежнему далек от абсолютного, но не на скрипке же, в конце концов, он играл! Строго говоря, нынешняя домра Глеба и была уже почти скрипкой: видя успехи ученика, Вера Михайловна предоставила ему для занятий собственный инструмент. Это была заказная домра, выполненная из кавказской пихты. Для ношения ее Глебу был выдан коричневый футляр, заказанный в свое время вместе с домрой. Мальчика завораживал ее бархатистый звук, он любовался янтарными разводами старого дерева. Его радовало всё — кроме футляра, потому что футляр напоминал ему гроб.

Всякий раз, когда Глеб его открывал, домра виделась ему широкобедрой красавицей, принесенной не из музыкальной школы, а с кладбища Берковцы — тогда еще пустынного, но уже огромного. Укладывая же домру в футляр, он представлял ее потерянной возлюбленной, навсегда увозимой на кладбище. Этот футляр отравлял ему жизнь.

15.09.12, МЮНХЕН

Дом на улице Ам Блютенринг. В вечернем окне отражаемся мы с Катариной. Катей. Я сижу за письменным столом, а Катя стоит сзади, положив мне руку на плечо. На столе горит лампа, и в ее желтом свете отражение в окне сказочно красиво. Окрашенные лампой, мы напоминаем себе старую фотографию и смотримся слегка посмертно. Собственно, в гостиной висит картина с такой же композицией (включая отражение), но мы предпочитаем воссоздавать ее ежевечерне. Ценим детали — поворот головы, изгиб руки, положение пальцев на плече.

— Тебе уже давно пора проверить руку, — говорит Катя.

— Пора.

В малахитовом письменном приборе нахожу зажигалку и щелкаю. В окне появляется еще одна светлая точка.

— Барбара поможет. Она договорится у себя в клинике.

— Давай уж как-нибудь без Барбары.

Катя касается губами моей макушки и грустно выдыхает. Я чувствую, как по волосам разливается

тепло. Меня раздражает, что по любому поводу всплывает ее сестра Барбара. Высокая рыжая немка с громким голосом. У нее всё чрезмерно: голос, смех, движения. Она к тому же любит выпить.

Спустя час, как по заказу, приходит Барбара, уже навеселе. Мне нужно срочно ответить на несколько писем, и я ухожу в другую комнату. Вернувшись, вижу Катю и Барбару за бутылкой водки. Называю их интерес к алкоголю нездоровым. Катя, оправдываясь, начинает говорить о каком-то сегодняшнем поводе, но ее перебивает Барбара.

— Повод, друг мой, один: отсутствие детей. И всё, что нам остается, — это проявлять интерес к алкоголю. И плакать. — Она вытирает платком глаза. — Мокрыми слезами.

С Катей мы говорим по-русски. С Барбарой так не получается. Перейдя на немецкий, я обретаю решительность. Водку выливаю в раковину, а пьяную Барбару, несмотря на ее размеры, отрываю от пола и несу на диван. Она называет меня brutальным русским типом, но эта brutальность ей, в общем, по душе. На диване Барбара оказывает некоторое сопротивление. Смирив женщину, сажусь на нее верхом и сообщаю ей, что она пьяница. Что они обе пьяницы.

— Возможно, — отвечает Барбара. — Но посмотри зато, *что* мы пьем: чисто русский напиток. Потому что, даже проявляя нездоровые интересы, хотим произвести на тебя благоприятное впечатление.

— У вас это всё равно не получится.

Барбара, сестре:

— Похоже, его сердца мы так не завоюем.
А жаль...

Катя вздыхает.

— Увы. Но, может быть, — она поднимает указательный палец, — может быть! — мы завоюем сердце русского писателя, который к нам приезжает.

Взгляд Барбары полон удивления.

— Русский писатель?

— Его зовут Нестор. — Катя гладит себя по воображаемой бороде. — Он будет писать о Глебе книгу.

— Уже пишет, — говорю сердито.

— Уже пишет! — Барбара всплескивает руками. — Как это своевременно!

— Мы договорились, что раз в два-три месяца Глеб будет присылать ему билеты, и Нестор сможет прилетать к нам. Они будут заниматься книгой. — Указательными пальцами Катя рисует книгу в воздухе.

— К нам сможет прилетать русский писатель! — Барбара съезжает на пол и прислоняется спиной к дивану. Делает несколько журавлиных взмахов. — Это замечательно! Это просто даже прекрасно, когда может прилетать русский писатель!

1973

Летом Глеб с Антониной Павловной ездили в Керчь. Жили у бабушкиных друзей в Кооперативном переулке. Два кооперативных *о* в восприятии Глеба соединялись с гулкостью парадного. И с прохладой, когдаходишь с раскаленной улицы. Эти два *о* были тем более раскатисты, что звучали как два *а* — у всех, кроме бабушки. Антонина Павловна по-вологодски произносила их как два *о*. Кооперативный переулочок соединялся с уходившей вправо

улицей Ленина — над ней сплетались старые акации. А слева была большая площадь (тоже, кажется, Ленина: там стояло его приземистое изваяние) с городским театром и универмагом *Чайка*. За площадью шла одноэтажная тенистая улочка, которая выводила к морю. Это было первое виденное Глебом море — полное рыболовецких судов, нетуристическое и даже, как выяснилось, некупальное: через пару лет городской пляж закрыли из-за облюбовавшей его холерной палочки. Но в то замечательное время пляж находился еще в центре города, и прийти туда можно было прямо с набережной. Разделяла пляж и набережную каменная балюстрада, тянувшаяся на всем протяжении пляжной линии. Над балюстрадой возвышалась беседка, тоже каменная. Царство камня. Вода плескалась о бетонный берег. По бетонным лестницам купальщики спускались в воду. Держались за металлические поручни, потому что ступени были скользкими — все в зеленых водорослях, повторявших ритм волн. Глеб знал, каким разным бывает этот ритм, как резко он меняется: за частой дробью бриза вдруг приходит медленная сила больших волн, и море гудит как гигантский раскачавшийся колокол. В штормовые дни, когда нельзя было купаться, Глеб с бабушкой стояли на присыпанных песком плитах пляжа и смотрели, как вслед за ударом волн о бетон к небу взмывали тысячи хрустальных гирлянд. Но такое случалось редко: обычно море было спокойно. Они (бабушка первая) осторожно спускались по ступеням. Дно было пологим, и не умевший плавать Глеб первые дни пытался по нему ходить. Далеко уйти не получалось: всё донное пространство было усеяно большими и малыми камнями. А поскольку и без камней

перемещение в воде затруднительно, Глеб в конце концов предпочел стоять. Раскинув руки, балансировать, покачиваться вместе с водой, а иногда и шлепать по ней ладонями. От неподвижности порой становилось холодно. Увидев Глебовы синие губы, Антонина Павловна выводила внука на берег и растирала махровым полотенцем. Но даже растирание не согревало его до конца: гусиная кожа исчезала только после нескольких минут лежания на подстилке. Подстилкой служила скатерть с бахромой, которую бабушкины друзья давали им с собой на пляж. Уткнувшись в нее носом, Глеб чувствовал запах нафталина, и это было так не похоже на всё, чем пах пляж. В той странной квартире, где они жили, нафталин был, вообще говоря, заметным, хотя и не единственным запахом. Он смешивался с запахом моря, который исходил от многочисленных диковинок: засушенных рыб, морских звезд и раковин. Еще пахло газом из баллона — даже тогда почему-то, когда плита была выключена. Это наводило бабушку на мысль о взрыве, но мысль эта была по-северному спокойной, в чем-то фаталистической. Свой вкус имела и вода из-под крана — точнее, она была удивительно невкусной. Использовать ее для чая казалось немыслимым, хотя местные жители использовали. Не думали, должно быть, что вода бывает другой. Но Антонина-то Павловна и Глеб приехали из иных краев и понимали толк в хорошей воде. Вместо чая они пили лимонад или минеральную воду. Остудив напитки в холодильнике, брали их с собой на прогулку. Гуляли на горе Митридат, где даже поздним вечером было жарко: камни отдавали полученное за день тепло. В высокой, почти уже выжженной траве то тут то там об-

наруживались следы археологических раскопок. Бабушка с внуком смотрели на фрагменты лестниц и стен, пытаясь представить себе, как здесь жил Митридат. Из травы раздавался стрекот кузнечиков, в редких акациях его многократно усиливали цикады. Глебу казалось, что он слушает огромный играющий в унисон оркестр. Апофеоз пиления, торжество смычковых. Предельная преданность музыке: инструментом является тело музыканта. Мысль об этой преданности поддерживала Глеба, когда осенью он вернулся в музыкальную школу. Он уверенно справлялся с этюдами, хотя нельзя сказать, что любил их. Мальчику были больше по душе мелодичные пьесы и народные песни, особенно те, что исполнялись медиатором на тремоло. Собственно говоря, медиатором на домре исполнялось всё. Глеб начал физически ощущать его продолжением своей руки, чем-то вроде пластмассового ногтя, росшего из большого и указательного пальцев одновременно. В самых любимых его пьесах медиатор сливался с пальцами без малейшего усилия и не выскальзывал из потной руки. Движение кисти было свободным и мощным одновременно — и тремоло выходило сочным и густым, ни на мгновение не распадалось на отдельные удары по струнам. Если прежде, слушая в исполнении Глеба классику, Федор только улыбался, то сейчас он всё чаще давал конкретные советы. Слушал его отец, понятное дело, в домашней обстановке, без фортепианного сопровождения. Мальчику же хотелось предстать перед отцом во всей своей музыкальной красе, и уж во всяком случае с аккомпанементом. Однажды такой шанс выдался: лучшие ученики музшколы приглашались для выступления в Пушкинский парк.

Глебу предстояло исполнить *Турецкий марш* Моцарта — вещь для исполнения перед публикой беспроегрышная. Глеб, который обычно не робел перед слушателями, уже предвкушал, как, сопровождаемый их ритмичными хлопками, будет играть знаменитые моцартовские форшлагги. Торжество ритма было самой сутью *Турецкого марша* и проявлялось во всём, вплоть до того, как ветви плакучей ивы в такт музыке раскачивались на ветру. Этот ветер, как выяснилось, нес в себе и опасность. У Глеба замерзли пальцы. Как же по-разному устроены музыканты: одни спокойно играют на морозе, другие от небольшого ветерка теряют всякую подвижность в пальцах. Глеб — потерял. Он отстал от аккомпаниаторши на такт, и, хотя пару раз она пыталась его поймать, закончили играть они порознь. Эта картинка застыла в памяти Глеба навсегда: неплотно, в шахматном порядке, заполненные места на скамейках, грустные глаза отца в дальнем ряду и абсолютная невозможность играть. На открытых площадках он не выступал больше никогда. И еще. С этого дня Глеб надолго разлюбил *красивые* вещи — как будто моцартовский хит стал причиной его неудачи. Полюбил те, что на первый взгляд казались некрасивыми — например, этюды. Любовь эта была чувством особого рода — тягой к красоте через сложность, потому что в сложности есть своя красота. А еще он осознал, что по-настоящему полюбил домру. Если раньше этот маленький инструмент казался ему лишь ступенью на пути к гитаре, то сейчас он обрел самостоятельное значение. Домра напоминала Глебу улитку с вытянутой шеей, бросить которую было бы предательством. Учебу по классу домры было решено продолжить.

И тогда отец сказал ему: зараз¹, синку, ти працюєш² сім років³ за Лію, а потім працюватимеш⁴ сім років за Рахіль. Игре на народных инструментах обучали пять лет, но библейская параллель отца была Глебу понятна.

01.10.12, МЮНХЕН

Для работы над книгой прилетает Нестор. У меня будет четыре дня, свободных от гастролей. Это, конечно, не так много, но для первого раза достаточно. С табличкой *Nestor* в аэропорту его встречает наша домоправительница Геральдина Кестнер, сорокалетняя сухощавая дама.

Разговор в пути, должно быть, не клеится: Нестор не знает немецкого, а английский Геральдины *is very limited*. Она сообщает это, не отрывая взгляда от дороги. Сдержанно, я думаю, улыбается. Дальнейшие сообщения Нестору менее внятны, ясно лишь, что Яновских сейчас нет дома. Они на *dacha* в горах, поясняет Геральдина, но к обеду вернуться. Может быть, уже вернулись.

У самого дома в хвост им пристраивается машина и сигналит трелью. Это мы с Катей. Глядя в зеркало заднего вида, Геральдина отвечает строгим коротким сигналом. Она отдает себе отчет в том, что ее должность не дает права на трели. Открывает пультом ворота. Обе машины въезжают во двор.

¹ Сейчас.

² Работает.

³ Лет.

⁴ Будешь работать.

Обнимаю Нестора и представляю ему Катю. Та подает Нестору руку:

— Катя. Шофер господина Яновского, а заодно жена. — Смеется. — Он до сих пор не умеет водить машину.

— Я тоже не умею, — говорит Нестор.

Умывшись с дороги, все садятся за стол на лужайке перед домом. Геральдина приносит пледы, но они не нужны: мюнхенский октябрь в солнечный день — это еще почти лето. Обед привозят из ближайшего ресторана. Разлив вино по бокалам, официант зажигает две свечи. Первая гаснет за салатом, вторая дотягивает до супа. Официант еще раз их зажигает, но на этот раз свечи гаснут немедленно. Видно, что парень не поджигатель. Улыбаясь, предпринимает новую попытку — свечи снова задувает ветром. Ветер шевелит распущенные Катины волосы.

После обеда мы с Нестором садимся на веранде и принимаемся за работу. Нестор достает диктофон. Беззвучно включает.

— Раз, два, три. Поехали...

Нажимает на воспроизведение. Диктофон откликается тем же гагаринским возгласом.

— Как начинался твой путь в музыке?

Мой путь. Отвечаю как по писаному.

— Накануне первого дня учебы я сидел перед отцом и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести выстукиваемое. За окном звенели трамваи. В ответ им позвякивала в шкафу посуда. Потом Федор спел что-то и попросил повторить. Мелодию мне повторить не удалось — только слова: паба-паба, паба-паба, паба-па. Напоминали слово *papa*. А Федор просил называть его по-украински — *tato*. Мало кто в Киеве называл так отцов.

— Кажется, ты произносил всё это в самолете...

— Слово в слово. Я всегда так отвечаю на этот вопрос. Мне его раз двести задавали...

— Ладно. Зайдем с другой стороны. Украинский — запрещали?

— Нет. Скорее даже наоборот. Все вывески были по-украински, радио и всё такое...

— То есть национального вопроса не существовало?

— Не знаю. Русский был более, что ли, престижным языком. Все понимали, что без него ничего не добиться. Я бы сказал так: вопрос престижа стоит выше национального самоощущения. Вот когда это самоощущение становится вопросом престижа, тогда — другое дело.

Геральдина вносит поднос с кофейными приборами. Разливает по чашкам кофе. Шепотом (меня, считайте, нет) спрашивает согласия на то, чтобы добавить сливок. Выходит на цыпочках.

— Я ведь, как ты понимаешь, не пишу историю Украины — мне важна твоя история. Просто в тебе соединяются два народа, и я хочу понять, как именно.

— Я и сам хочу это понять.

Подливаю Нестору и себе кофе. По скатерти расползается коричневое пятно.

— Ну, ты-то себя кем считаешь? — Нестор промокает пятно салфеткой.

— Я мог бы, конечно, ответить, что — русским...

— И что тебе мешает?

— Да ничего, наверное. Просто я не очень разделяю эти народы.

Нестор закуривает. Клубы дыма принимают облик Геральдины с пепельницей. Ставя ее перед Нестором, она с укором смотрит на кофейное пятно.

— Расскажи об отце.

— Отец... — задумчиво мну Несторову пачку сигарет. — Я буду брать у тебя сигареты, а? Мне важно не покупать их самому — боюсь снова начать курить.

— А ты уже начинал? — Нестор подносит мне огонь.

— Да, лет в четырнадцать: сэкономил на завтраках и покупал сигареты. Денег не было... Ты спрашивал об отце: вот у кого не было денег. Никогда. — Делаю глоток кофе и глубоко затягиваюсь. — Любитель широких жестов без малейших для этого средств. Ну, не драма ли?

Нестор пожимает плечами. Вероятно, он не считает это драмой.

— Изредка покупал матери роскошные букеты. — Вожу кончиком сигареты по дну пепельницы. — Изредка — потому что он на них копил. Приходил домой с букетом и небрежно так дарил — встретились, мол, красивые цветы по дороге. И она примерно знала, когда получит очередной букет, поскольку ей была известна скорость накопления.

— Но букет, купленный на сэкономленное, дороже букета, на который не надо копить. Разве это не очевидно?

— Да-да, очевидно, но отец, повторяю, любил широкие жесты. Жесты, понимаешь? А широкий жест не предполагает накопления. Предполагает легкость, но как раз ее-то и не было... Однажды — это было уже после развода — он повел нас с матерью в дорогой ресторан. Заказывал всё сам, потому что сразу подсчитывал общую сумму. Губами шевелил. А счет ему в конце принесли гораздо больший. Он тут же заставил официанта всё пересчитать. Тот

не торопясь пересчитывал, а отец сидел красный. Мать что-то спокойно мне рассказывала, как бы не замечала происходящего. Вот в ком была легкость...

— И чем дело кончилось?

— Выяснилось, конечно, что халдей взял лишнего. И всё равно счет получился больше, чем ожидал отец, — он чего-то все-таки не учел, соус там какой-то. Отец расплатился — вывернул все карманы, но на чай уже не было. А тот стоял, подлец, с полотенцем наперевес, улыбался: на чай — как, будем давать? Мне его, вообще говоря, задушить хотелось, я эту картинку до сих пор помню. Отец сидел такой беззащитный. И, знаешь, тогда я вдруг почувствовал, как его люблю...

Мой мобильный играет *Марш авиаторов*. Отвечаю по-немецки, строго и коротко. Поясняю Нестору, что это газета. Очередной вопрос от праздности ума.

— Например?

— Что вы думаете о мультикультурализме?

— И что ты думаешь?

— Ничего.

1974

В середине лета к Федору приехали родственница Галина и ее сын Егор. Что очень удивило Ирину — из Курской области. Не то чтобы Федор казался ей тем, у кого не могло быть родных в Курской области, — просто раньше она ни о чем подобном не слышала. Галина поселилась у Федора, а Егора — что удивило Ирину еще больше — бывший муж попросил разместить у нее. Ему хотелось, чтобы во время

пребывания в Киеве у Егора (с Глебом они были одноклассниками) была компания. На фоне цыганского типа Галины волосы сына были необъяснимо светлыми — необъяснимо для Глеба. Не подумав о светловолосом, возможно, отце, Глеб про себя решил, что Егор — подкидыш. Из этого, по мнению Глеба, следовало, что с ним плохо обращаются: недаром же по приезду в Киев его сдали Яновским. Но подкидышем Егор не был. Так заявил он сам, когда Глеб деликатно, как ему казалось, спросил об этом. Не был так не был. Вопрос Глеба возник не из праздности. Просто, если бы Егор и в самом деле был подкидышем, Глеб упросил бы маму и бабушку его усыновить: Глебу хотелось брата. В отсутствие отца — и Глеб это уже знал — о появлении настоящего брата не приходилось даже мечтать. Впрочем, мечты о брате посещали мальчика только в первый день пребывания у них курского гостя. Весь этот день Егор был тих и задумчив. Но уже на следующий день его поведение изменилось, и Глебовы мечты о брате ушли сами собой. Егор стал командовать всеми в доме, от Глеба до Ирины. Определял, что и как готовить на обед, что читать на ночь и как правильно произносить букву *z*. Он объявил недействительным взрывное *z* на том основании, что в Курской области так не говорят. Также, по его сведениям, не говорили там *звонит* — только *звóнит*. Когда Ирина в этом усомнилась, он стал требовать немедленной поездки в Курск и был готов Ирину сопровождать. Проявить в отношении него твердость никто не решился: Егор был гостем. Через день он уже командовал во дворе. Для украинских детей Егор где-то раздобыл украинскую считалку. Выстроив их в ряд, он предложил ее выучить: Вий-

шов Цуцик до болота, / Кличе Жабу на роботу. / Жаба каже:¹ не піду! / Цуцик каже: поведу! / Жаба каже: в морду дам! / Цуцик каже: в суд подам. Считалка определяла того, кто *жмурится* при игре в жмурки. Повествование о склочном Цуцике и грубиянке Жабе новым друзьям Егора нравилось: оно было не лишено драматизма и некоторого даже протеста против существующего положения вещей. Но Егор научил киевских детей не только считать — он научил их прятаться. Точнее, научил ценить и использовать темноту, потому что играли и в темноте. Раньше дети прятались далеко от того, кто жмурился. Они залезали на нижние ветви деревьев, карабкались через заборы и забирались на крыши сараев. *Раз, два, три, четыре, пять...* Тот, кто жмурился, открывал глаза, уподобляясь Вию. *Я иду искать...* Всегда знал, где искать и где находить. Когда все выскакивали из своих укрытий, он без труда их опережал. Первым хлопал по столбу. С появлением Егора выяснилось, что в темноте можно прятаться иначе. Если, например, на углу дома висит фонарь, то тьма за углом становится кромешной. Никуда не прячься — просто прислоняйся к стене спиной, — становишься совершенно невидимым. Мест на границе света и тьмы во дворе обнаружилось немало, но свои волшебные свойства они обретали только ночью... В один из вечеров случилась жуткая история: стоявший на границе света и тьмы чуть не погиб. Это был Артур Акопян, мальчик из соседнего двора. Он вышел из своего укрытия еще до конца счета и, покачиваясь, пошел на жмурившегося. Тот хотел было спросить, отчего это Артур вышел раньше вре-

¹ Говорит.

мени, но вопрос примерз к его губам: Артур шел с остановившимся взглядом и полуоткрытым ртом. Шея и грудь его были в крови. Через мгновение его вырвало, и он медленно осел на колени, растирая руками по асфальту свою блевотину. Он стоял на четвереньках, его продолжало рвать, но самым страшным было не это. Когда Артур опустил голову, в свете фонаря стала видна рана на затылке, из которой и текла кровь. Егор подтащил его к дворовому крану и стал промывать ему голову. Откуда-то уже бежала мать Артура, кто-то говорил, что вызвал скорую, Глеб же смотрел на Егора и восхищался его решительностью — в особенности тем, что тот не побоялся приблизиться к окровавленному человеку. Потом Егор обшарил теневое место, где стоял Артур, и нашел там кочергу. Исследуя ее, на сгибе Егор обнаружил кровь и черные как смоль волосы Артура. Он был настоящим Шерлоком Холмсом, этот Егор, и ему нравилось, что его тогда так называли, ведь на ночь он как раз читал Конан Дойла. Не оставалось сомнений, что мальчика ударили именно этим предметом. Во дворе, где с печного отопления давно перешли на паровое, в качестве орудия преступления использовали кочергу, и это бесконечно удивляло Егора. Откуда кочерга? То, что Артура ударили, причем сзади, удивляло его меньше. Артур лежал больше месяца и выздоровел. Однажды (это было уже в начале осени) мать Глеба на троллейбусной остановке встретила мать Артура. Беседовали о том о сем. Сын говорил мне, сказала вдруг без всякого перехода мать Артура, что ваш Егор ходил с кочергой еще за несколько дней до всего этого. Срубал ею лопухи. Ну и что, спросила мать Глеба. Ничего, мать Артура опустила глаза. К тому времени Егор

находился уже в Курской области. Впрочем, там он не задержался — через полгода они с матерью переехали в Киев. Галина, приходившаяся якобы родственницей Федору, на самом деле таковой не являлась. Вернее сказать, еще летом не являлась, потому что спустя несколько месяцев она ею все-таки стала: Федор на Галине женился. Галина оказалась удивительной души человеком, добрым и бескорыстным, что должен был признать даже Глеб, поначалу относившийся к ней с предубеждением. Вероятно, Федор изначально не собирался на ней жениться, иначе не объявил бы ее своей родственницей. Когда же он узнал Галину ближе, всё изменилось. После неудачного брака Федор решился еще на одну попытку. Всех, кто знал о сложном отношении Федора к России, удивляло то, что оба раза брак заключался с русскими женщинами. Здесь опять возникало слово *сложность* — на этот раз применительно к духовному миру Федора в целом. На его родине, в Каменце-Подольском, говорили даже о *преодолении*, не уточняя, правда, кого или чего. Скорее всего, себя, потому что преодолевать Галину не было никакой необходимости. Стремясь еще прочнее скрепить их союз, она с невероятной скоростью выучила украинский. Скорость объяснялась, нужно думать, здоровой основой в виде поставленного фрикативного *г*. По-украински Галина разговаривала не только с мужем, но и со всеми остальными, говорившими, понятное дело, по-русски. Выучил украинский и Егор, проявлявший бóльшую гибкость: на украинском он общался только в семье. В своем новом положении Галина существовала между двумя очень непростыми мужчинами, Федором и Егором, и старалась угождать обоим, каждому по-своему. Из рас-

сказов Глеба, посещавшего дом отца, Ирина знала об этом и над Галиной подтрунивала. Несмотря на равнодушие к Федору, появление в его жизни новой женщины ее несколько раздражало. В самой небольшой степени. Не мешало, например, есть пироги, которые Галина всякий раз передавала ей с Глебом. Глядя на Галину, Глеб думал о том, как все-таки повезло с ней отцу, и мечтал о такой же тихой и благо-разумной жене. Впрочем, даже в своем раннем воз-расте он уже понимал, что женятся, конечно, на та-ких, как Галина, но влюбляются — то в неблаго-разумных. Такой была новая влюбленность Глеба. Предметом ее стала Елена Марковна — подобно Клавдии Ва-сильевне, учительница музшколы. Она была на год моложе Клавочки (да и он стал на пару лет старше), так что разница в возрасте, столь огорчавшая раньше Глеба, была в данном случае чуть меньше. Елена Марковна преподавала не депрессивное сольфе-джио, а захватывающую музыкальную литературу, вот почему чувство к ней оказалось не любовью-страданием, но любовью-наслаждением. Главным же, из-за чего Глеб сходил с ума, было то самое неблаго-разумие Лены. Лены... Коротко и жестко. Никаких там уменьшительных суффиксов или отчеств. Вопре-ки школьным правилам, требовала, чтобы ее называ-ли по имени — Лена, и это было первым пунктом ее неблаго-разумия. То, что по советской музыкальной школе ходила в джинсах, — вторым. Третьим — об-ходилась без сумки, книги и конспекты связывала серой лохматой веревкой. С развязывания ее начи-нался урок, завязыванием же оканчивался. Обходи-лась Лена еще без кое-чего, что по части неблаго-разумия давало, наверное, сразу сотню пунктов, — и уж совсем в этом измерении зашкаливало, когда

она рассказывала, что двухмесячный учительский отпуск проводила на Кавказе с хиппи. Так вот, музыкальная литература. Всё началось с Грига, о котором Глеб не хотел слушать, потому что играл в морской бой с Максимом Клещуком. Лена сказала: *Пер Гюнт* — это о настоящей любви. Глеб с Клещуком, хоть и были заняты, громко рассмеялись: имя Пер Гюнт что-то им напоминало. И тут подошла Лена. Она больно взяла Глеба за ухо и в самое это ухо прошептала: ты маленький писик, что ты можешь понимать в любви? Отпустила, отошла. А он всё еще чувствовал прикосновение ее губ. Это было больно, обидно и... интимно. Писик. Что, вообще говоря, значило это слово? Маленького писающего человека? Часть тела — тоже, соответственно, маленькую? Наверное, все-таки часть тела, которая (и Глеб уже это знал) с любовью была связана самым непосредственным образом. Всё это приходило ему в голову позже, но тогда, на уроке, в голове его не было мыслей — ни одной. Было жгучее и трудноопределимое чувство к Лене, которое в одно мгновение переполнило его, выплеснулось наружу и заставило покраснеть. Ненависть, боль, стыд, любовь? Всё вместе? Глеб не отрываясь смотрел на Лену, но на ее лице не прочел ничего, кроме влечения к *Пер Гюнту*. Рассказав о пьесе, она поставила пластинку. Когда звучала *Смерть Озе*, глаза ее были полны слез. Во время *Танца Анитры* едва заметно дирижировала — самыми кончиками пальцев. Такой как бы *танец Лены*. Не танец, лишь его обозначение, и оттого в высшей степени чувственно. Лена. Смуглая, волосы — воронье крыло. Дочь вождя бедуинов. Подняла указательный: слышите — виолончели и контрабасы играют пиццикато, — какой восторг! Сделала

несколько щипковых движений. Восторг. Но больше всего Глебу понравилась *Песня Сольвейг*. Лена будет его ждать всегда, до тех, по крайней мере, пор, пока он не вырастет. После окончания урока она попросила его остаться. Усадила за парту, а сама села на нее сверху. Поправила ему загнувшийся воротник. Ленин палец мягко скользнул по его шее, и полчище мурашек начало свой спуск по позвоночнику. Не обиделся? Спросив, потрепала его по подбородку. Нет, ответил Глеб и заплакал. Слезы не обиды, но любви. Поцеловала его в то ухо, за которое на уроке тянула: больше не болит? Нет, больше не болело, но Глеб промолчал. Пусть казнится. С тех пор музлитература стала его любимым предметом. Слушая Ленины рассказы о композиторах, он проживал их жизни, сочинял их музыку и удивлялся, что всё это существовало до него. Когда в следующей четверти Лена рассказывала о Гайдне, Глеб смотрел на нее с гордостью, потому что он и был Гайдном. Собственно, *Глеб* звучало как *Гайдн*, и Лена не могла этого не понимать. Она была благодарна ученику за все 104 симфонии, из которых любимыми у них с Глебом были две: симфония 103 (с тремоло литавр), но особенно — симфония 45 фа-диез минор *Прощальная*. Два гобоя, фагот, две валторны, первые и вторые скрипки, альты, виолончели и контрабасы. По очереди прекращают играть в такой последовательности: духовые, контрабасы, виолончели, альты и вторые скрипки. Положив инструмент на стул, каждый гасит свою свечу и уходит. Остаются лишь две первые скрипки, которые и завершают симфонию. Гасят свечи и тоже уходят. Однажды, когда Лена повела свою группу слушать Гайдна в филармонию, у гобоя не погасла свеча. Он задул ее и двинулся к выходу,

но, едва он прошел уже метра три, свеча опять загорелась. Зал сигнализировал. Раздались свистки, хлопки и крики. Гобой вернулся вразвалку, как-то даже криво (такой же кривой была его улыбка) и задул свечу. Когда он был уже у кулисы, свеча собралась с силами и снова вспыхнула. Зал улюлюкал. Гобой посмотрел на дирижера. Тот, стоявший спиной к залу, скроил, видно, ему рожу, потому что второй раз гобой возвращался уже без улыбки. Долго и хмуро дул на свечу. Под всеобщий хохот ждал, возобновит ли она свое горение. Глебу казалось странным, что человек, чья основная жизненная задача — дуть, испытывает такие трудности со свечой. А может быть — кто знает? — дело тут было в свече, в ее стойкости. В конце концов она, разумеется, погасла. Не гасло лишь чувство Глеба к Лене. Ему казалось, что он ощущал взаимность. Иногда, расхаживая по классу, она останавливалась рядом с ним. Ставила ногу на поперечную перекладину его стула, покачивала ею. Продолжала рассказывать как ни в чем не бывало. У мальчика пересыхало в горле от близости стройной ноги и от этого покачивания. Он смотрел на ногу не отрываясь — так она была прекрасна, — а кроме того, просто боялся поднять глаза. Однажды он все-таки это сделал и поймал взгляд Лены, властный и влажный. Ему показалось, что она смутилась, во всяком случае, сняла ногу со стула. Улегшись ночью в постель, Глеб представлял, что Лена лежит рядом, совсем близко, он ощущает ее нежную кожу. Так они лежат всю ночь — просто лежат, не помышляя ни о чем другом. Лена смотрит на него вот этим же властным и влажным взглядом, и этот взгляд покрепче будет всего того, что могло бы еще случиться-

ся. Утром Глеб встал с необычным чувством — ему казалось, что ночью совершилось нечто столь же постыдное, сколь сладкое. Утро — время непростое. Всегда было таким.

02.10.12, МЮНХЕН

Нестор, включая диктофон:

— В твоих интервью часто упоминается город Брисбен, ну и вообще Австралия. Почему?

— Потому что, когда у нас зима, у них — лето.

— А когда у нас лето?

— Тогда у них тоже лето. По нашим меркам — лето. Вот в чем вся штука, понимаешь? В нашей семье это место считалось раем.

— Для рая там слишком специфическое население. Потомки каторжников.

— И что?

— Для рая требуется хорошая биография.

— Ты там был?

— Где, в Австралии?

— Нет, в раю. Откуда ты знаешь, какая там требуется биография?

Нестор пожимает плечами.

— Я хотел спросить тебя об Ирине. Она ведь уехала в Брисбен?

— С какого-то времени мать начала переписываться с человеком из Брисбена. Не знаю, где она взяла его адрес, но только писала ему много лет.

— И он сделал ей предложение?

— Да. Это была трогательная переписка. Время от времени мать пересказывала мне его письма. Очень хорошие. В основном — о генерале Томасе

Брисбене, в честь которого назван город. К сожалению, она увезла их с собой.

— Как зовут ее друга?

— Как Кука — Джеймс. Она и называла его Кук. *Кук написал мне, что, помимо города, в честь Брисбена назван кратер на луне. По образованию генерал был астрономом. Или: Кук пишет, что в свободное время генерал Брисбен открыл более семи тысяч звезд. Ты только представь: в свободное время!*

— Ты давно живешь за границей. Как тебе кажется, те, кто уехал, — они находят решение своих проблем?

— Трудно сказать. Это решение какое-то... Ну, внешнее, что ли. Если брать шире, то думаю, что даже рай — во многом внутреннее состояние.

— Иначе говоря, человеку бесполезно входить в рай со всеми своими болями?

— Боюсь, что на фоне всеобщего счастья он будет вдвойне несчастлив. И в конце концов, наверное, сбежит.

— Вы с Ириной поддерживаете контакт?

— Да. Мы поддерживаем контакт. Это именно то, что мы делаем.

1975

Однажды утром по дороге в школу Глеба перехватил Егор. Он стоял, прислонившись к каштану, и улыбался. Его рука, державшая портфель, раскачивалась на манер маятника, что придавало Егору безвольный вид. Но так только казалось: Егор был весь воля и целеустремленность. Он приехал, чтобы предложить Глебу прогулять уроки. Это было

предложение, от которого невозможно, ну да, отказаться — и не потому, что оно казалось таким уж привлекательным. Ничем особым оно не привлекало, всё дело было в напоре Егора. Свой план он излагал так, будто это был его великий дар Глебу, который он, Егор, со всем бескорыстием преподносил. Понятно, что Глебу ничего не оставалось, как этот дар принять. Первым делом Егор повел друга вниз по бульвару Шевченко, где ему была известна первоклассная щель между двумя домами. Там они спрятали портфели. За время своей киевской жизни Егор выучил город досконально и вообще стал в нем своим. Общаясь же с Глебом, он благоразумно перешел на взрывное *z*. Учитывая характер Егора, это было именно то *z*, которое ему подходило. Спрятав портфели, новый Глебов родственник маршем проследовал к ближайшей помойке и среди поломанной мебели отыскал две ножки стула. Глеб не представлял, для чего они могли потребоваться, но ни о чем не спрашивал. Оба парня знали, что вопрос — проявление подчиненности, а ответ — вроде как наоборот. С ножками всё оказалось просто: они нужны были для того, чтобы сбивать каштаны. Для сбора их предусмотрительный Егор прихватил полотняную сумку. Каштаны росли на бульваре Шевченко вдоль домов, а посередине бульвара двумя параллельными рядами возвышались пирамидальные тополя. Киевские каштаны были несъедобными. Их не жарили на перекрестках, и не было в них ничего парижского, но Егору и Глебу они нравились. Эти каштаны висели на ветках зелеными ежиками, иногда желтели. Будучи сбитыми метким броском палки, ежики лопались на лету, распадались на половинки, освобождая полированные

красавцы-каштаны. Они ударялись об асфальт с мелодичным звуком, несколько раз подпрыгивали и замирали где-нибудь у бордюра. Гладкие, блестящие, с обязательной неполированной макушкой. За глуховатым пиццикато каштана всякий раз раздавался звонкий форшлаг палки. Из всего летевшего с дерева она хотя и приземлялась последней, зато уж не отделялась одной нотой. А однажды прозвучала как удар барабана: ударившись о ветку, отлетела к дороге и упала на припаркованные *Жигули*. Снимая палку с капота машины, Глеб увидел вмятину. Небольшую, но — вмятину. Он изучал ее минуту-другую, пока на своей руке не почувствовал руку Егора, которая тащила его в сторону ближайшей подворотни. Он хотел было взять лежавшую под деревом сумку с каштанами, но рука Егора с силой влекла его к подворотне. Из другой подворотни, услышав звук удара по капоту, к ним уже мчался владелец *Жигулей*. Вбежав во двор, Егор и Глеб бросились в первую открытую дверь и взлетели по лестнице на последний этаж. Это была черная лестница дома — черная в буквальном смысле: на первых трех ее этажах не было ни окон, ни электрического освещения. Свет брезжил лишь на последнем, четвертом этаже — там оказалось окно, выходявшее в щель между домами. В тусклом оконном свете можно было различить черный ход в квартиру — узкую дверь с облупившейся краской. Черным ходом, по всей видимости, пользовались — выходили курить к полуоткрытому окну: на подоконнике стояла массивная гранитная пепельница, полная окурков. За дверью слышались приглушенные голоса. Затаив дыхание, Глеб и Егор ждали, куда направится владелец машины. Он видел, что они

скрылись в подворотне, но куда побежали дальше, не знал. Мальчишки слышали его осторожные шаги. В какой-то момент им даже показалось, что кто-то поднимается по лестнице, но это было лишь несколько мгновений. Вероятно, преследователь раздумал искать их в темноте. Судя по скрежету битого кирпича, он решил проверить щель между домами. Глеб почувствовал было облегчение, но обнаружил, что на лице Егора радости не было. Портфели, одними губами произнес Егор. Он заметил наши портфели... Через открытое окно они видели, как лысина автомобилиста медленно перемещалась в сторону портфелей. Видимо, этот тип догадался, кто здесь оставил свои вещи. Глеб увидел, как руки Егора потянулись к пепельнице и вытряхнули из нее окурки на пол. Медленно перенесли за пределы подоконника. Глеб с ужасом следил за странными баюкающими движениями рук Егора. Перевел взгляд на его лицо — тот улыбался. Глеб понял, что это такая шутка, и страх его прошел. Когда лысина оказалась точно под окном, Егор разжал руки. Но не так ведь это и просто — попасть в лысину пепельницей. Пепельница летела невыразимо долго, и Глеб все еще надеялся, что она пролетит мимо. Не пролетела. Глухо ударилась о кость, обтянутую безволосой кожей. Человек, стоявший внизу, не упал. Он прошел еще несколько шагов и медленно осел на землю. Потом свалился на бок. Начал шарить руками по земле, словно искал что-то. Коснулся одного из портфелей, но не попытался его открыть. Он явно ничего не искал. Издавал звук, похожий на мычание. Егор кивнул Глебу, и они спустились вниз. Осторожно вошли в пространство между домами. Чтобы забрать портфели, им нужно было пе-

реступить через лысого — это было страшно. Даже в полумраке было видно, что его лицо в крови. Егор переступил через лежащего, взял оба портфеля, снова переступил и пошел к выходу. Глеб подумал и тоже двинулся к выходу. Полоса света расширялась, они вышли на солнце. А лысый остался во мраке. Пойдем, вытащим его, сказал Глеб. Егор криво усмехнулся и последовал за Глебом. С той же улыбкой наблюдал, как Глеб боится взяться за дергающиеся руки человека. Подошел и схватил правую руку. Велел Глебу взяться за левую: потащили! Ноги лысого безвольно волочились по земле. Егор с Глебом положили его на траву, но он не затих. Будто в замедленной съемке, перевернулся на живот и пополз к ближайшему дереву. Напоминал огромного неуклюжего жука. Лысого к тому же — жуков часто рисуют лысыми. Только вот на окровавленной его лысине чернела глубокая рана. Глеб думал, что такие бывают только в кино. На нее страшно было смотреть. Уходя дворами, мальчики оглядывались. Обернувшись последний раз, увидели женщину с коляской, которая не торопясь приближалась к их бывшему преследователю. Думала, видимо, что он пьяный, — сейчас разберется, что к чему. И вызовет ему скорую. Глеб с Егором так и не узнали, вызвала ли. Жутко жуку...

09.11.12, МЮНХЕН

Лежу в джакузи и всем телом радуюсь теплым потокам. Ванная комната просторна и светла. Зная мою привычку подолгу лежать в ванной, при покупке дома Катя поставила условие — расширить ванную

комнату. Свет яркий, но рассеянный — льется из скрытых светильников на потолке. Основные решения в этом доме лежат на Кате. Неосновные — на Геральдине. В ванной комнате Катя создала мне своего рода кабинет. Приемную.

Сидя в пляжных креслах, Катя и Барбара наблюдают мое купание, в их руках рюмки с ликером. Мне так уютно и спокойно, что я не порицаю сестер за потребление алкоголя, хотя в другое время мог бы. Собственно говоря, и у меня в руке рюмка с ликером. Рюмка чуть заметно дрожит.

Барбара:

— Меня беспокоит твой тремор.

Катя (неуверенно):

— Это от бьющей воды.

Барбара встает и отключает воду. Моя рюмка продолжает дрожать.

Я:

— У меня правая рука не двигается в плечевом суставе. — Допиваю ликер и ставлю рюмку на край джакузи. — Думаю, всё дело в позвоночнике.

Катя смотрит на Барбару. В глазах Барбары сомнение. Она просит меня закрыть глаза и обеими руками попеременно коснуться носа. Задание выполняется с легкой неточностью.

— Действие ликера, — говорю я.

За окном проезжает автобус. В матовом стекле видны только его контуры и огни.

— Что ты молчишь, Барбара? — спрашивает Катя.

— На месте Глеба я бы сходила к невропатологу. Вид у Барбары отсутствующий.

— Слышишь, что тебе говорит врач? — обращается ко мне Катя.

— Этот врач — гастроэнтеролог, — я подчеркнуто спокоен.

— В первую очередь она — врач!

Катя делает резкое движение рукой, и ликер расплескивается. Я улыбаюсь. Улыбка недвусмысленно дает понять, что оба случая с рюмками имеют одну и ту же причину — ликер. Продолжая смотреть куда-то вдаль, Барбара произносит:

— Боюсь, это может быть болезнь Паркинсона.

Образуя цунами, рывком сажусь и обхватываю колени руками. Волна выплескивается на пол. Катя зовет Геральдину. Та приходит с ведром и тряпкой и сосредоточенно собирает воду. На тряпке — остатки моющего средства, руки Геральдины покрываются пеной. На меня голого она не смотрит, хотя особенно и не стесняется. Закончив вытирать пол, Геральдина распрямляется и подтягивает сползшие джинсы. Катя подходит ко мне, проводит пальцем по мокрому плечу.

— Глеб, дорогой, тебе действительно нужно провериться...

Резко переступаю через край джакузи. Не вытираясь, набрасываю халат. На полу снова образуется большая лужа.

1975

Склонение существительного *путь*. Был такой параграф в учебнике русского языка, изданном для украинских школ. Русские формы — *путь, пути, пути, путь, путем, пути* — сопоставлялись там с украинскими: *путь, путі, путі, путь, пуття, путі*. Главное отличие: в украинском *путь* — она.

Грамматический женский род. Однажды Глеб спросил отца, как так получилось, что *путь* — она. Тому¹ що наша путь, ответил Федор, вона² як жінка, м'яка³ та лагідна⁴, в той час⁵ як російський путь — жорсткий,⁶ для життя непередбачений⁷. Саме⁸ тому у нас і не може бути спільної⁹ путі. Федор нежданно напел песню о бронепоезде, который стоит на запасном пути. Песня была в точку, потому что утром этого дня в школе диктовали список внеклассного чтения по русской литературе: в него вошла повесть Всеволода Иванова *Бронепоезд 14-69*. Бджилка, который писал медленно, не успел пометить номер бронепоезда и после урока подходил к учительнице, чтобы его уточнить. Существовала опасность, что учащийся может прочесть повесть о бронепоезде с другим номером. Глеба же волновали не цифры, а грамматика. После недели размышлений он принес Федору список украинских слов мужского рода, противопоставленных женскому роду в русском: *біль / боль, дріб / дробь, пил / пыль, посуд / посуда, рукопис / рукопись, Сибір / Сибирь, собака / собака*. Он попросил отца прокомментировать и эти случаи. Следовало ли из грамматического рода, что боль в русском ощущении по-женски мягче, а дробь — мельче? О чем, наконец, говорило то, что

¹ Потому.

² Она.

³ Мягкая.

⁴ Ласковая.

⁵ Время.

⁶ Жесткий.

⁷ Непредусмотренный.

⁸ Именно.

⁹ Совместной.

собака в украинском — он? Федор, подумав какое-то время над списком, вынужден был признать, что грамматические толкования имеют свои пределы. Что же касается отличия русского пути от украинского (и здесь уже не было никакой грамматики), отец со свойственной ему непреклонностью остался при своем мнении. Была, впрочем, сфера, где мнение его изменилось. Речь шла о слухе Глеба. Федор с удовлетворением замечал, как с каждым годом слух его сына развивается всё больше. Об этом ни разу не было сказано как о результате, зато процесс Федору был очевиден и его радовал. Он пришел на выпускной экзамен, где Глеб играл Концерт соль-мажор Вивальди. Мальчик исполнил его без единой помарки, при этом не просто следовал указаниям великого итальянца, но добавлял что-то невыразимое, от чего Федор почувствовал волнение. Уже начальные ноты (соль, фа-диез, соль), которые многие исполнители склонны проглатывать, Глеб сыграл акцентированно, на вызывающем фортиссимо, и это прозвучало почти трагически. Такое начало обеспокоило Федора, полагавшего, что, сыграв первые ноты на таком подъеме, исполнитель обесценит все дальнейшие эмоции концерта. Потому что на этой силе чувства (ее можно достичь лишь единожды) всю вещь не сыграть, а оканчивать уровнем, который ниже изначального, — это провал. В прямом смысле провал, движение вниз. Но тут случилось необъяснимое: играя концерт, Глеб взял вершину еще более высокую — но это была уже другая вершина. Он (и именно это казалось необъяснимым Федору) не пытался дважды штурмовать одну и ту же высоту. В какое-то мгновение возникла другая, прежде невидимая вершина или — это становилось всё очевиднее — обра-

зовалось еще одно измерение со своей собственной вершиной, и к ней-то стремился теперь его сын. Здесь Федор мысленно поправил сам себя: измерение не образовалось, его образовал Глеб. И теперь он смотрел на Глеба новыми глазами. Если раньше его отношение к занятиям сына музыкой было снисходительным, рождено было жалостью к попытке сына поднять неподъемное (Федор так это и определял в разговорах с Ириной), то сейчас он увидел, как неподъемное приподнимается. Детские еще пальцы Глеба создавали что-то, что парило поверх музыки Вивальди. Это что-то было еще совсем небольшим, но ощутимым — тем, что позволяет музыке всякий раз рождаться заново, потому что только на этом условии она продолжает жить. Федор и сам не мог этого толком выразить — просто знал, что порой даже виртуозное исполнение не рождает музыки: с бесстрастием клавесина оно лишь повторяет записанное на нотном стане. И абсолютный слух уступает другому — внутреннему — слуху, который позволяет проникнуть в самую суть вещи. Вдохновение Глеба передалось и аккомпаниаторше — пожилой женщине с выцветшими от давнего равнодушия глазами. Всё в ней было немзыкально: короткие толстые пальцы, вечная вязаная кофта и покрашенная хной седина, — но ее тоже пробрало. Отпустив клавишу с последней нотой, она встала из-за фортепьяно и обняла Глеба. Федор тоже хотел обнять сына, но в последнее мгновение смутился — оттого, может быть, что постеснялся копировать аккомпаниаторшу. Протянутую в направлении Глеба руку опустил на гриф домры. Сжимал его некоторое время, словно неотъемлемую Глебову часть, затем отпустил.

Гарно¹, синку. Сказано было скупно, но Глебу оказалось достаточно. Поздравлявших было много, но по-настоящему-то он ждал слов от Федора. В тот день выпускник музыкальной школы получил и другой подарок: наручные часы *Ракета*. Корпус часы имели посеребренный, а циферблат, выполненный из некоего полудрагоценного камня, оказался неожиданно багров. Можно было бы подумать, что подобным подарком выпускник предупреждался о предстоящем трудном, каком-то, может быть, даже багровом времени, если бы часы не были куплены в складчину мамой, бабушкой, Федором и Верой Михайловной. Имена дарителей были выгравированы на корпусе часов без всяких, разумеется, предупреждений. Вере Михайловне хотелось, правда, выгравировать и упоминание об окончании школы по классу домры, но места хватало либо на имена, либо на запись об окончании. Предпочли имена — тем более что школу Глеб вовсе не оканчивал, скорее, начинал: теперь он переходил на класс гитары. И учиться ему предстояло вновь у Веры Михайловны. Глеб снова шел в первый класс музыкальной школы. И испытывал совершеннейшее счастье. Это чувство не позволило ему ждать начала учебного года, и уже сейчас, в июне, как пять лет назад, они с отцом поехали в магазин инструментов и купили гитару ленинградского производства. По советским меркам это была неплохая гитара, но по большому счету — Глеб понял это много позже, коллекционируя инструменты, — лопата лопатой. Вера Михайловна предупредила его, что на сей раз заказной гитары у нее нет, но Глеба это ничуть не рас-

¹ Хорошо.

строило. Он любовался видом и гладил струны той гитары, которую они смогли купить. Чувствовал гордость оттого, что такой изысканный инструмент находится теперь у него дома. А прежде — трудно себе представить — дом как-то обходился без него. Всё лето Глеб изображал исполнение знаменитых вещей, забрасывая набок челку и перебирая пальцами поверх струн. Это была, пожалуй, лучшая музыка его жизни, потому что на ней не лежало проклятие воплощения: чистая идея. Мечта, не отягощенная реальностью. Собственно говоря, у Глеба был самоучитель, и кое-что он мог бы выучить самостоятельно (тем более что ему очень этого хотелось!), но — не выучил. Юный музыкант настолько дорожил чистотой стиля, что даже первые шаги предпочел сделать под опытным руководством. Так девственница блюдет себя для будущего мужа, потому что первые ласки должны быть освящены браком. Это музыкальное целомудрие домашние восприняли не без удивления. Мать Глеба выразилась даже в том духе, что ее сын, ожидая тренера по плаванию, упражнялся в бассейне без воды. Поскольку игра без звука выглядела (Глеб смотрел на свои пальцы: именно что выглядела!) непривычно, он начал издавать звуки сам. Эти звуки имитировали мелодии, а чаще просто ритм. Независимо от того, были в оригинале слова или их не было, любая мелодия исполнялась в виде яростного ди-ди-ди-ди, сопровождавшегося мельчайшими капельками слюны. Постепенно к этому прибавились да-да-да-да и ду-ду-ду-ду, так что к концу лета Глеб подошел с богатой аранжировкой. Впоследствии он, разумеется, выучился играть и на гитаре, но привычка голосового сопровождения осталась. Стала Глебовым

фирменным знаком. А лето вошло в его память в придуманном им звуковом оформлении. Запомнилось оно еще тем, что у Федора родился сын Олесь. Хотя — что значит *еще*: это стало главной новостью лета! И главной неожиданностью, потому что обильное тело Галины до последнего момента скрывало зарождение в нем нового тела. Сказать же, что рождение Олесья стало для всех радостью, было бы преувеличением. По крайней мере Ирина такой радости не испытывала. О расставании с Федором она ни минуты не жалела, и все-таки появление в его жизни Галины и — как следствие — Олесья было ей неприятно. Глеб и Антонина Павловна восприняли новость спокойно. Тем, кто расстроился по-настоящему, был, судя по всему, Егор. Однажды, когда Федора и Галины не было дома, он отнес младенца на кухню и, положив его в духовку, открыл газ. За шипением газа не услышал, как вернулись родители. Первым делом они бросились к Олесью, который, к счастью, лежал над забившейся горелкой духовки. Так были выиграны секунды, позволившие ему дожить до прихода взрослых. Федор и Галина были настолько потрясены, что не коснулись Егора и пальцем. Поняв, что бить его не будут, Егор ходил за родителями и ноющим голосом нес какую-то ахи-нею. Рассказывал, что Олесья облепили мухи, и он, Егор, по глупости решил поместить младенца на несколько секунд под газ... Не видя отклика, Егор стал по-настоящему плакать и говорить, что всё случилось потому, что его перестали любить, что всё внимание перешло теперь к Олесью. Это было единственным пунктом, где Егор приблизился к правде, и Федор наградил его ударом по лицу. Размазывая пошедшую носом кровь, Егор надеялся, что его по-

бьют еще (он уже понял, что это было бы наименьшим из зол) и, может быть, простят. Но больше его не били. Выставив Егора в кухню, родители закрылись в комнате и стали обсуждать, что им теперь делать. Было ясно, что детей нельзя было ни на минуту оставлять вдвоем. Для Федора это значило, что взрослые должны утратить внимание, но Галина видела дело иначе. Глядя на мужа сухими глазами, она произнесла: він не може жити з нами. Федор долго молчал. В конце концов спросил: чому? В ньому сидить вбивця, ответила Галина. Видя, что Федор собирается что-то возразить, она положила ему руку на плечо: я це знаю. Через неделю Федор отвез Егора в интернат. Это не была колония для малолетних преступников (о произошедшем никому не говорили) — обычное учреждение для сирот и детей из неполных семей. Вскоре Егора там навестил Глеб — он приехал с Федором. Кажется, Федор взял с собой Глеба только потому, что не очень понимал, о чем ему говорить с Егором. Когда он оставил мальчиков одних, Егор сказал Глебу: мне здесь лучше, очень уж надоела эта парочка, и — рассказал, что произошло на самом деле. Прощаясь, Егор шепнул Глебу: жаль, что не ликвидировал их выплодка. Глеб поднял на него глаза, и веки показались ему свинцовыми. Егор засмеялся: шучу! Это было 31 августа. А на следующий день Глеб уже сидел за партой и думал о том, что спустя несколько часов состоится его первый урок гитары. Которого он ждал, между прочим, пять лет. И урок состоялся. И вела его та же Вера Михайловна — в прежней своей юбке, в прежнем жакете, начинавшем уже блестеть на локтях. Глеб понял, что ждал обновления — если не Веры Михайловны в целом (такое было трудно себе представить), то по

крайней мере ее гардероба. Она этого, увы, не почувствовала и пришла необновленной. Вопреки подсознательным ожиданиям Глеба, с началом занятий гитарой жизнь нового начала не обнаруживала. Осознав это, мальчик загрустил. Светившийся радостью еще утром, в музыкальной школе он имел вид, который Вера Михайловна тут же определила как *вареный*. Она даже поинтересовалась у Глеба, не болен ли тот. Нет, не болен. Может быть, влюбился? Глеб внимательно посмотрел на учительницу: может быть. Это была хорошая мысль. Точнее, чувство. Оно уже и прежде посещало Глеба, но избранницы его были старше, а главное, выше. Сегодня же утром ситуация начала выравниваться. Рядом с ним на торжественной линейке стояла новая девочка. Ее фамилию знали еще задолго до начала занятий — Адаменко. Староста класса сказала: в следующем учебном году к нам придет Валя Адаменко. На вопрос о том, мальчик это или девочка, ни фамилия, ни имя ответа не давали. Попытки прояснить дело у старосты оказались безуспешными. Сказано — Валя Адаменко, строго отвечала староста. Она тоже не знала никаких подробностей об Адаменко, но прямо в этом не признавалась. Валя Адаменко оказалась девочкой. Красивой. Несмотря на украинскую фамилию, черты ее говорили о Востоке: особый разрез глаз, легкая смуглость кожи. Не говорили даже — намекали. Отец ее был военным, и в Киев Валя попала с очередным его переводом по службе. Валины одноклассники видели его раз или два — у него был типичный славянский облик. За восточные штрихи во внешности Вали отвечала, по всей вероятности, мать, которой никто не видел. На линейке Глеб рассматривал едва различимые волоски

на нежной коже Валиного лица — не волоски даже, а легчайший пух вроде того, что покрывает персик. При мысли о персике он неожиданно подумал о совершенно запретном, и его накрыла теплая и влажная волна. Он испытал это впервые, как испытал Адам, съев — нет, не персик — яблоко. Это было непривычно навязчивым, и чем непристойней оно становилось, тем было слаще. Оно поднималось перестоявшим тестом откуда-то из глубин живота, рождалось из всего — подобия форм, звуков... Особенно звуков — например, скольжение ногтей по струне *ми* напоминало сладострастные крики. А древесные разводы на поверхности шкафов были как голое женское тело — может быть, даже тело Вали Адаменко, — и Глеб впивался в него глазами. Он часто представлял себе Валю без одежды, особенно перед сном, и после этого долго вертелся в постели. Какой уж тут сон... И даже Валина фамилия связывалась в его сознании с Адамом. Историю Адама он прежде не раз слышал от Антонины Павловны — и всякий раз спрашивал, отчего это так строго они с Евой были наказаны за яблоко. Они с Валею. Если бы они съели яблоко... Глеб чувствовал, как его тело покрывается испариной.

20.12.12, МЮНХЕН

Иду к невропатологу фрау Фукс. Накануне просматривал интернет и нашел врача неподалеку от дома. Это посещение я хочу сделать частью прогулки. Не то чтобы специально врача посещаю — нет, просто гулял, увидел, зашел. Ехать в клинику к Барбаре — как-то слишком уж торжественно и, видимо, чрева-

то. Там у меня найдут всё что угодно, уж такой нарисуют диагноз, что не примут и в крематорий. Нажимаю на кнопку переговорного устройства. На двери — рождественский венок, под ним — бронзовая табличка с часами работы доктора медицины фрау Фукс. Под жужжание дверного механизма она меня встречает на пороге. Для доктора медицины неожиданно молода. Из-за ее спины выглядывает медсестра. Фрау Фукс улыбается.

— Неужели нас посетил сам господин Яновски?

Голос низкий и тихий.

— Да, некоторым образом...

Делаю вид, что стесняюсь. На самом деле давно уже ничего не стесняюсь. Рассказываю, что стал испытывать сложности с пальцами правой руки. Эта рука плохо двигается, и в плече выше определенной высоты ее не поднимешь. Во время моей попытки поднять руку лицо фрау Фукс выражает легкое страдание. Она просит меня раздеться до пояса. По команде фрау Фукс я закрываю глаза и касаюсь указательным пальцем кончика носа — сначала левой рукой, затем правой. Врач и сестра шепотом восклицают *ура!* и поднимают ладони как бы для аплодисментов. Видно, что их связывают годы работы.

Затем меня укладывают на кушетку, и фрау Фукс начинает сгибать мне руки и ноги. Проверяя чувствительность, нажимает на различные точки на руках. Следующий номер: я стою с вытянутыми руками. Резко выбрасываю пальцы вперед и снова собираю их в кулак. За кулаки берется фрау Фукс и пытается согнуть мои руки, но ей это не удается. Напоследок еще раз нажимает на руки (так, уходя от закрытой двери, еще раз дергают за ручку) и выпускает воздух сквозь неплотно сомкнутые губы: из-

мождена. Побеждена. Крепкий, здоровый пациент. Гениальный музыкант и просто привлекательный мужчина.

Обсуждение результатов обследования фрау Фукс предлагает устроить за кофе. Мы сидим в полной света (высокие окна) приемной. За окном по зелено-бурой, в пятнах инея траве прыгает ворона. Иногда переходит на шаг — смешно переваливается с ноги на ногу. Делает вид, будто держит руки в карманах. Карманов нет, даже рук, в общем-то, нет (кладу в чашку коричневый сахар), а вот ведь — делает вид... Да, доктор медицины уже поняла, чего опасается ее пациент. Пациенту сказали, что у него, возможно, болезнь Паркинсона. Нет, это маловероятно. При Паркинсоне характерен так называемый тремор покоя, когда руки дрожат в отсутствие мышечных усилий, причем амплитуда такого дрожания довольно велика. У пациента действительно наблюдается легкое дрожание правой руки, но амплитуда его несравнима с паркинсонической. Это нервы, что при напряженном графике выступлений и интенсивной светской жизни господина Яновски неудивительно. Здесь поможет терапевтический курс с применением современных препаратов. Что же касается проблем с плечевым суставом, то это, по всей видимости, позвоночник. Нужен хороший остеопат.

Подразумевается, что хороший невропатолог уже есть. Фрау Фукс достает из принтера рецепты необходимых мне лекарств и подписывает их изысканной перьевой ручкой. Я, в свою очередь, вынимаю из сумки компакт-диски с моими выступлениями и тоже их подписываю — доктору и ее помощнице. Бросаю прощальный взгляд за окно — вороны больше нет. Пустота.

Порой, когда Глеб брал в руки гитару, ему представлялось, что это Валя. У гитары, в сущности, женские формы. И только прикосновение к струнам действовало на него остужающе: струны были так тонки, что отрицали телесное. И они издавали неземные по красоте звуки. Упражняясь в звукоизвлечении, Глеб постигал прежде неведомые ему приемы. Например, барре, которое не используется в игре на домре. Трудность барре вовсе не в том, чтобы крепко прижать указательный палец к грифу. Всё дело — в умении чувствовать каждую из прижатых пальцем струн. Те, кто берут не умением, а силой, сосредотачивают давление в середине пальца. Следствие — большинство струн оказываются неприжатыми и перестают звучать. Или взять, например, тремоло. На домре тремоло играется медиатором, при этом двигается вся кисть. На гитаре же кисть неподвижна — двигаются пальцы. Ничто так долго Глеб не отрабатывал, как тремоло. По совету Веры Михайловны он включал метроном и начинал играть простые мелодии на тремоло. В своих ежедневных домашних занятиях только этому посвящал около часа, потому что по очереди делал акцент на каждом из пальцев. Когда же он достиг абсолютного мастерства в извлечении звуков всеми пальцами, его тремоло стало волшебным. И это не было лишь приемом игры, взятым в отдельности: Глеб научился вписывать его в общую канву пьесы. Хорошо известно, что тремоло, как все яркие явления, из общей музыкальной фактуры выделяется, и что объединить его с остальным текстом пьесы — задача не из простых. Так вот, мальчик справлялся и с этим. Например, он преуве-

лично замедлял тремоло, драпируя тем самым шов со следующим музыкальным фрагментом. И это вызывало удивление даже у его учительницы: пусть Глеб находился в музыкальной школе уже шестой год, но в учебе на гитаре он был всего лишь первоклассник! Несмотря на свое удивление, Вера Михайловна приводила на его уроки многих старших своих учеников, чтобы показать им, что такое настоящее тремоло. Самому же Глебу оно напоминало время: было таким же ровным и поглощало ноты так же, как время — события. Время Глеб открыл для себя лет в 13–14. Еще недавно оно не двигалось, было, можно сказать, вечностью, а теперь всё изменилось. Сначала возникли годы, и каждый из них был особенным в том смысле, что не имел ничего общего с другими годами. Словно бы прилетал из космоса, безродный и непредсказуемый. А этот, последний год неожиданно нашел для себя ряд. Он был зависим от предыдущих лет и определял характер лет последующих. И вообще не был бескрайним, как прежние годы. Был обозрим. Годы у Глеба начинались не первого января, а первого сентября, как в Древней Руси. О том, когда начинался древнерусский год, он, конечно, не знал. Его годом был учебный год, который сейчас переходил в спокойную летнюю стадию. Тем летом Глеб с бабушкой отдыхали в поселке Клавдиево под Киевом. Жили у матери и сына Поляковских — пани Марии и пана Тадеуша. Поляковские, в полном соответствии с фамилией, были поляками — из тех, что приехали строить Юго-Западную железную дорогу. Построив, так и остались в доме, который первоначально считали временным. Лето в этом доме, покосившемся и постепенно врастающем в землю, каком-то уже полу-

подвальном, стало для Глеба сказкой. Здесь все еще тикала удивительная прежняя жизнь, которую он видел только в кино. Эта жизнь не создавалась для съемок. Просто длилась, продолжала быть в одном лишь этом клавдиевском доме. Возникала будто из шкатулки, потому что дом Поляковских напоминал шкатулку. К пани Марии пан Тадеуш обращался на *вы* и называл ее *мамо*. Это звучало так благородно, что Глеб решил называть на *вы* Антонину Павловну. Та восприняла это не без удивления, но и не возражала. Ее внука хватило только на два дня, потому что нелегкая это задача — называть бабушку на *вы*. И хотя он вернулся к прежнему обращению, его *ты* было уже другим: оно включало в себя двухдневный опыт *вы* в доме пани Марии. В этом доме стоял еще старинный рояль. Он занимал собой почти всю большую комнату и весь был уставлен фотографиями в кипарисовых рамках. Это была многочисленная родня пани Марии. Вся она в полном составе мелко дрожала, когда на рояле начинали играть. С увеличением звука портреты приходили в движение. На фортиссимо свободно перемещались по крышке рояля, менялись местами, а время от времени даже падали на пол. Когда играла пани Мария, музыка сопровождалась особым звуком, возникавшим при касании клавишей перстнями. Четкий серебряный звук — в отличие от размытого, телесного от подушечек пальцев. Визг педалей. Скрип половиц. Дополнительных звуков было много, но они не мешали. Может быть, даже помогали. Так, сидя в первом ряду партера, благодарно слышишь топот балерин, думая: как хорошо, что в искусстве есть место телесному. Что танцуют не призраки, а мускулистые потные женщины. Иначе искусство улетело

бы, как шарик с газом... Музыка пани Марии была прекрасна — в первую очередь возвышенным выражением ее лица. Оно дрожало всеми своими морщинами. Глаза же были лишены движения, они смотрели куда-то вверх, и было в этом что-то незрячее. Особой жизнью жили ее губы — то плотно сомкнутые, то вытянутые в трубочку, подвижные, как у всякого человека с небольшим количеством зубов. Голова была откинута чуть набок. Кивала в такт каждому удару по клавишам, а может быть, просто сотрясалась, потому что взмах рук пани Марии был исполнен мощи. Всё это завораживало поселковых девушек, бравших у нее уроки фортепиано. Они копировали манеру игры и даже движения пани Марии, включая трясение головой. Не понимали, что есть движения, рождаемые опытом, самой, если угодно, жизнью, и на пустом месте их не повторишь. Чтобы так держаться, нужно всю жизнь в пыльном поселке прожить гранд-дамой, что непросто, очень непросто. Не проще, заметим, чем иметь отца, способного поехать в Петербург и поговорить с министром путей сообщения. История такова: при строительстве Юго-Западной железной дороги в честь министра Немешаева получают названия станции Немешаево-1 и Немешаево-2. Машинисты их часто путают, так что пан Антон (*бардзо элегантський!*) самолично едет к Клавдию Семеновичу Немешаеву и предлагает заменить Немешаево-2 на Клавдиево. Отличная идея — Клавдиево. Душа Клавдия Семеновича одобряла ее даже после его смерти. Тадеуш рассказывал, что неоднократно видел, как души Клавдия Семеновича и пана Антона, обнявшись, гуляют по саду. Будучи хорошим рисовальщиком, Тадеуш так и нарисовал их — в саду, в обнимку.

Портрет двух работников железной дороги висел над кроватью Глеба. Лежа в постели, Глеб рассматривал изображенных. Круглое, в обрамлении нескольких подбородков лицо Немешаева. Когда художника спрашивали, может ли душа иметь столько подбородков, он признавался, что лица Немешаева, вообще говоря, не разглядел. Портрет Клавдия Семеновича взять здесь было негде, потому пришлось рисовать его на основе общего представления пана Тадеуша о министрах. Другое лицо — лицо пана Антона: вытянутое, глубоко посаженные глаза, тонкие губы. Скулы остры. Эти же черты очевидно проявлялись в Тадеуше, особенно когда тот пел под аккомпанемент матери. Будто лягушка-царевна, с первыми нотами он сбрасывал свою обветренность, мозолистость и восстанавливал родовое изящество. Пани Мария прожила почти всю жизнь в поселке, но крестьянкой не стала. А Тадеуш — тот стал. Он был первым крестьянином в этом роду. Пение было, пожалуй, единственным, что приподнимало его над сельскими буднями. Разумеется, в селе пели не только Поляковские — в будни и в праздники, — и уж точно не хуже, чем в городе. Но в селе пели народные песни или что-то из советской эстрады, а пан Тадеуш пел романсы — есть разница. И не пел — исполнял. Стоял, облокотившись о рояль, и смотрел на мать, которая в этом дуэте была еще и дирижером. Он, конечно, был способен вступить и сам, но делал это всегда по ее кивку, ловил его — так, видимо, было заведено у них изначально. У Тадеуша был негромкий приятный баритон. В оболочке именно этого голоса в душу Глеба вошли и *Сомнение* Глинки, и *Серенада* Шуберта, и *Утро туманное* Абазы, и многое другое, что заставляло его сердце учащен-

но биться. *Уймитесь, волнения страсти...* — после таких вечеров он долго не мог заснуть. У Антонины Павловны, слышавшей, как Глеб ворочается, мелькала даже мысль прекратить вечерние концерты, но она ее от себя гнала. Понимала, что внук — натура тонкая, и гордилась этим. Правда, после позднего засыпания Глеб и просыпался довольно поздно, но бабушка его не будила. В такие дни он вставал, когда сад уже наполнялся духотой и запахом разогретых на солнце яблок. Но были в Клавдиеве и другие утра — такие ранние, что звук ручной косы на вбитой в землю свае казался набатом. В такую рань яблони были окутаны туманом, и только солнечные лучи придавали картинке резкость. Сидя в покосившейся беседке за самоваром, пили чай в наброшенных на плечи куртках. От самовара поднимался пар. От жестяных кружек с чаем тоже поднимался. Шел изо рта каждого участника чаепития. За деревьями, у самого забора, стояли в обнимку пан Антон и Клавдий Семенович Немешаев. Они наблюдали за тем, как, напившись чая, дачники отправлялись в лес. Сначала Глеб с бабушкой шли по грунтовой дороге, обходили лужи, оставшиеся в колеях после ночного дождя. На открытых пространствах — там, где лес отступал от дороги, — гулял ветер, и поверхность луж покрывалась рябью. В таких местах с деревьями уходила тень, а лучи солнца были уже по-настоящему горячи. Глеб чувствовал их тяжесть на плечах — ему казалось, что они пригибали его к земле, — и шел, сутулясь. В ветре уже не было свежести, в нем нет-нет да и чувствовался неизвестно откуда принесенный зной. Глеб с бабушкой сворачивали с дороги в лес. Ноги их утопали в глубоком мху. Сосны были неправдоподобно высокими и мощными. Были

чем-то противоположным по отношению к дому пани Марии, заключавшему весь мир в шкатулку. А тут мир как бы расправлялся, показывал, каким огромным может быть. Но этим дело не оканчивалось: ночью, когда гас свет на летней веранде, мир являл свои истинные размеры и в саду Поляковских. На черноте неба выступали звезды. Под ними, в мигании сигнальных огней, беззвучно пролетали самолеты, маленькие и беззащитные. Призывая летчиков к осторожности, пан Тадеуш негромко рассказывал им с земли, как просто в таких случаях соскользнуть в черную бездну. Все-таки земля уютна, и хорошая беседа на крыльце, и вечерняя рыбалка... Всего этого, знаете ли, было бы жаль лишиться. Не говорю уже об ударах о землю падающих яблок. Они хоть и глухи, но, взятые в своей отдельности ночью, производят, я вам доложу, впечатление — особенно когда летит крупная антоновка. Метеорит! А скрип калитки на ржавых петлях — на высоте 11 000 метров его нет, он существует только здесь. Тадеуш подходил к калитке и начинал ее открывать и закрывать. Ну? Что? Где еще вы найдете такой первоклассный скрип? Сто раз мог смазать петли, мне ж это раз плюнуть, но не смазываю, чтобы сохранить чистоту звука. Он, между прочим, находится под охраной ЮНЕСКО — такой это скрип... Прищурившись, пан Тадеуш посматривал на беспечные самолеты, и в глубине души ему было горько, что он никогда не летал. Изредка делал кругообразные движения папироской — это была команда самолетам сбросить высоту. Они его, за редкими исключениями, слушались. Снижались — куда им было деться? Время от времени он задумчиво приближался к забору, и из мрака несло приглушенное бульканье. Вер-

нувшись и вытерев губы, в разговоре с пролетающими мимо пан Тадеуш переходил на шепот. Да, панове, можно сказать, что моя жизнь прошла на этих десяти сотках. Допустим, что она сложилась не так, как я хотел. А может, и просто сложилась. Схлопнулась. Смялась, как этот спичечный коробок (звук сминаемого коробка). Стала, если позволите, узкой. Подняв ладонь, пан Тадеуш демонстрирует летному составу раздавленный коробок: и даже плоской... Но упаси вас бог забираться в те высоты, откуда уже нет возврата. Это, панове, говорю вам я, который лучше других понимает, *что* есть отсутствие пределов.

03.02.13, Лондон

На концерте в лондонском Альберт-холле не могу сыграть чисто ни одного форшлага. За этим следует вечер моего сумасшествия. Отмечая свое выступление в русском ресторане на Веллингтон-роуд, я много пью, громко шучу, хохочу и даже мяукаю. Такую форму принимает мое отчаяние. Катя, которая догадывается о причине веселья, под столом кладет мне на колено руку. Когда рука предупреждающе сжимается, я, мяукнув, колю ее зубочисткой. Катя с криком подпрыгивает, и это сопровождается новым взрывом хохота. Кто-то тихо говорит, что впервые видит развеселившуюся Катю. Эти слова почему-то слышат все. Хохот. Следует тост за Катю. Ее бокал пуст. Это замечает сосед Кати слева.

— Что вам налить?

— Не знаю. Шампанского, может быть...

— А что у вас с рукой? Это кровь?

Катя смотрит на руку.

— Укололась где-то.

Официант приносит дезинфицирующий спрей, распыляет его над рукой и заклеивает ранку пластырем.

— За раненую Катю!

Улыбаясь сквозь слезы, Катя поднимает бокал и чокается со всеми по очереди. После паузы поворачивается ко мне. Я с силой въезжаю в ее бокал своим бокалом, отчего вино расплескивается.

— Тебе за это будет стыдно, — говорит Катя одними губами.

Мне уже стыдно. И уже больно.

— Раненая, твою мать... Вали отсюда!

Мне до смерти хочется, чтобы мир разрушился. В самых значимых и дорогих его частях. До смерти.

Катя ставит бокал на залитую вином скатерть, вытирает мокрые пальцы салфеткой и выходит из-за стола. Официант вызывает ей такси, она уезжает.

— Ну вот, остался без жены, — грустит Майер, мой продюсер. — И что в этом хорошего?

Он немец, но в сегодняшней компании говорит по-английски. Все сегодня говорят по-английски.

— Но я не остался без жены! — обвожу присутствующих взглядом и останавливаюсь на девушке лет восемнадцати. Как бы только что заметил. На самом деле хитрю: я заметил ее давно. — Будете моей женой?

— На сегодня, — уточняет Майер. — Потому что у него уже одна жена есть. А вы, простите, за этим столом кого представляете?

Девушка, коротко:

— *Femen.*

Майер театрально морщит лоб, как бы что-то припоминая. Закрывает лицо руками и произносит сквозь неплотно сдвинутые пальцы:

— Так мы вроде бы такого движения не приглашали.

Начинает звучать украинский:

— Нас ніхто не запрошує¹. Ми приходимо самі.

Переводят для Майера. Все хохочут.

— Майер, не приставай!

Я направляюсь к девушке. Беру ее за руку и веду к своей части стола. Усаживаю на стул Кати. По пути выясняется, что девушку зовут Ганной, и все пьют за Ганну.

— Быть в *Femen*, Ганна, большая ответственность, — говорит, закуривая, Майер, — но не все это осознают. Членство в движении предполагает не только идеологическое соответствие, правда?

— Про що це ви? — Ганна тоже закуривает.

Пытаюсь перевести ее вопрос, но язык плохо меня слушается. Кто-то это делает вместо меня. Майер кивает.

— Имею в виду, что не всякую грудь можно оголять. Когда на сцену выскакивает тетка с обвисшими сиськами, меркнет любая идея. Вы меня понимаете?

Ганна гасит окурок в пепельнице и начинает не торопясь расстегивать блузку. Бюстгальтера девушка не носит — грудь идеальной формы, упруга. Темно-коричневые соски, татуировка с названием движения. Продемонстрированное вызывает аплодисменты. Право Ганны на участие в движении признаётся единогласно. Я целую девушку в губы и чувствую ее

¹ Приглашает.

ответ. А может, и не чувствую: ощущения становятся всё обманчивей.

Когда около полуночи все разъезжаются по домам, мы с Ганной оказываемся в одной такси.

— В отель! — команду водителю-арабу.

Дождавшись окончания нашего с Ганной поцелуя, водитель спрашивает:

— В какой, сэр?

— В любой!

Машина неторопливо трогается с места. С той же скоростью в заднем стекле удаляются провожающие. Уже почти совсем исчезнув, они начинают усиленно махать руками, словно о чем-то забыли. Меня догоняет телефонный звонок. У провожающих остались многочисленные врученные мне букеты. Я распоряжаюсь раздать их нищим. Мы с Ганной пьем шампанское из бутылки.

Через полчаса приходит еще один звонок. Мне описывают, как Майер, покачиваясь, обходит нищих на Веллингтон-роуд. Он находит их на скамейках и вентиляционных решетках, спящими под кучей одеял и в домиках из картонных коробок. Вслед за ним идут еще три человека, несущих охапки цветов. Носком туфли Майер ковыряет в тряпье, всякий раз пытаясь обнаружить лицо хозяина. Глядя в выпученные глаза собеседников, он с учтивым поклоном вручает им цветы от Глеба Яновского. Разбуженные молча берут букеты, но на лицах их нет радости. И благодарности Глебу Яновскому тоже нет.

В гостинице Ганна спрашивает меня, часто ли я изменяю жене. Я отвечаю, что никогда, и это правда. Ганна задумчиво сидит на постели. Вроде бы ничего не говорит, но откуда-то издали слышится ее голос. Если между нами что-то произойдет, я буду

жалеть. Ставит меня в известность. Она. Это последнее, что я помню. Не уверен, что между нами что-то произошло.

1977

Стоял изумительный киевский июнь — с теплыми вечерами, лодочными прогулками по Днепру и первыми купаниями. Так случилось, что, уезжая в отпуск, знакомые попросили Антонину Павловну пожить в их квартире на Русановке — новом районе на левом берегу Днепра. Причиной просьбы были кот, рыбы и растения, о которых надлежало заботиться. Причина согласия Антонины Павловны состояла в желании вывезти Глеба на реку: дом располагался на набережной, у одного из рукавов Днепра. Набережная, вопреки обыкновению, шла не у самой воды, а на некотором расстоянии — минутах в пяти ходьбы. Эти пять минут приходилось идти сквозь заросли ивняка, маленькие джунгли с умопомрачительной смесью запахов. В этот букет входили листья (свежие и прошлогодние), песок, вода и пустые ракушки речных улиток. Ракушки придавали букету особую терпкость. То был полный оптимизма аромат смерти, рождающей новую жизнь. Каждое утро Глеб и бабушка шли на пляж, и запах был первым, чем их встречала река. На полпути к пляжу, когда уже начинался песок, они снимали обувь и шли босиком. Песок был нечист, то и дело в нем что-то царапало и кололо, но это не уменьшало удовольствия от погружения ступней в теплую сыпучую стихию. В какой-то момент сквозь ивовые ветви начинала блестеть река. Увидеть танцующее на воде солнце

было главной утренней радостью Глеба. Большею даже, чем купание, потому что прикосновение часто оказывается менее значимым, чем мечта о нем. Но ведь и купание было, вообще говоря, прекрасно. Пусть речная вода держала не так, как морская, была непрозрачной, зато она не образовывала больших волн (небольшие шли от моторных лодок). Это была домашняя вода, к ней не нужно было ехать сотни километров, она протекала в городе. Да и пляж, в отличие от юга, был другим. На нем не было тентов и шезлонгов, расставленных с геометрической точностью, — там расстилалась тень ив. Вились, с усилием отрываясь от земли, стволы и корни, на которых можно было повесить одежду. Пляжники лежали на полотенцах и подстилках, передвигая их из тени на солнце и наоборот. Речная эта жизнь продолжалась даже дома, потому что окна их квартиры выходили на Днепр. Глеб засыпал под звуки моторок. Вечером они были редкими и оттого драгоценными. Мальчик ловил шум мотора на дальних подступах и мысленно следовал за ним до тех пор, пока не исчезало его эхо. Если лодка шла вверх по течению, он представлял себе ее конечную цель — никогда не виденную, но любимую им Россию. Эту землю с прекрасным женственным именем любили мама и бабушка, так как же было не любить ее Глебу? Если лодка шла по течению вниз, Глеб понимал, что ждет ее Черное море, в котором он не раз купался и которое любил не меньше России. Ему нравился тогда и Днепр, но чувство это длилось недолго — до одного утра, которое навсегда врезалось в память Глеба. Они с бабушкой шли сквозь ивняк на пляж. Прохладный по-утреннему воздух, резкие тени на песке. На одной из дорожек перед ними вынырнула

девушка. Очень, ох, неподходящее слово, но на этих дорожках, петлявших сквозь кусты, время от времени кто-то именно что выныривал. Девушка. Видимая со спины: с рассыпавшимися по плечам русыми волосами, в красно-черном купальнике, с завязанным на поясе длинным просвечивающим платком. На правой руке — плетеный браслет из голубой проволоки. Глеб с Антониной Павловной шли босиком, держа в руках сандалии. Девушка тоже шла босиком. Несла на плече соломенную пляжную сумку — может быть, сандалии лежали там. Шагала широко, как-то даже по-балетному, а Глеб копировал ее походку и старался попадать своими ступнями в ее следы. Попадая, чувствовал волнение. На ближайшей развилке она свернула на правую тропинку, а Глеб с бабушкой пошли по левой. Дойдя до воды, они расстелили подстилку — старую штору, часть ее в тени (Антонина Павловна предпочитала тень), а часть на солнце. Загорая, Глеб задремал. Проснулся от криков. Кого-то выносили из воды, кого — не видно, потому что выносящих было много. Глеб видел лишь безвольно качавшуюся руку, скорее всего женскую, но даже этого нельзя было сказать наверняка, поскольку рука то и дело скрывалась за прибывавшими людьми. Вдруг он заметил на запястье голубую плетенку — это была девушка, которую они видели по дороге на пляж! Ее осторожно положили на песок, и один из мужчин начал ритмично нажимать ей на грудь. Делал искусственное дыхание — рот в рот. Несколько мгновений Глеб ему завидовал. А потом увидел ее глаза — они были открыты. В них не было жизни. Тело девушки все еще сотрясалось под руками спасавшего, но было почему-то ясно, что жизнь ее покинула. И никогда уже не вернется.

Через какое-то время из-за кустов показались врачи. Резкими движениями стали разводить девушке руки и сводить их на груди, но делали это недолго. Пощупали пульс. Отошли в сторону и о чем-то тихо говорили. Наблюдали, как тот же человек вновь пытался ее реанимировать. Никто не заметил, как они исчезли. Постепенно толпа вокруг утопленницы стала редеть. Антонина Павловна хотела увести внука, но он воспротивился. Не отрываясь смотрел на девушку, которой, казалось, уже больше никто не интересовался. Те, что еще оставались, говорили больше о своем. Чиркая на утреннем ветру спичками, закуривали, с преувеличенной осторожностью сбрасывали пепел, ввинчивали окурки в песок. Утро, думалось Глебу, утро еще не кончилось, а той, которую этим утром видел, нет — как же это? Она успела ощутить тот же ветер, видела те же облака по краям небес — их ведь даже не разметало еще. Отныне она уже никогда не почувствует ветра, дождя, снега. Снег будет разный — медленно слетающий с небес, колючий, бьющий в лицо. Никакого не почувствует. Не увидит, что река будет разной — подо льдом будет, осенней — в листьях, или такой, как сейчас. Не найдет тапок у кровати. За завтрак не сядет. Не войдет в помещение с холода. Как страшно. Когда Антонина Павловна... Когда Антонина Павловна сказала, что надо уходить, Глеб внезапно закричал на нее — на весь пляж. Тогда она, не говоря ни слова, собрала вещи и ушла, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу. Старая дура, прошипел Глеб. На мгновение он почувствовал к бабушке ненависть. Потому что она (казалось ему) не способна была постичь глубины разыгравшейся драмы. Ее не трогали красота и смерть. А он не мог понять, как толь-

ко что можно было быть живым, а через час — мертвым. Как? Бабушка вернулась, чтобы все-таки его забрать, и тогда он закричал: пошла вон! Крик перешел в визг. Она ушла и больше уже не возвращалась. Кто-то принес вещи девушки, накрыл ее лицо платком. Этот платок Глеб видел повязанным вокруг ее бедер. Пляж опустел — не весь, а та его часть, с которой была видна утопленница. Рядом с ней оставался лишь Глеб. Ему казалось, что надо еще что-то сделать, чтобы спасти ее. Что в сделанном недостаточно любви. Со стороны окружающих нужно было какое-то усилие души, но окружающих не было. Они предпочли оставить девушку наедине с ее бедой. С ее смертью. Легкий платок порывом ветра сдуло с лица. Глеб рассматривал его и находил прекрасным. Прямой нос. Тонкие полураскрытые губы. Только в изменившемся цвете губ была смерть, да еще в остановившемся взгляде. Больше ни в чем. Но глаза совершенно определенно говорили, что жизнь кончилась. Почему никто их не закрыл? Глеб никогда не видел это лицо живым, потому что шел позади девушки. Всего-то нужно было — забежать вперед и посмотреть. Она бы выразила удивление. Засмеялась бы, махнула рукой. Может быть, даже фыркнула — мало ли на что способен человек, когда к нему проявляют внимание. Сейчас удивлять ее бесполезно: она начисто лишена мимики. Всё надо было делать при ее жизни. Возвращаясь домой, Глеб ожидал трудного разговора с бабушкой. Но этого не произошло. Бабушка молча обняла его, и Глебу стало ясно, что она понимает его как никто другой. Переход из жизни в смерть для нее — вопрос недалекого будущего. В Глебовых ушах еще стояли его злобные крики на пляже. Злость его переплавилась

в щемящее чувство к бабушке и в страх скорой ее смерти. И, лежа уже в постели, Глеб заплакал. Слезы текли из его глаз, пока он не заснул. Перед самым рассветом проснулся от скрипа паркета: у его кровати стояла та, о которой он плакал. Сказала, что ее зовут Арина. Он понимал, что в таких случаях речь может идти только о сне, но мокрые волосы Арины и то, как неуверенно она держалась, убедили его, что он имеет дело с реальностью. Арина думала о том, как хрупка жизнь и как легко она может прерваться. Это было видно по ее лицу, которое вновь обрело мимику. А Глеб думал о том, как мало любви получает человек при жизни. Арина кивнула: может, ничего бы со мной не случилось, если бы меня любили по-настоящему. Может, вода затягивает тех, кого не держит ничье чувство. Наверное, так всё и происходит, согласился Глеб. Надо было обнять тебя, лежащую на песке, и ударами своего сердца завести твое остановившееся. Чтобы одно сердце отозвалось на ритм другого. За окном светло, и Глебу показалось, что это свет сбывающейся надежды. Арина прижалась лбом к его лбу. Он чувствовал, как вода с ее волос стекает по его лицу, шее, груди. Душа Глеба, наполнившись счастьем, стала легкой. Полетела над пляжем, объявляя загорающим о грядущем бракосочетании Глеба с Ариной или просто о каком-то таком сочетании, которое крепче брака. О чем именно объявляла душа Глеба, не казалось столь уж значимым. Арино возвращение к жизни было в тысячу раз важнее этих подробностей. Пляжники махали в ответ ивовыми ветвями, но как-то неуверенно. До Глеба доносились голоса, считавшие информацию преждевременной. Его это смешило. Он проснулся с улыбкой

и сердцем, полным света. Поняв, что радость ему приснилась, помрачнел. Несколько дней, остававшихся до возвращения хозяев квартиры, бабушка и внук провели в подавленном настроении. Спускались временами во двор, но на пляж больше не ходили. Когда, уезжая с Русановки, в вагоне метро пересекали Днепр, Глеб отвернулся от окна. Он уставился в потолок и сидел неподвижно, пока вдруг не увидел на нем игру отраженного от воды солнца. Он опустил голову на руки, ладони его закрыли лицо, и никаких признаков реки больше не ощущалось. Вернувшись домой, Глеб вроде бы забыл о смерти на реке. Так, по крайней мере, казалось Антонине Павловне. Но когда спустя месяц она предложила ему вместе поехать в Крым, он отказался. Дело было не в самом отказе, а в его категоричности. Антонина Павловна поняла, что посещение любых пляжей ее внуку на время противопоказано. Остаток лета Глеб провел в городе. Немного читал, но бóльшую часть времени проводил на улице. Начал курить. Вечерами на опустевших детских площадках невозможно было не закурить: там курили все. Сидели на спинках низких лавочек и пеньящейся слюной сплевывали сквозь зубы на землю. На сиденьях выжигали сигаретами свои имена. Или, туго закручивая цепи, вращались вокруг своей оси на качелях. От выжигавших и вращавшихся Глеб не услышал ни одной законченной фразы, их речь, по большому счету, была мычанием. Они ходили с открытым ртом и бессмысленно выкатывали глаза. Поступал ли таким же образом Глеб? Видимо, да. Посещать детскую площадку можно было лишь на этих условиях. Зачем он так поступал — в точности Глеб не знал и сам. Скорее всего, это

было подсознательное желание оказаться среди таких же, как он, потерянных и несчастных. Потому что подростки обычно несчастны.

15.02.13, МЮНХЕН

Нестор снова у нас в гостях — на этот раз он приехал на две недели.

Утро. Мы с ним работаем над книгой в зимнем саду. Это огромная пристроенная к дому оранжерея. Собственно говоря, это часть дома, потому что стена между жилым помещением и оранжереей — стеклянная. У стены художественно обрываются огромные потемневшие балки. Помимо диктофона перед Нестором — блокнот с вопросами. Первый из них он зачитывает механическим голосом. Напоминает корреспондента районной газеты.

— В своих воспоминаниях ты часто упоминаешь о реках. Реки занимают какое-то особое место в твоей жизни?

— Реки — это движение, они что-то приносят, что-то уносят. Чаще — уносят.

Нестор отрывает глаза от блокнота.

— Лета? Стикс?

— Пожалуй... Ну, может быть, еще Днепр, Нева.

— Очень, мне кажется, разные реки.

— Очень. Нева — некупальная, во всех смыслах холодная. А Днепр — теплый, если хочешь, радостный.

Нестор поднимает голову.

— Даже после гибели Арины?

— Ну да... Понимаешь, в жизни одни события уравниваются другими. Одна и та же мелодия

может прозвучать вначале в миноре, а затем в мажоре. Или наоборот.

Дирижируя, напеваю оба варианта. Нестор кивает в такт. Не без удивления.

— Тогда расскажи про мажор.

— Хорошо, мажор. Представь себе: ту квартиру на набережной, о которой я тебе рассказывал, мы с маминим братом Колей ремонтировали. Это было за год-два до гибели Арины. Коля для этого приехал из Вологды... — Вижу вежливую улыбку Нестора, и меня разбирает смех. — Тьфу, звучит как-то по-дурачки. Спроси что-нибудь!

— Я даже не знаю, что здесь можно спросить. Ну, хорошо: почему вы эту квартиру ремонтировали, точнее, почему ее ремонтировали именно вы?

— Не помню. Есть на свете события без начала и конца... Помню лишь, что ни я, ни, подозреваю, Коля до этого не ремонтировали в своей жизни ни-че-го. Чтобы не было жарко, мы открываем окна и старательно клеим обои.

— Но ведь обои не клеят при открытых окнах.

Уважительно смотрю на Нестора.

— Не имея твоего, Нестор, опыта, мы разводим клейстер. Он весь в комках. Теряющей волоски щеткой наносим его на обойные листы. Коля тоном бывалого призывает выгонять из-под приклеенных обоев пузырьки воздуха. Мы делаем это при помощи тряпок.

— Можно щетками. Мощные движения от центральной оси обоев к их краям. — Нестор демонстрирует мне эти движения. — Чуть вниз. Напоминает рисование елки. И что дальше?

— Дальше Коля обращает мое внимание на то, что главное в обойном деле — тщательная оклейка углов стен.

— Точно. Если где и следует прижимать обои по-настоящему, то именно в углах. Именно там клейщика обоев и может подстерегать опасность.

— Обои в углах мы прижимаем самозабвенно. Бумага рвется... Слушай, откуда ты всё знаешь про обои?

— В студенчестве я подрабатывал маляром. Но ты остановился на самом интересном...

— К вечеру мы заканчиваем с оклейкой гостиной и спускаемся на улицу купить бочкового кваса. Бочка закрыта. Коля говорит, что у него есть идея. Мы заходим в гастроном и покупаем несколько пачек концентрата кваса. Вернувшись домой, включаем футбольную трансляцию. С первым ударом по мячу в комнате раздается треск.

— Закономерно.

— Коля высказывает догадку, что так, должно быть, свойственно сохнуть обоям. Через некоторое время первый обойный лист отделяется от стены...

Входит Геральдина с минеральной водой и разливает ее по фужерам.

— ...отделяется и сворачивается на полу. Массовый падёж обоев — и в этом Коля оказался прав — начинается именно с углов. Мы не унываем и решаем выпить квасу. Увы. Концентрат кваса в воде не растворяется.

Нестор хохочет:

— Он никогда не растворялся! Точнее, растворялся, но не до конца. Получалась безвкусная мутная жижа с осевшими на дне крупинками.

Геральдина спрашивает, нужно ли что-то еще, но вопрос остается без ответа.

— В этот момент Коле приходит в голову замечательная мысль: есть концентрат сухим. Удивитель-

ным образом вкус, ухотивший при разведении брикетов, в сухом виде присутствовал в полной мере.

Нестор кивает Геральдине и поднимает фужер:

— Его можно было есть и запивать водой!

— На Русановской набережной мы прожили примерно неделю и почти каждый вечер ели этот концентрат — брикет за брикетом. Каждый вечер по телевизору показывали футбол, а за окнами качались пирамидальные тополя. И еще: с Днепра доносились звуки моторных лодок.

Даю сигнал Геральдине: нет, больше ничего не нужно. Геральдина выходит медленно и грустно. Всем становится ясно, что нет ничего горше невнимания. Паузу прерывает Нестор.

— Темнота в Киеве наступала поздно?

— Да, но даже когда становилось темно, какое-то время еще светился крутой правый берег. За него закатывалось солнце.

Я хочу еще добавить, что с ночными бабочками в окна влетало чувство беспредельного счастья, но боюсь, что ничего не объясню в словах. Замолкаю. Мне кажется, что я слышу музыку, способную это выразить. Ля минор, две четверти: счастье возникло от запаха реки, от осознания того, что впереди — целая жизнь, и, как понимаю теперь, от отсутствия представления о смерти.

1978

Накануне нового учебного года, в самом конце августа, было несколько репетиций концерта в честь первого сентября. На второй репетиции Глеб сидел рядом с виолончелисткой Анной Лебедь, готовив-

шейся сыграть — что же еще? — *Лебедя Сен-Санса*. Было понятно, что сейчас прозвучит шуточная песенка директора школы о двух лебедях, одним из которых оказывалась Анна. Мелодия и слова были откровенно ориентированы на песню *Два кольори*. Песенка возникла полтора года назад, когда Анна взялась за Сен-Санса, и всякий раз (так бывает, когда шутит начальство) все смеялись ей как в первый. Смеялись и сейчас. Носившая обычно школьную форму, Анна была на репетиции в короткой юбке. И в короткой майке. Сидя сбоку, Глеб наблюдал, как от деланого смеха содрогается ее живот. Майка приподнималась, отчего открывалась полоска кожи, а у наблюдателя начала кружиться голова. Наливаться кровью, и кружиться, и становиться чужой. Где-то я уже этот шедевр слышал, неожиданно и громко произнесли Глебовы губы, раз примерно сто двадцать. Никто уже не смеялся. В полной тишине директор подошел к Глебу, и Глеб без волнения подумал, что тот его сейчас ударит. Но директор не ударил. Помолчав, сказал: много на себя берешь, Яновский. Глеб спокойно смотрел ему в глаза. Он думал об Анне и о содроганиях ее живота. Сопровождаемый взглядом Глеба, директор быстро вышел. Анна обхватила виолончель ногами и заиграла *Лебедя*. Глеб перевел взгляд на Анну — за лето она стала другой. Дело было не только в телесных изменениях (они не вызывали сомнений) — у нее был новый взгляд, взрослый и женский. А главное, она по-другому играла. Так играют, тихо сказал Глеб Клещуку, только потеряв невинность. Ты имеешь в виду движение рук, растерянно спросил Клещук. Ног, прошипел Глеб. Отвернувшись, он смотрел, как голые ноги Анны то отпускали инструмент, то

сжимали его с новой силой, и *Лебедь* входил с наблюдателем в странный, прежде им не испытывавшийся резонанс. Глеб уже знал, что не уйдет, не дождавшись Анны. Темное и влажное чувство, заставившее его наглубить директору, теперь лишало Глеба воли и влекло за ней. И Анна знала об этом. Подчеркнуто неторопливо собирала ноты, клала виолончель в футляр. Даже не глядя на Глеба, чувствовала всю прочность связавшей их нити. Анна не удивилась тому, что Глеб ушел не прощаясь, как не удивилась и тому, что наткнулась на него, завернув за угол музыкальной школы. Молча — в руке гитара — смотрел на Анну. Свободной рукой взял ее виолончель (электрический разряд при соприкосновении пальцев). Человек-оркестр, пошутила Анна, но Глеб не засмеялся. Он шел за ней, отставая на полшага, и в такт их движению скрипела ручка виолончельного футляра. Анна жила в новом уродливом доме на Владимирской, прямо против оперного театра. Ее родители были музыкантами. Они сегодня выступают в Москве, пояснила Анна, закрыв входную дверь изнутри. Понятно, что в Москве. Тот вихрь, которым Глеба повлекло за Анной, выдул бы из квартиры любых родителей. Когда они вошли в комнату Анны, она достала виолончель и устроила ее между ног. Небрежным движением откинула юбку и заиграла *Лебедя*. Улыбнулась: только для тебя. Играла нечисто, не всегда точно брала ноты. Возможно, все силы ее ушли на выступление в музыкальной школе, а может, она просто волновалась. Только для Глеба ведь играла. И ноги ее снова сжимали виолончель, и под отважно откинутой юбкой мерцала полоска трусиков. Ты обнимаешь виолончель, как мужчину, произнес его механический го-

лос. Анна отложила виолончель, встала и, развернувшись к Глебу, села ему на колени: могу обнимать тебя... Ее грудь оказалась у самого Глебова лица. Натянутая ткань вполне отражала ее достоинства, но Анна стянула и футболку. Глеб коснулся ее груди губами. Вдохнул запах ее кожи. В Стране Советов дезодорант тогда не был всеобщим достоянием, но это никому не мешало. Совсем даже наоборот. Вспоминая свой первый любовный опыт, Глеб неизменно ощущал аромат юного женского тела. Говорят, память на запахи — самая прочная. Женщины, с которыми ему приходилось иметь дело впоследствии, запоминались марками дезодорантов, но это не шло ни в какое сравнение с благоуханием плоти Анны Лебедь. В течение нескольких бесконечных минут эта плоть принадлежала ему. Анна сжимала и отпускала его бедра, и, лежа на ее кровати, он чувствовал себя виолончелью. Потом они курили. Пепельница, положенная на живот Глеба, поднималась и опускалась в такт его дыханию. Лежа на Глебовом плече, Анна выдувала дым тонкой струйкой. Глеб смотрел в потолок. О чем ты думаешь, спросила Анна. О смерти. Странно, она потерлась затылком о руку Глеба, странно, что ты думаешь о смерти именно сейчас, — это всё равно что думать о смерти на пляже. Глеб провел пальцем по Аниному носу. Я видел смерть на пляже... Фу, Анна сбросила его руку. Если будем всегда любить друг друга, сказал Глеб, то смерть не страшна. Не страшна, понимаешь? Понимаю. Анна встала и сняла с его живота пепельницу. Я помоюсь? Растянувшись на кровати Анны, он рассматривал оперный театр. Театр занимал всё окно, и оттого казалось, что он продолжает увеличиваться в размерах. Глеб думал о том,

что лежа он смотрит на этот театр в первый раз. Не знал, что этот раз был и последним. Но самым грустным оказалось другое. Вместе с видом на театр из его жизни ушла и Анна. После этой страстной встречи он видел ее только однажды — на общем концерте. Глеб подошел спросить, когда они увидятся, но Анна положила ему на губы палец. Она ответила ему одними глазами, и глаза ее выражали просьбу о терпении. По крайней мере, так он это понял. Терпение, в представлении Глеба, измерялось часами, ну, одним-двумя днями, но прошла уже неделя, а Анна в музыкальной школе не появлялась. Не встретив ее на общих занятиях, Глеб уточнил расписание уроков по виолончели, но и на этих уроках ее не было. Наконец Глеб набрался смелости и отправился в ту квартиру, где он так подробно рассмотрел оперный театр (и не только), — там никто не открыл. И тогда он, стесняясь, подошел к преподавательнице виолончели и спросил, что с Анной. А ты не знаешь, удивилась преподавательница. Анины родители были приняты в только что созданный оркестр. Называется *Скрипки Москвы*. Они скрипачи, спросил зачем-то Глеб. Да, скрипачи. Улыбнулась. Хорошие, если тебя это интересует. Его это не интересовало. Преподавательница двинулась в сторону учительской. Они узнали об этом только сейчас, уточнил, догоняя ее, Глеб. О переезде? Она наморщила лоб. Это было известно еще весной. В первое мгновение ему захотелось броситься на вокзал и уехать в Москву. Он нашел бы Анну через ее родителей. Не так уж, рассуждал он, много оркестров с названием *Скрипки Москвы*. Но уже через минуту это желание прошло. Стало противно. Зная, что уезжает, позволила себе немного

расслабиться, подумалось Глебу. Небольшое такое позволила приключение. Теперь он досадовал на себя за то, что все эти дни думал об Анне, узнавал ее расписание, бегал к ней домой, бегал к ее учительнице. Самым же болезненным было то, что мысленно он называл Анну женой. Делал своим жизненным выбором. То, что начиналось как зов плоти, стало основанием для высокой, ведущей в небеса лестницы, которую он создал в своем воображении. Поначалу ему показалось, что она с грохотом рухнула. Потом же стало ясно, что обрушения не случилось — и грохот только послышался: никакой лестницы на самом деле не было. Глеб вспомнил погибшую Арину — и понял, что она и была его единственной любовью. Как он посмел не остановить ее, идущую на пляж, почему не схватил за руки и не оттащил от воды? Да, это было бы грубо и наверняка вызвало бы удивление, но какое это имело бы значение в сравнении со спасенной жизнью? Не объясняя ничего, он бы покрывал ее лицо поцелуями, и она бы его, конечно, простила. Они бы слились воедино, как он сливался с Анной, а Анны бы не было — по крайней мере такой, какой она вошла в его жизнь. В иные дни Глеб забывал об Арине и не думал ни о ком кроме Анны. Испытывал жгучее желание. Порой просыпался по ночам и явственно, до дрожи, представлял себе тело Анны. Ощущал ее ритмичные движения и покрывался потом. Иногда он был близок к тому, чтобы сбежать в Москву, где его, собственно, никто не ждал. Он не собирался просить Анну о постоянных отношениях (да и как это могло бы осуществиться в их возрасте?), но был готов умолять ее о повторении того, что было: еще об одном *разе*. Мечтая об этом, он презирал себя,

потому что его мечтания порождались исключительно похотью, в них не было ничего из того, о чем он думал после смерти Арины.

28.02.13, МЮНХЕН

Сквозь глянцевые тропические листья струится дым Несторовой сигареты. Иногда закуриваю и я. Геральдина, хоть и меняет время от времени пепельницы, курения в саду не одобряет. Всем своим горестным видом показывает, что от нее здесь ничего не зависит. О бесконечных русских беседах с переполненными пепельницами рассказывает в свободное время садовнику-баварцу.

Садовник приходит трижды в неделю. Он вежливо выслушивает Геральдину, но курение в саду его не раздражает. Это спокойный, похожий на моржа, усатый человек. Его спокойствие передается растениям, и они всё делают вовремя: цветут, плодоносят или просто вяются вокруг расставленных шестов. Порой Геральдине хочется так же обвиться вокруг него, и об этом в доме знают все, включая гостя.

Нестор спрашивает меня об отношениях Геральдины с садовником. Шепотом отвечаю, что того интересует исключительно флора, не фауна. Мне кажется, бурная тропическая любовь в этом саду маловероятна. Зато сад прекрасен. Степень его ухоженности может сравниться лишь с ухоженностью усов баварца: и в том, и в другом чувствуется одна рука.

— Этим примером ты хочешь сказать, — Нестор подыскивает слова, — что настоящее искусство требует аскезы?

— Кажется, Бальзак однажды высказался в том духе, что ночь, проведенная с женщиной, стоит страницы хорошей прозы. А может, не Бальзак.

Нестор смотрит на меня с сомнением. Ночь, проведенная с женщиной... Вероятно, это никогда не обедняло его прозу. Ну так ведь он и не Бальзак.

После обеда мы с Нестором и Катей отправляемся кататься на велосипедах, благо в Мюнхене это можно делать и в феврале. Нестору дают мою легкую куртку — в своей ему будет жарко. У входа в Английский сад определяю построение: впереди — Нестор и Катя, я — сзади. Сначала едем по заасфальтированной центральной аллее, где встречные велосипедисты мне приветственно машут. Сворачиваем и оказываемся на берегу Изара, мелкой и быстрой речки, берущей начало в Альпах.

— Здесь меньше велосипедистов, — поясняет Нестору Катя, — и спокойнее.

— По-моему, весь Мюнхен — само спокойствие. Катя кивает.

— Пожалуй. А может, это свойство городов, где много зелени? Зелень успокаивает.

— Катюш, — говорю, — ты слишком любишь обобщения. Тогда спокойнее всего должны быть обитатели джунглей.

Спешившись, мы спускаемся к Изару. В этом месте река преодолевает маленький искусственный порог. Дальше течет в хлопьях пены.

— Но Катя права, — Нестор становится на один из камней у берега. — Когда случился октябрьский переворот? Когда опали листья!

Я собираюсь уточнить, как же тогда быть с 14 июля и его зеленью, но раздумываю. Лишние вопросы только портят красивые теории. Мы смеемся, и я вижу

нас в черно-белом, как на старой фотографии. Я часто вижу такие картинки. Нестор на корточках на своем камне — набирает из речки воду и плещет себе в лицо. Вода стекает с подбородка. Так и останется Нестор с мокрым блестящим лицом. Я, прислонившийся к стволу клена. И Катя, главное — Катя, из-за которой всё запомнилось. Ее лицо тоже блестит — от слез. Нос красный. Мне кажется, что это слёзы счастья, что в эту минуту все мы счастливы. А Катя вдруг кричит:

— Как страшна жизнь!

Протянув руки ко мне, на полусогнутых ногах стоя, кричит.

1979

Однажды — это было в феврале — к Глебу подошла учительница Анны Лебедь. Протянула ему листок бумаги и сказала: Анна поздравила меня с Новым годом, вот ее адрес. Можешь ей написать. Учительница не догадывалась, какую бурю она подняла в Глебовой душе. Если бы догадывалась, передала бы письмо не мешкая, не ждала бы полтора месяца. Предлагала ему написать, ха... Конечно же, он поехал. Дома сказал, что едет в деревню к Бджилке. Антонина Павловна знала о существовании Бджилки, но никогда его не видела. Она проводила внука на вокзал, где им, как положено, встретился сам Бджилка. Он спросил у Глеба: ти куди їдеш, — на что Глеб, изображая шутку, ответил: то є таємниця¹ — и поспешил с одноклассником расстаться. Бабушка, не

¹ Тайна.

понимая, что только что они попрощались с настоящим Бджилкой, не могла, естественно, догадаться, что ее внук едет к Бджилке вымышленному. А если разобраться, то даже и не к вымышленному, но к волнующей внука виолончелистке Анне Лебедь. Бабушка задумчиво смотрела, как Глеб сел в вагон и состав тронулся. Махала ему рукой, пока электричка не скрылась из виду. Доехав до ближайшей станции, внук вышел и пересел в другую электричку, которая направлялась в город Конотоп. Там можно было сесть на московскую электричку. Путь со многими пересадками был неудобен, зато дешев. Всю дорогу Глеб ехал в мрачном настроении и почти физически ощущал свою нечистоту. Внизу, под деревянным сиденьем, немилосердно жарила электропечь. Глеб быстро вспотел, и липкость его одежды воспринималась им как липкость греха. Особую боль доставляло воспоминание о машущей ему бабушке: эта картинка сопровождала его всю дорогу. Он впервые обманывал ее по-крупному. Выйдя в Конотопе, Глеб зашел в холодное здание вокзала, и влажная одежда стала почти невыносимой. Электричка на Москву отправлялась через два часа. За окном сгустился мрак. Он пытался дремать, но каждый раз, когда сон начинал приближаться, хлопала входная дверь на ржавой пружине. Дверь была перекошена и полностью не закрывалась, оттого в помещении вокзала было так холодно. Наконец Глебу удалось заснуть, и снилась ему перестрелка, выстрелы которой озвучивала хлопавшая дверь. Он чуть было не пропустил свою электричку — проснулся в последний момент. Как только вскочил в тамбур вагона, двери захлопнулись. Устроившись у окна (кроме летящего снега в нем не было видно ничего), он

мгновенно заснул. Проснулся от потока холодного воздуха и увидел, что двери в тамбур открыты, а в тамбуре — он вспомнил это только сейчас — было выбито окно. Надежды на то, что кто-то закроет двери, не было: оглядевшись, Глеб понял, что в вагоне остался он один. Положение было безвыходным, он сам должен был заняться дверями. Глеб медленно встал и, качаясь в такт стуку колес, двинулся к заклинившим дверям. Как и следовало ожидать, они не поддавались никаким усилиям — видимо, примерзли к желобам основательно. Глеб присел на скамью у дверей и теперь качался сидя — качался, качался... — уже не у дверей... уже на своем прежнем месте... потому что не вставал... и никуда не ходил... а качаться, конечно, качался. Это был особый ритм, не имевший никакого отношения к *Попутной песне*, потому что музыка Глинки писалась с мыслью о паровозе (он назывался тогда пароходом) и уж точно не о вагонах с их задумчивым ритмом — точно не о них. Как ни крути, в вагонах нет этого паровозного бодрячества. Окончательно Глеб проснулся уже на Киевском вокзале Москвы. Войдя в здание вокзала, примостился на одной из скамеек зала ожидания. До утра было еще далеко, даже до пуска транспорта далеко. А кроме того, думал Глеб, задремывая, он ведь не поедет к Анне первым метро. Он ведь не станет будить все семейство своим ранним приходом. Да и не нужно ему все семейство — только Анна и нужна. А почему он, собственно, уверен, что родители уйдут, а Анна останется? Скорее, наоборот: ей рано в школу, а музыканты — люди поздние. На минуту с Глеба слетела дрема. Но, посмотрев на часы, он понял, что времени еще остается много, даже для ранней встречи. Он снова стал за-

сыпать, и сквозь сон чувствовал, что заболевает, и успокаивал себя тем, что это ему снится. Проснулся около шести утра совершенно разбитым. Сделал попытку встать. Ноги не гнулись в суставах, скулы ломило. Снова сел. Подумал: а стоит ли в таком состоянии навещать Анну? Может, и не стоит. А может... Он представил себе, как Анна укладывает его в свою постель, дает таблетки, приносит горячее молоко с медом. Понял, что снова заснул, встал одним рывком и посмотрел на часы. Половина седьмого. Если сейчас не выехать, то Анну можно и не встретить. Как добираться до дома Анны, Глеб выяснил еще в Киеве. Вошел в метро и по кольцевой линии доехал до станции *Белорусская*. Дальше можно было проехать пару остановок на троллейбусе, но он предпочел не ждать и пошел пешком. Началась метель, но ветер, к радости Глеба, дул ему в спину. Собственно, радости-то особой не было, потому что на нее не оставалось сил: идущего наполняла тихая благодарность, что не приходится преодолевать еще и стихию. Наоборот, стихия сама подталкивала его сзади. По Ленинградскому проспекту Глеб дошел до улицы *Правды*, где проживала столь ценимая им виолончелистка. Когда он получил ее адрес, ему было немного странно, что жизнь Анны протекает теперь на улице с таким неожиданным названием, но он к нему привык еще до отъезда в Москву. Он думал не о газете *Правда* — о правде как таковой, которая у каждого своя: у Анны, у ее родителей, у него самого... Его правда сейчас состояла в том, что от Анны он больше не хотел ничего, кроме участия и тепла, главным образом душевного. Ну, и молока с медом. Проходя под аркой дома Анны, он представлял себе, как принимает горячую чашку из

ее рук. Ее подъезд находился во дворе, и дверь в него была заперта. Во дворе уже начиналась жизнь: по заснеженному газону гулял человек с собакой на поводке, а рядом на сумке сидел парень в спортивной куртке с буквой *Д*. Спортивное общество *Динамо*. Глеб не стал звонить — дождался, когда, закончив свои дела, собака направилась домой. Не дал захлопнуться двери, проскользнул за ней и ее хозяином. Поднялся на седьмой этаж. Приблизился к двери квартиры — ничего не слышно. Хотел уже сесть в лифт и спуститься, чтобы ждать Анну во дворе, как щелкнул замок. Глеб едва успел отскочить. С равнодушным видом двинулся по ступенькам вверх, как бы продолжая свой пеший путь. Который между седьмым и восьмым этажами был, конечно, лишен естественности. Глеб шел не оборачиваясь. Обратился в слух. Вышедший(ая) несколько раз нажал на кнопку лифта, но лифт был в пути. Тогда он утомленно поставил что-то на пол. Футляр с виолончелью? Глеб обернулся — да, именно футляр с виолончелью. Анна (это была она) медленно подняла глаза и замерла: ты? В объятия не бросилась, и радости в ее вопросе не было. Я, подтвердил Глеб. Она поднялась на несколько ступенек, но остановилась, не доходя до него две-три. Знаешь, я опаздываю на занятия, — она преодолела еще одну ступеньку и пристально всмотрелась в его лицо, — а что у тебя с глазами: красные, слезятся... В этих словах Глебу почудилась забота. Может быть, даже нежность. Я разболелся в дороге, сказал он почти плаксиво, у меня высокая температура. Глебу очень хотелось ее жалости: если уж не постели и чашки молока, то хотя бы теплого слова. Но он не получил ничего. Анна спустилась к своей виолончели и вы-

звала лифт. Тебе нужно срочно возвращаться в Киев (интонация любящей, но строгой матери) и там лечиться. Пригласила его в приехавший лифт, держала ногой закрывающиеся двери — не без самоотверженности. Когда они вышли во двор, динамовец отделился от своей сумки и направился к ним. Приблизившись, он поцеловал Анну в губы. Взял у нее из рук виолончель. Глеба он демонстративно не замечал. Здорово, приятель, произнес Глеб с вызовом. Тот посмотрел на Анну, она пожалала плечами. Оба не торопясь двинулись в сторону арки. Поправляйся, бросила она Глебу через плечо. Есть, беззвучно ответил он. Провожая глазами их величавое движение, со злорадством отметил, что сумку-то динамовец забыл. В тренировочных брюках, с аккуратно отвернутыми на ботинки шерстяными носками — и забыл. Такого спортивного, может быть, интереснее обхватывать ногами на манер виолончели, чем его, Глеба, но... Он даже не знал, что поставить после этого *но*. Вроде нечего было. Из арки появился динамовец и трусцой побежал к своей сумке. Вероятно, Анна его где-то там ждала. Он уже было собирался бежать обратно, но увидел улыбку Глеба и притормозил. Глеб стоял, опершись о фонарь, и тень в пол-лица превращала его улыбку в насмешку. Ты чё, примерз тут, поинтересовался динамовец. Глеб старался быть ироничным, но голос его не слушался: привет... кха... твоей бэушной подруге... Глеб хотел добавить что-то еще — короткий удар в лицо уложил его на землю. Теперь он смотрел на нового друга Анны снизу вверх, и тот казался огромным. Динамовец замахнулся на него ногой, но не ударил. Сказал: если еще раз вякнешь про нее, глаза выдавлю. Поставил ногу на Глебово лицо, и в губы лежащего впечатался

рисунок подошвы. Исчез со своей сумкой. Глеб медленно встал, подошел к сугробу и набрал свежевыпавшего снега. Потер им губы и нос — уж конечно, в крови. На вокзале мельком глянул на себя в зеркало: помимо кровавых разводов на подбородке, под правым глазом красовался свинцовый синяк. Обрат-но Глеб тоже ехал двумя электричками. Через двенадцать часов он был дома, и, увидев его, бабушка ахнула. Кое-как ополоснув внуку лицо и руки, она уложила его в постель, в которой он пролежал две с лишним недели. Его свалил тяжелейший грипп.

12.03.13, МЮНХЕН

Я на приеме у профессора Венца. Профессор — крупнейший специалист в области неврологии. Он просит меня вытянуть обе руки перед собой и внимательно на них смотрит. Просит быстро сжимать и разжимать ладони. Сгибает мне руки в локтях, особенно правую. Встав сзади, берет меня за плечи и тянет на себя. Просит сесть на кушетку, снять обувь и подвигать ступнями. Берет стул и садится напротив. Улыбается. Говорит, словно в продолжение давней беседы:

— Да, господин Яновски, у вас болезнь Паркинсона. Не расстраивайтесь. С этим живут.

Кабинет профессора Венца и сам Венц несколько раз превращаются в негатив и обратно. В моих ушах никаких больше гитар. Соло барабана.

— Мне трудно не расстраиваться, — перехожу вдруг на шепот. — Я музыкант.

Улыбка на лице профессора сменяется минутной грустью.

— Да-да, я знаю... Знаменитый музыкант. Но я вам так скажу: бывают болезни и страшнее, когда уже, простите, не до музыки. А кроме того, даже в несчастье нужно иметь счастье. У вас классический... э-э-э... симметричный *паркинсон*, мы знаем, чего от него ждать... — Я делаю движение левой рукой, и Венц кивает. — Да, ваша левая пока существенно лучше правой. В течение трех лет она ее, если можно так выразиться, догонит. Вообще же надо понимать, что это не болезнь рук или, там, ног, это болезнь мозга.

На лицо профессора возвращается улыбка. Станным образом она не оскорбляет — скорее, вселяет надежду.

— Вы говорите, что это болезнь мозга... — Не знаю, как выразить свою мысль, не обидев врача. — Но существует ведь магнитно-резонансная томография. Вам она... Я хочу сказать: вы можете поставить диагноз без нее?

Венц доброжелательно кивает. Он привык к тому, что в диагнозе сначала сомневаются. Подсказывают ему, Венцу, как проводить обследование. Это нормальная реакция.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. МРТ — да, это то, что мы обязательно сделаем. Но томография... э-э-э... способна лишь уточнить какие-то детали. На диагноз она вряд ли повлияет.

У дверей кабинета меня ждет Катя. Показываю ей жестом: идем, и мы направляемся к выходу в конце коридора. Сбегая по лестнице, я на секунду оборачиваюсь:

— Паркинсон.

Катя глухо охает, сбавляет скорость, останавливается. Нависая над перилами, смотрит на меня, за-

мершего пролетом ниже. Отражаюсь в ее глазах. Мое лицо — светлый размытый овал в полумраке лестницы. В нем нет уже ничего от лица сотен афиш. Только боль и растерянность.

— Глеба, как он мог так просто всё установить — без анализов, без томографии?

— Кать, пошли, ради бога...

Она начинает медленно спускаться.

— Я всё понимаю, он специалист, но есть ведь и здравый смысл, который мне подсказывает...

Я еще раз оборачиваюсь, на этот раз с пальцем на губах. Немецкий акцент Кати увеличивается пятикратно. На улице она бросается ко мне на грудь. На нас смотрят.

— Я что, умираю? Умираю? Что ты устраиваешь?

Ее руки смыкаются вокруг моей шеи. Если будет совсем плохо — она не даст мне уйти на тот свет так просто. Да и речи об этом вроде бы нет. Сказал же Венц, что есть болезни куда страшнее.

— Знаешь, — шепчу ей в ухо, — пойдём куда-нибудь выпьем.

Катя кивает. Спрашивает, не захватить ли по дороге за Барбарой — Барбара тоже ждет результатов визита к врачу. Нет, кручу головой, не сегодня. Барбаре можно просто позвонить. Хочу побыть с тобой наедине.

Мы берем такси и едем в район Карлсплац-Штахус. В городе начинается час пик, машина едет медленно. Я опускаю стекло. В салон автомобиля проникает теплый воздух. Показываю Кате на джип с петербургскими номерами: на задней двери наклеены георгиевская ленточка и надпись «*На Берлин!*». Катя улыбается.

Находим симпатичный ресторанчик рядом с Мариенплац и садимся на веранде. Официант прино-

сит пледы, хотя это, в общем, лишнее. Заказываем мороженое. Катя — вино, я — коньяк. Официант зажигает на столике свечу, но Катя просит ее убрать. Мне смешно. Глядя на меня, официант сдержанно улыбается. Солнце пробивается сквозь клейкие еще листья каштанов, на скатерти — блики.

Из-за соседнего столика встает женщина и, извинившись, просит у меня автограф. Два служителя выносят на веранду арфу. Не торопясь выходит арфистка — черное платье, голые плечи, боа. Полная. Ее как арфистку это только украшает. По дороге к арфе делает крюк и, подойдя к нашему столику, кланяется. Отвечаю поклоном, окружающие аплодируют. Арфистка садится на стул и начинает играть.

— Мы всё переживем вместе, — Катя кладет свою ладонь поверх моей. — Всё.

Осторожно освобождаюсь от ее ладони.

— Помнишь русский ресторан в Лондоне? Мое сумасшествие. Я тогда не ночевал дома. Я хочу, чтобы ты знала...

— Не продолжай. Я хочу об этом забыть.

Я тоже. Молча целую Катины пальцы.

1979

Глеб выздоравливал медленно. Иногда Антонине Павловне начинало казаться, что он не хочет выздоравливать. На деле же это было не так. Не совсем так. Глебу не хотелось вставать. Он лежал, накрывшись одеялом с головой, оставив лишь маленькую дырочку для носа. После завтрака, который ему подавали в постель, снова зарывался в одеяло и усили-

ем воли нагонял на себя сон. Да, Глеб не хотел вставать, но прежде всего он не хотел просыпаться. Так много и бестолково он не спал еще никогда. Глеб стал путать время суток, а главное — сны. Не досмотренные прежде сны появлялись в новых снах как их составная часть. Сны проваливались один в другой и странно переплетались, напоминая в сплетении своем драконов на оконных занавесках. Эта связь снов с драконами окрепла настолько, что при одном взгляде на занавески откуда-то из-под потолка слетали Глебовы сны. Когда рептилии приходили в движение, один из снов подхватывал больного на руки и баюкал его в такт колебанию занавесок. О том, что Глеб бодрствует, с уверенностью можно было сказать только тогда, когда он ел. Жуя приготовленные Антониной Павловной котлеты на пару, с тоской думал о дне, когда ему придется появиться в обеих школах. Впервые за все годы учебы Глебу не хотелось идти ни в одну из них. Когда спать стало уже невозможно, он обратился к чтению. Оказалось, что книги, правильно подобранные, ограждали от действительности не хуже сна. Начал с *Робинзона Крузо*, прочитав которого, тут же перечитал еще дважды. Перечитывал, правда, уже с того места, где герой оказывается на острове. От этой книги естественным был переход к *Таинственному острову*, а далее — к *20 000 лье под водой*, которые также были перечитаны. Стараясь ночью заснуть (теперь это удавалось с большим трудом), представлял себя на необитаемом острове. Или плывущим в подводной лодке. Во всех случаях от окружающего мира Глеба отделяла толща воды, и он чувствовал себя относительно спокойно. Но, даже находясь в своем безопасном месте, больной с тоской думал о том, как

утром по будням вновь будет слушать висящее на стене радио. Всей душой его ненавидя, Глеб в то же время испытывал к нему жалость: старалось ведь, звучало без умолку. Хрипело ли старым большевиком, пицало ли юным пионером — делало что могло, чтобы помочь ребенку проснуться, и встать-таки, и начать собираться в школу. Особенным воздействием обладали детские хоры и звонкие, как алюминиевая посуда, голоса их солистов: выслушав одну-две хоровые песни, снова заснуть было уже невозможно. Выходные Глеб, еще толком не проснувшись, узнавал по молчанию радиоточки, и это были дни тихого счастья. Болезнь стала для Глеба своего рода выходными. Которые в конце концов закончились. И вновь заработало радио, и взялись за старое большевики, пионеры и хористы, плюс, конечно, физзарядка под фортепиано, изнурительные народные песни на всех языках народов СССР, плюс еще кое-что, но главное — эти самые песни, исполнявшиеся опять-таки хорами, от которых Глеба натурально тошнило. Спустя годы, после триумфального выступления с народными песнями, Глеба попросили поделиться секретами мастерства. Спросили, что нужно делать для того, чтобы так тонко понимать, а главное, исполнять эту музыку. Необходимо, ответил, подумав, Глеб, год за годом слушать ее рано утром, перед школой. Желательно по радио и в хоровом исполнении. Секрет мастерства состоял, по Глебу, в том, что сила ненависти к радиоисполнению рождала беспримерное желание сыграть это наконец по-другому. Сказанное не означает, что будущий виртуоз с детства не любил хорового пения. Слушая как-то один из хоров на концерте, мальчик был удивлен: хор звучал очень и очень неплохо.

Пропущенный же через радиоточку в семь пятнадцать утра, вокальный коллектив повергал в глубочайшую депрессию. Впрочем, при подобной постановке вопроса депрессия, и в самом деле охватившая Глеба, всецело списывалась бы на хоровое пение по утрам, а это было бы несправедливо. Причина развинченного состояния Глеба лежала гораздо глубже. Его не оставляло воспоминание о трагедии на пляже, так что можно было бы подумать, что причина — в утонувшей Арине. А, может быть, и в неутонувшей Анне. Это было близко к истине, но не было еще самой истиной. Произшедшее летом открыло для Глеба смерть. Нет, не то... Смерть как то, что с кем-то другим происходит, была открыта им давно, еще на похоронах Евдокии. Смерть как личная неудача умершего. После гибели Арины он заподозрил, что смерть касается и его. Чем больше он об этом думал, тем больше в этом убеждался. Хуже того: Глеб осознал, что смерть не просто прекращала прекрасную жизнь: она делала бессмысленным уже прожитое и достигнутое. Бес-смыс-лен-ным: целых три с, плюс к тому два е, два ы, два н и два м — даже такое богатое слово в конечном счете уходило в небытие. Исчезало за отсутствием произносящего, открывало перед Глебом бездонную пропасть и лишало радости жизни. Это открытие долгое время не давало ему выздороветь. Да и выздоровел ли он? Антонине Павловне, прекрасно знавшей внука, нынешнее его бодрствование казалось формой сна. Боясь вызвать у него раздражение, бабушка не расспрашивала его ни о чем, хотя видела, что он потерял интерес к учебе и даже к музыке. Вставал по утрам с трудом, жаловался на недомогание и говорил, что не может идти на занятия. Сердобольная Антонина

Павловна оставляла внука дома, и он тут же засыпал. Проснувшись после полудня, читал или шел на улицу. Когда снег в основном сошел, стал ездить на велосипеде. На следующий день предъявлял классной руководительнице записку от бабушки, в которой объяснялись причины его отсутствия. Классная качала головой, но записки долгое время принимала. Когда же частота их появления превысила разумные пределы, она вызвала Антонину Павловну в школу. Проходя мимо застекленных дверей учительской, Глеб видел, как классная руководительница беседовала с его бабушкой. Перечисляя, очевидно, Глебовы проступки, учительница загибала пальцы, а бабушка стояла перед ней, опустив голову, — двоечница двоечницей. Глеб почувствовал, как откуда-то из груди стало подниматься бешенство, как разливалось по лицу красной краской. С одной стороны, беспомощная и жалкая фигура бабушки, с другой — эти картинно загибаемые пальцы. Глеб ворвался в учительскую и, схватив руку с загнутыми пальцами, принялся с силой их разгибать. Но не тут-то было: кулак педработника оказался железным. Женщина и сама не могла бы объяснить, зачем так крепко его сжимала. Возможно, ей казалось, что каждый разогнутый палец перестал бы засчитываться как аргумент, а может статься, это был чистый рефлекс. Как бы то ни было, ни один из побелевших пальцев разогнут не был. Через несколько мгновений пришедшая в себя Антонина Павловна уже колотила внука по спине. Не говоря ни слова, Глеб выбежал из учительской, съехал по перилам на первый этаж и пулей вылетел из школы. В конце квартала остановился: идти было некуда. Подумав, направился домой. Бабушки еще не было. Чтобы не встретиться

с ней, Глеб вывел во двор велосипед через черный ход. Проехал, стоя на педали, спешился и, поднявшись (велосипед в руках) по зыбкой лестнице, оказался в соседнем дворе. Красиво, через *ласточку*, оседлал велосипед, выехал на улицу Пирогова. Вспомнив, что Пирогов лежит где-то забальзамированный — кажется, в Виннице, — позавидовал ему. Звякнуло заднее крыло, велосипед съехал с тротуара на проезжую часть. Глеб ощутил ритм движения, и стало легче. От движения всегда легче. Посреди отчаяния, которое обступало его со всех сторон, велосипедная поездка оказалась маленьким и совершенно неожиданным счастьем. Ничего вроде бы особенного в этой поездке не было, но Глебу она запомнилась. Может быть, оттого, что не дала утонуть в той пучине, которая его уже засасывала. Руки стыли на руле, он надел перчатки. И все-таки ветер был уже весенним, не по температуре — по запаху. Сзади ему посигналил троллейбус, протяжно и зло. Глеб прижался к бортику, но троллейбус проехал впритирку к нему. Очевидно, пугал... Откуда эта ненависть? Глеб подумал, что погибнуть сейчас под колесами троллейбуса было бы в каком-то смысле выходом. Для него. А для бабушки? Что будет с ее жизнью? Что будет с жизнью матери и их поездкой в Брисбен? Она ведь не сможет уехать, оставив здесь могилу сына. Или (еще печальнее): в Брисбен мать привозит цинковый гроб, который предает земле на городском кладбище. Навещая его могилу каждый день, испытывает невыносимую боль оттого, что в городе всеобщего счастья ее сын оказался лишь по-смертно. Но к этой могиле приходят и коренные брисбенцы. Постепенно там образуется мемориал, посвященный тем, кто так и не нашел своего счастья.

Глеб почувствовал, как из угла глаза выкатилась слеза и застыла на веке. Теплая. Дрожала, как прыгун в воду — на самом краешке вышки. Помедлив, бесстрашно бросилась вниз, разбилась об асфальт. В тот день он пересек город с востока на запад, переехал на левый берег Днепра и некоторое время сидел на месте гибели Арины. Весенний пляж был совершенно пустым. Место выглядело еще более безнадежным, чем позапрошлым летом. Домой Глеб приехал глубокой ночью, и бабушка ему ничего не сказала. Обняла. Разогрела ужин — любимую мальчиком жареную картошку. Она была счастлива, поскольку боялась, что больше не увидит внука, и он это знал. С того дня в школу он ходил без пропусков, но это были странные посещения. Большого интереса не проявлял ни к одному предмету, кроме, пожалуй, биологии. Впрочем, и этот интерес был довольно необычным. Глеба интересовало время разложения разного рода организмов: людей, птиц, ящериц, улиток. Учительница, не обладавшая полнотой информации, безуспешно добивалась от мальчика, зачем учащемуся такие сведения. Положив ему руку на шею, она наклонялась к Глебу на манер исповедующего священника, а он в это время думал о том, что ее пухлые щеки падут, должно быть, первой жертвой разложения. Они ведь не выдержат и недели. В те дни, когда посещение Глебом уроков постепенно стало налаживаться, пришло известие из музыкальной школы: воспользовавшись тем, что Глеб пропускал занятия, директор его отчислил. Вера Михайловна, помнившая, как Глеб надерзил директору, сочла исключение из школы расправой. Вечером она пришла к Глебу домой и объявила, что завтра утром хотела бы вместе с бабушкой отправить

ся к директору и просить о восстановлении Глеба. Вера Михайловна считала, что директор, в сущности, человек отходчивый, что в школе недобор учащихся, так что, если извиниться... Не нужно, остановил ее Глеб. Что — не нужно, переспросила учительница, извиняться? Глеба разом покинули все слова. Восстанавливаться... Мне это не нужно. Вера Михайловна с удивлением посмотрела на Глеба и медленно, почти по слогам, произнесла: почему тебе не нужно восстанавливаться? Мальчик втянул голову в плечи. Потому что я умру. Наступило молчание. Очень тихо продолжало работать радио — было странно, что и оно не замолчало. Вера Михайловна развела руками. Но ведь мы тоже умрем — и я, и твоя бабушка (Антонина Павловна кивнула), и, говоря между нами, даже директор школы. И ничего, дел не отменяем. Глеб упорно смотрел в темную точку на обоях. Сказал: зачем же нужны дела, если все умрут? Бабушка за его спиной сделала учительнице успокоительный жест. Та показала глазами, что поняла. Погладив Глеба по плечу, с преувеличенной осторожностью, на цыпочках, вышла из комнаты. Была уверена, что Глеб с бабушкой придут на следующий день к директору. Но они не пришли — ни через день, ни позже. Глеб музыкальную школу бросил.

20.03.13, МЮНХЕН

Утро, звонок в дверь. Геральдина идет открывать. Очевидно, она сталкивается с кем-то неожиданным или даже нежелательным, потому что в течение пары минут идут тихие переговоры. В конце концов при-

шедший теряет терпение. Он входит в дом и под протестующие возгласы Геральдины поднимается в столовую.

В дверях — моя лондонская знакомая Ганна. Вид у нее походный: за плечами — большой рюкзак, закатанные почти до колен джинсы, кроссовки. Вышиванка. Могла бы сочетаться и с джинсами, и с кроссовками, но у Ганны не сочетается.

— Я вагітна, — говорит Ганна.

— Что значит вагітна? — переспрашивает Катя, хотя значение слова ей, кажется, уже понятно.

Стоящая в дверях Геральдина наблюдает, как сквозняк шевелит распущенные волосы Ганны. Они распространяются по всему пространству комнаты — а солнце их подсвечивает. И вышиванку подсвечивает.

— Это значит, что она беременна.

Говорю без выражения, чтобы не закричать.

— *Sie ist schwanger...* — зачем-то переводит для Геральдины Катя.

— Від нього, — кивает на меня Ганна.

Катя замирает. На лице Геральдины — подчеркнутое непонимание. Кивок Ганны красноречив, но ей трудно представить, что герр Яновски... В глазах Геральдины мелькает что-то не вполне пристойное. Нет, герр Яновски никогда на других женщин не заглядывался, она не может в это поверить. Геральдина бросает взгляд на Ганну. То есть может, конечно, и поверить, но — с трудом.

Катя подходит к Ганне и приподнимает рюкзак за боковые ремни, давая гостье возможность освободить руки. Неловко обнимает Ганну, усаживает ее в кресло. Ожидавшая скандала Ганна продолжает держаться скованно, поскольку всё еще может состояться.

— Ганна, — глаза Кати светятся, — дорогая Ганна...

— Г'анна, — энергично поправляет ее Ганна.

— Что-то среднее между z и x , — поясняю Кате.

— Г'анна, — с готовностью повторяет Катя. — Какое счастье, что вы с маленьким приехали к нам.

Глядя в потолок, Ганна поводит плечом. А куда ей, собственно, было еще ехать?

— Я имею в виду, — Катя чертит в воздухе геометрические фигуры, — что вы не сделали ничего непоправимого...

Поджатые губы Ганны дают понять, что так вопрос даже не ставился. Геральдина подает завтрак. Ганна почти ни к чему не притрагивается.

После завтрака Катя предлагает пойти в Английский сад. Ей кажется, что там будет чуть легче, чем дома. На главной аллее мы оказываемся в центре мюнхенской велосипедной жизни. Обычная наша прогулка, всё ровно так же, как происходило сотни и сотни раз, но — в присутствии Ганны. Велосипеды едут нам навстречу и обгоняют сзади, выезжают из-за деревьев и за деревьями же, в отличие от Ганны, исчезают. Тормозят, сигналият, стучат велоаптечками в кожаных сумках и совершенно не дают разговаривать. Чему все, в общем-то, рады. Некоторые велосипедисты, спешившись, просят разрешения сделать со мной селфи.

Когда мы выходим на боковую дорожку, наступает тишина, и можно говорить. *Нужно* говорить. Дорожка узкая, в одну шеренгу гуляющим идти не получается, так что я пропускаю дам вперед. Чувствую себя двоежцем. Это слово прилипает к языку и плавит его. Да, Катя — само благородство и просчитывается на пальцах одной руки. Предложит

Ганне остаться у нас — непонятно только, в качестве кого. Младшей жены?

Для Кати все дело здесь — в ребенке. Раз он с Ганной зачат, значит, Ганна и жена. А с кем не зачат — значит... Беда. Замедляю шаг и отстаю от женщин. Катя оборачивается, смотрит на меня беспомощно, но я внимательно слежу за белкой на стволе сосны. С тем же вниманием белка следит за мной. Она знает, что неприятности в жизни происходят преимущественно из-за мужчин.

Я незаметно увеличиваю дистанцию, и ни одна из женщин не отваживается меня позвать. Долетают обрывки разговора, который идет по-русски: Катя украинского не знает. Ганна, кажется, тоже. В Лондоне мне это как-то не бросилось в глаза, но сейчас незнание ею *рідної мови* все более очевидно.

Ее русский, мягко говоря, тоже небезупречен — особенно то фрикативное *z*, которому она уже успела научить Катю. Русский, перенявший многое из украинской фонетики. От этого акцента избавиться чрезвычайно сложно, тут прочитать параграф учебника недостаточно — это вам не склонение существительного *путь*. Слыша речь Ганны, хочется отойти от нее еще дальше. Просто Элиза Дулиттл какая-то. Только вот я — не профессор Хиггинс.

Говорит в основном Катя. Долетают слова *наш долг, на третьем этаже*. Катя собирается поселить Ганну на третьем этаже. Они уже идут рука об руку: Катя в чем-то воздушно-черном и Ганна в своей вышиванке. Вернувшись домой, готовятся к обеду. Катя приносит Ганне шелковый домашний халат:

— Пусть все будет по-домашнему, потому что вы дома.

Ганна переодевается. Смотрит на меня вопросительно. Говорю:

— Тебе очень идет этот халат.

— Точно?

Конечно. Она все воспринимает всерьез. Темно-русые волосы, идеальный почти овал лица — разве что скулы выступают чуть больше, чем у украинок. Но. Именно это делает ее очаровательной. Если не понимать ее речи, можно в нее по-настоящему влюбиться — замуж, например, взять. А если понимать, то, может быть, совсем даже наоборот — расстаться, скажем.

Катя, за ужином:

— Будет правильно, если Глеб сегодня пойдет спать к Ганне.

Произносит это с веселым лицом, как нечто само собой разумеющееся. Катя со всем своим благородством не хочет стоять на пути моей с Ганной любви. Которой (любви), в сущности, никогда и не было. От Кати несет алкоголем. Ганна не очень понимает, что происходит, и молчит. Я — понимаю, но тоже молчу.

Когда приходит время ложиться, Катя берет меня за руку (мое легкое сопротивление сломлено) и отводит в комнату Ганны. Выходит почему-то на цыпочках. Я привлекаю Ганну к себе, целую в лоб и желаю спокойной ночи. Спускаюсь в холл. Ложусь на диван, укрываюсь с головой пледом. Думаю о ребенке, которого ждет Ганна. От меня ли? Мне не хватает воздуха, я стягиваю плед с лица. А если даже не от меня... Раз Ганна утверждает, что от меня, значит, больше о ребенке заботиться некому. Получается, что в любом случае от меня.

Среди ночи просыпаюсь от скрипа ступеней. По лестнице спускается Катя. Жестом приглашает в нашу спальню.

О том, что Глеб бросил музыкальную школу, узнал Федор. С запозданием, через несколько месяцев, но — узнал. И расстроился. Это стало неожиданностью для всех, кто помнил, как сдержанно он отнесся к решению сына заниматься музыкой. Впервые за несколько лет Федор попросил Ирину о встрече. Услышав о том, что Глеб бросил музыку ввиду ожидающей каждого смерти, Федор пришел в волнение и заявил, что это поступок настоящего музыканта. Что отличительная черта музыканта — это не беглость пальцев, а постоянная память о смерти, которая должна вселять не ужас, но оптимизм. Призвана не парализовать, но мобилизовать. Иными¹ словами, справжня² творчість³ повинна⁴ балансувати між життям і смертю, подвел итог Федор. Вона має⁵ бачити⁶ трохи⁷ за обрієм⁸. Но это было лишь начало разговора. Сам разговор развернулся позже — только не с Федором, а с его отцом Мефодием, который из Каменца-Подольского приехал в гости к сыну. Мефодий был высокого роста, широкоплеч и сед, что придавало ему сходство с Тургеневым. Сходство увеличивалось еще и потому, что, в отличие от Федора, время от времени дед переходил на русский язык. И пусть язык его не был тургеневским, готов-

¹ Иными.

² Настоящее.

³ Творчество.

⁴ Должно.

⁵ Должна.

⁶ Видеть.

⁷ Немного.

⁸ (За) горизонтом.

ность говорить на нем была гораздо важнее. На вопрос бабушки о том, каким ему показался Мефодий при первой встрече, Глеб не раздумывая ответил: доброжелательным. Определение было на редкость точным. Мефодий желал добра каждым своим словом. Каждой, можно сказать, морщиной, которых на его лице было много. Мелкие располагались вокруг глаз наброшенной сеткой, но были и крупные, прорисованные от переносицы к углам губ, — глубокие, как рвы. Да, Федор хотел познакомить мальчика с дедом, но сам не ожидал, что это знакомство даст начало многолетней дружбе. Глеб не отпускал Мефодия ни на минуту. Трудно сказать, что это было — тоска ли по мужской компании, которой Глеб был лишен, качества ли самого деда. Вероятнее, что дело было в деде, ведь не толкала же Глеба жизнь без отца к самому отцу. Да, иногда Глебу хотелось произвести на отца впечатление, но стремления к постоянному общению не было. А с дедом — было. Дед оказался мягким и покладистым. Неожиданным образом во взаимоотношениях этих двух людей дедом оказывался Глеб. Он водил Мефодия по любимым улицам и рассказывал ему о них. Дед был благодарным слушателем. Внимая Глебу, кивал, но в конце рассказа порой задавал вопрос-другой, из которых следовало, что он знает о предмете намного больше Глеба. Так ты всё знаешь, протяжно удивлялся Глеб. Ну щоти, — дед смешно хлопал глазами и переходил на украинский, — нічого я не знаю. Нет, знаешь! — капризничал Глеб. Как-то раз дед не стал оправдываться и сказал: чего я точно не знаю, так это того, почему ты бросил музыкальную школу. От неожиданности Глеб замолчал. А потом повторил то, что однажды уже сказал: потому что я умру. Произне-

сенные в первый раз, эти слова были горячи, как дыхание, а теперь вдруг показались картонными. Но Мефодию не показались. К большому удивлению Глеба, дед счел такой ход мысли естественным и даже похвалил мальчика за философское отношение к жизни. Но Глебовых слов не забыл. Они всплыли несколько дней спустя, когда дед с внуком сидели у фонтана в Золотоворотском садике. Якщо¹ вмирати, задумчиво произнес Мефодий, то чого й ходити до тієї музичної школи? Глеб почувствовал в вопросе какие-то новые нотки и потому кивнул осторожно. Дед встал со скамейки и, приблизившись к фонтану, подставил под струю свои большие ладони. Когда они наполнились, умыл лицо. Повернулся к Глебу. А якщо не вмирати? Как это, спросил Глеб. Лицо Мефодия приняло загадочное выражение: есть одна идея... Глеб посмотрел на деда и улыбнулся. Идея... Вот какой, стало быть, прогрессивный у него дед. Прогрессивный и некоторым образом даже светский: Мефодий взмахнул рукой, и перед ними остановилось такси. Встань передо мной, как лист перед травой. Красиво. *Волга ГАЗ-24*, на которой Глеб еще никогда не ездил. Он ездил лишь на *Волге ГАЗ-21*, о которой Федор частенько говорил, что это уже не танк, но еще не машина. Такси, в которое Глеба поместил волшебник-дед, обладало тихим мотором и мягким ходом. Дед и в самом деле напоминал сказочного персонажа, потому что взмахи его рук рождали прежде невиданное. Как из рукава Василисы Премудрой, возникла небольшая церковь у Голосеевского леса, а в ней отец Петр — забранные в пучок светло-русые волосы, аккуратная

¹ Если.

бородка, очки. Церковь была в полной мере сказочной, а отец Петр — скорее все-таки нет. От него пахло туалетной водой, и было очевидно, что, в отличие от фольклорных персонажей, отец Петр за собой следил. Когда они с Мефодием обнялись, туалетной водой стало пахнуть и от Мефодия. Наблюдая за этими непохожими людьми, Глеб понял, что их связывает если не дружба, то прочное давнее знакомство. Мефодий сообщил отцу Петру, что его внук открыл для себя смерть, и это, понятное дело, заставило его бросить музыкальную школу. Отец Петр также нашел поступок естественным, поскольку для чего же и в самом деле нужна музыкальная школа, если все кончается известно чем. Получив одобрение отца Петра, Мефодий заметил, что, с другой стороны, вроде как и жаль, что мальчик бросил школу. Да, пожалуй, что жаль, согласился отец Петр, ведь посредством музыки школа связана с вечностью. Музыка — это вечность, спросил Глеб. Отец Петр покачал головой: музыка — это не вечность. Но она напоминает о вечности — глубокая музыка. Что же такое вечность, спросил Глеб. Это отсутствие времени, предположил Мефодий, а значит, отсутствие смерти. В конечном счете это Бог, сказал отец Петр, — Тот, Кого ты ищешь. Священник дал Глебу Евангелие, катехизис и дореволюционный учебник Закона Божьего. Прощаясь, попросил его выучить Символ веры, который в учебнике был заложен закладкой из бархатной бумаги. Вернувшись домой, Глеб положил перед собой три книги и читал их попеременно. Одну из них (Закон Божий) он взял на следующий день в школу. Сидя на уроке обществоведения, читал ее под партой. Ходившая вдоль рядов учительница неслышно подкра-

лась сзади и аккуратно взяла книгу с колен Глеба. Под всеобщий смех она прочитала название, и первым ее чувством было удивление. Не то она ожидала найти на коленях под партой. Раскрыла книгу на закладке, попробовала читать вслух. Сбилась: очевидно, для такого чтения знаний по обществоведению было недостаточно. Закрыла книгу. Так, может, мы и в церковь ходим, спросила она Глеба. Первое лицо множественного числа, мелькнуло у Глеба, какое жлобство. А он бы с ней не то что в церковь, с ней он не пошел бы даже... Приблизившись к нему вплотную, поинтересовалась: и молимся, и поклоны бьем? Глеб попытался выхватить книгу из рук учительницы, но она ловко увернулась. Бьем поклоны, переспросила. Не ваше дело, огрызнулся Глеб. Вот здесь ты, Яновский, ошибаешься — мое дело и дело комсомольской организации, если, конечно, ты комсомолец. Глеб действительно состоял в комсомольской организации. Первоначально вступать в нее он не собирался, но такой шаг Федор назвал плохой приметой. По его наблюдениям, те, кто не вступали в комсомол, не поступали потом ни в университет, ни в консерваторию. На перемене специалистка по обществоведению повела члена ВЛКСМ к директорисе, пожилой добродушной даме. Положив ей на стол Закон Божий, учительница сказала: вот что читают комсомольцы нашей школы. Комсомольцы-богомольцы. Пролистав книгу, директориса поблагодарила учительницу за бдительность, и эта благодарность, как показалось Глебу, была не лишена иронии. Об этом говорило и *можете идти*, небрежно брошенное директорисой обществоведке. В Бога пожилая дама не верила, но и доносчиков не любила. Она решила не осложнять Глебу будущее, ограничив-

шись разъяснительной беседой. Директриса обратила внимание Глеба на то, что Гагарин летал в космос, но Бога не видел. Из этого, как представлялось женщине, следовал бесспорный вывод, что Бога нет. За Законом Божьим попросила прийти кого-то из семьи Яновских — и это был смягченный вызов в школу. Мальчик пару дней думал, а потом рассудил, что самым верным в данном случае было бы обратиться к деду. Ведь и отобранная книга, в конечном счете, пришла через него. Когда Глеб рассказал о происшествии Мефодию, тот не проявил никакого беспокойства. Спросил лишь, успел ли Глеб выучить Символ веры. Не успел. Тоже хорошо (дед улыбнулся), может быть, теперь его выучит директриса. Попросил у внука листок бумаги и каллиграфическим почерком написал на нем Символ веры. Объяснил незнакомые слова и спел его от начала до конца. Протянул Глебу: як вивчиш — скажеш мені. Глеб выучил через час. Удивленному деду пояснил: музыка. Музыка слов. Фразы Символа веры он запоминал как музыкальные. Когда внук прочитал всё без единого сбоя, Мефодий снова взмахнул рукой, и они оказались у отца Петра. У дверей храма он встретил их восклицанием: се грядет рождающийся для вечности! Благословил вошедших и немедленно приступил к крещению. Был солнечный день, и брызги льющейся на крещаемого воды сверкали в лучах как драгоценные камни. Висели в воздухе довольно долгое время. Крестив раба Божьего Глеба, отец Петр произнес: именем Господа нашего Иисуса Христа освобождаю тебя от страха смертного и советую вернуться к текущим делам — например, к обучению в музыкальной школе. Работай, друг мой, во славу Божию! Помня о том, что впереди вечность,

не пренебрегай и временем, ибо добиться чего-то можно лишь во времени. Родители просили в церковной книге тебя не регистрировать во избежание проблем с богоборческой властью — так ведь я и не регистрирую. У Господа же, знай, ты зарегистрирован, а это самое главное. В сложные минуты опирайся на меня и на деда твоего Мефодия. При этих словах новокрещеный вспомнил, что Мефодию предстоит встреча с директрисой, и сердце его сжалось. Волновался он, однако, напрасно. Старший в роде Яновских воспринял поручение со всей ответственностью и на следующий же день отправился в школу. Седины Мефодия произвели на директрису самое благоприятное впечатление, и разговор с ним она начала с того, что казалось ей неопровержимым аргументом. Вернув Глебову деду отобранную книгу, она несколько театрально взяла его под локоть и подвела к окну. Показав на небо, сказала: Юрій Гагарін літав у космос, але¹ Бога не бачив — погодьтеся!² Мефодий вежливо склонил голову: справді³, Юрій Гагарін Бога не бачив. Не отрываясь от небес в окне, старик широко улыбнулся. Але Бог його бачив. І благословив.

27.03.13, МЮНХЕН

Хорошо, когда неприятности начинаются утром: на то, чтобы справиться с ними, имеется целый день.

Звонок. Геральдина открывает. В дверях — полная женщина в спортивном костюме. В каждой ее

¹ Но.

² Согласитесь.

³ Действительно.

руке по чемодану, на спине рюкзак. Показав на себя, произносит:

— Людмила.

Еще не переступив порог, Людмила объясняет Геральдине значение своего имени. Она (указывает на себя) людям мила. Движение рукой от плеча, обозначающее людей. Столкнувшись с непониманием, Людмила сигнализирует иностранке: это слишком сложно. У нас своя история, свои имена. Широкая улыбка, коллекция золотых зубов. Геральдина от неожиданности пятится.

Людмила замечает меня.

— А я мама Ани с города Мелитополя. — Чмокает в щеку. — Здрасьте.

— Здрасьте. Ганна сейчас спустится.

Людмила смеется.

— Та какая ж она Ганна? Никто ее так никогда не называл!

Запахивая на ходу халат, появляется Ганна.

— Анька, доця, — кричит Людмила, — с какого перепуга ты стала Ганной? От анекдот! Ну не дочка, а цирк на проволоке.

На лице Ганны нет радости.

— Мама, ну чего ты, спрашивается, приехала? Я тебе адрес для этого давала? Еще с теми баулами — в них поместится весь Мелитополь.

Мрачнеет и Людмила.

— Засунь себе свой язык знаешь куда? Хабалкой была, хабалкой и осталась.

— Зато ты профэссор.

Людмила что-то обиженно бормочет, но молнии уже отсверкали. Она действительно не профессор, и с этим нужно смириться. Злости больше нет. Людмила отходчива. Посмотрев внимательно друг на дру-

га, мать и дочь начинают улыбаться. Через минуту они обнимаются. Ганна соглашается быть Аней.

Обед Геральдина накрывает на лужайке перед домом. Перечисляет Кате блюда: греческий салат, суп-пюре из брокколи, форель с пюре. Мозельское вино 2009 года. Мороженое. Кофе. Людмила оглядывает растущую по периметру лужайки хвойную экзотику. Спрашивает:

— А де яблони, груши, сливы?

— Нема, — отвечаю.

Все смеются. Людмила хлопает себя по лбу и бросается в дом. Появляется с двухлитровой бутылью и чем-то, упакованным в фольгу. Выясняется, самогон и сало.

— Мама, ну ты, блин, чего... — Аня краснеет. — Кто это будет кушать?

— Здра-а-авствуйте! Еси даже никто не будет — я буду!

— Я тоже буду, — говорю.

— Отлично, зятек!

Аня смотрит на Катю, но та сохраняет невозмутимость. Людмила разворачивает фольгу и режет сало тонкими ломтиками. Геральдина с интересом следит за происходящим. Заметив это, Людмила двумя пальцами берет ломтик сала и подносит ко рту Геральдины. Та закатывает глаза и хихикает. Людмила (крупных размеров дрессировщица) трясет салом у ее рта. Маленькая собачка Геральдина осторожно берет ломтик губами. Слегка постанывает как бы от удовольствия.

Видя такой успех, Людмила наливает ей полстакана самогона. Геральдина со страхом следит за мутным протуберанцем в бутылки. Элегантным движением берет стакан, подносит на манер соме-

лье к носу и втягивает воздух. На лице возникает выражение ужаса. *Найн, данке*. Не говоря ни слова, Людмила берет у Геральдины стакан и выпивает одним глотком. С шумом нюхает кусочек сала, едва не втянув его ноздрями. Потом съедает. Наливает самогона мне. Я повторяю проделанное Людмилой.

— Выпьешь? — спрашивает Людмила у Кати.

Катя кивает. Она пьет самогон глотками, смакуя. Морщится от сивушного духа, но пьет. Людмиле хочется подсказать ей, как именно следует пить самогон, но она помалкивает. Все еще не вполне понимает характер своего с Катей родства. После обеда Катя, я и Аня (именно в таком порядке) садимся на скамейку-качели и медленно качаемся. Людмила, сопровождаемая Геральдиной, идет отдыхать, ее тоже заметно покачивает. На пороге останавливается и, сверкнув золотыми зубами, шлет всем воздушный поцелуй.

— Мама, конечно, придурковатая, но добрая, — говорит Аня.

Геральдина возвращается. Наливает в бокалы белое вино и подает их сидящим. Взяв бокал из Аниных рук, Катя возвращает его на поднос. Молча целует Аню в висок и приносит ей стакан апельсинового сока. Аня пожимает плечами, тоже молча. Слышен лишь ритмичный скрип качелей. В этом тройственном качании есть что-то опереточное. Катин беспомощный взгляд как укол отчаяния. Встаю и отвожу глаза. Сон-оперетта, важно лишь проснуться. Я уже вижу, как Катя трогательно заботится о ребенке Ани. Принадлежащем нам троим ребенку. Проснуться или умереть.

— Гутен морген, зятек! И хэндэ хох!

В окне второго этажа появляется Людмила. В ночной цветастой сорочке — над подоконником, как над ширмой кукольника. Приветливо машет. Под сорочкой величаво колыхается ее грудь.

— Щезни! — командует Аня.

Людмила выбрасывает руку в зиге:

— Гитлер капут!

Исчезает. Спит до ужина.

Вечером, когда все уже готовятся ко сну, вхожу в кабинет и по привычке включаю компьютер. Следует принять какое-то решение. Смотрю на экран, будто там может ждать ответ. А я даже не сформулировал вопрос. В поисковик вбиваю *Паркинсон*. «Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее неврологическое заболевание». Так... «В головном мозге гибнут нейроны, вырабатывающие дофамин». Паркинсон — боль, и Аня — боль. От соединения двух болей не становится легче.

Откидываюсь на спинку стула. До сих пор не позволял себе прочитать ни строки о Паркинсоне. И ничего не спрашивал у врача. А тот и не пытался ничего мне говорить. «Дофамин. Передает команды головного мозга мышцам. Когда он перестает вырабатываться, мышцы...»

Из коридора доносится тихая песня Людмилы. Ложусь головой на клавиатуру, и экран в бешеном ритме пролистывает развитие болезни Паркинсона — симптоматику, осложнения, прогноз продолжительности жизни. Эту информацию я считываю затылком.

Мобильник исполняет *Марш авиаторов*. Поднимаю голову: на дисплее высвечивается *Мама*. Нет, не сейчас. Она чувствует меня и сразу обо всем догадается. Всё поймет на слове *Привет*. Зачем ее рас-

страивать? Телефон вибрирует, обнаруживая полное отсутствие дофамина. Коридор оглашают тяжелые шаги, Командор говорит голосом Людмилы:

— Кому-то звóнят!

Это можно бы записать в качестве рингтона. Голос, конечно, так себе, но слышно отовсюду. Нажимаю на кнопку ответа и приветствую мать. Скрип пола за дверью. Не прерывая беседы, резко открываю дверь. Вместо того чтобы столкнуться со лбом Людмилы, дверь упирается в мягкое: женщина, задумавшись, сидит на полу. Делаю ей ручкой.

— Не читай всю эту муть, — советует мать. — Болезнь — это состояние человека, а люди, сын, разные. У тебя большой запас прочности.

Рассказывает о Майкле Фоксе и Мохаммеде Али, которые сопротивляются болезни десятки лет. Всё правильно. Она всегда звонит вовремя.

1980

Начиная с девятого класса Глеб по воскресеньям ходил в церковь. Чаще всего — с Мефодием, ставшим теперь в Киеве частым гостем. Свои появления в городе Мефодий всякий раз объяснял какими-то делами, но Глеб всё более убеждался в том, что старик приезжает ради него. Отца Петра перевели из Киева в какое-то другое место, и тогда Глеб с Мефодием перешли в Макарьевский храм на Лукьяновке. Там служил другой знакомый Мефодию священник — отец Георгий. Постепенно Глеб приучился ходить в церковь и без деда. Отец Георгий был как бы общим дедом всем — одинаково близким и любящим. Такого коллективного родства Глеб никогда еще не

видел. Не видел он прежде и того, чтобы на голову и руки человека садились птицы — не только голуби (они садятся куда попало), но и воробьи, и синицы. А к отцу Георгию садились. Выйдя из храма, он широко раскидывал руки и замирал. Птицы слетали на его лысую, обрاملенную пухом голову, а затем и на руки. Руки дрожали от напряжения. Медленно опускались вместе с птицами. Отец Георгий собирался с силами, снова выравнивал руки, и это напоминало полет — очень медленный и в преклонном возрасте, видимо, единственно возможный. Так вот, Мефодий. Он действительно приезжал ради мальчика, потому что чувствовал, что ему нужна поддержка. Они ходили в музеи и гуляли в парках. А еще при деде можно было курить, и Глебу казалось, что это делало его взрослым и равным деду. Однажды, правда, Мефодий сказал ему: ти б краще¹ не палив², хлопче. Он, собственно, советовал, не запрещал. Не получается бросить, ответил Глеб, выкуривавший к тому времени по пачке в день. А ты не бросай, перешел на русский Мефодий, ты не кури. Это разные состояния. Он объяснил Глебу, что бросивший курить всё время думает о том, что он бросил, и это невыносимо. А некурящий, спросил Глеб. А некурящий (Мефодий развел руками) не курит. Когда Глеб понял, что он некурящий, он действительно перестал курить. Без особых усилий. Но тогда — тогда курение Глеба их сближало и вносило доверительную ноту. Все серьезные разговоры начинались после того, как во рту у Глеба оказывалась сигарета. Он не спеша поджигал ее бензиновой зажигалкой (подарил дед!),

¹ Лучше.

² (Не) курил.

и первые его слова выходили с клубами дыма. Некурящий дед с сожалением следил за тем, как заправским движением внук управлялся с зажигалкой. При всяком ее щелчке Мефодий испытывал сомнения в правильности такого подарка. И каждый раз отвечал себе, что подарок — правильный, если помогает вытащить внука из ямы, в которую тот попал. А Глеб и в самом деле начал из нее выбираться. Он почувствовал, что смерть хотя и неизбежна, но не окончательна. Ему врзались в память слова Мефодия о том, что смерть — это дверь в вечность. Двери ли бояться? Стоя на воскресной службе, Глеб испытывал полное освобождение от смерти. Ноги с непривычки болели, но это была приятная боль: она была физическим свидетельством его движения в вечность. Иногда его внимание рассеивалось, и Глеб начинал скучать. Зимой, когда окна и двери храма были закрыты и не хватало воздуха, ему хотелось спать. Мальчик больно щипал себя за ладонь, но это помогало ненадолго. Тогда он выходил из храма, садился на очищенную от снега скамейку и ощущал ее промерзшее дерево. После жарко натопленного помещения холод был приятен. По возвращении в тепло спать хотелось еще больше. На малое время сон отгоняла мысль о преодолении смерти, но она же его через несколько минут и притягивала, потому что смерть — это сон. Почти засыпая, Глеб внезапно приходил в себя, поскольку трудно глубоко заснуть стоя. Все эти трудности не останавливали Глеба: наоборот, их преодоление казалось ему небольшой, но необходимой жертвой. Да и не было это самым трудным в посещении церкви. *Самым* была, пожалуй, исповедь, которая касалась интимных его поступков и мыслей. Глеб пытался себе представить,

насколько отвратительным казался он отцу Георгию после всех своих рассказов. Досаднее всего было то, что в глазах батюшки он представлял гораздо хуже, чем был на самом деле, ведь о себе он рассказывал только плохое. Неожиданно для себя однажды на исповеди Глеб сказал отцу Георгию: я мог бы рассказать о себе и что-то хорошее. Уж так устроена исповедь, ответил отец Георгий, что на ней говорят о плохом, а то, что ты хороший, я, дитя, и так знаю. Дитя. Чаще — детка, он всех называл детками. Детка, вернись в музыкальную школу (сказал), это неплохо, что ты из нее ушел. Глеб подумал, что тогда пришлось бы просить прощения у директора с его тупыми шутками. Отец Георгий, читавший мысли на небольшом расстоянии, сказал: ну и попроси прощения, что в этом плохого? Может, его шутки уже гораздо лучше, человек ведь не стоит на месте. Просить прощения никогда не вредно, а кроме того, ты ведь хочешь вернуться? Да, Глеб хотел, очень хотел. Он позвонил Вере Михайловне, они вместе пошли к директору, и Глеб извинился. Это оказалось совсем не трудно. Глебу даже показалось, что директор стал немного стесняться своих шуток — по крайней мере, во время их разговора ни разу не пошутил. Вернувшись домой, восстановленный ученик музшколы расчехлил гитару, оказавшуюся совершенно расстроенной. Аккуратно вращал каждый колок и наслаждался плавающим звуком натягиваемой струны. Это было сродни вращению ручки радиоприемника. Но если о точном попадании на радиопрограмму сигнализировал огонек радиолампы, то единственным свидетельством попадания струны в общий строй был его, Глеба, слух. Или проще: был у него, Глеба, слух. Или: у Глеба

был слух. Мальчик повторял это про себя на разные лады — даже пел, казалось ему, про себя. На самом деле пел он вслух: увидел просветленное лицо бабушки и понял это. Возвращение Глеба в музыкальную школу наполнило ее счастьем. Глядя на бабушку, Глеб думал о том, что скоро ей, возможно, предстоит умереть, что мысль об этом могла бы отравить ей существование, а вот ведь — ее радует такой пустяк. А что, если бабушка уже простилась со своей жизнью, перенесла ее в жизнь Глебову и теперь испытывает счастье от его возвращения? Что уж говорить о том, как был счастлив сам Глеб. Весь вечер он вспоминал игравшийся им прежде репертуар. Несмотря на длительный перерыв, пальцы его помнили музыку Каркасси, Джулиани, Карулли, Сора. *Хабанеру* Роча помнили. Однажды Глеб изменил ритм, сыграв Роча как танго, и — учительнице понравилось. Он в шутку так сыграл, а она предложила ему выступить с этим на академическом концерте. Глеб выступил. Волновался. Ему долго тогда аплодировали — все, включая директора школы. В сущности, неплохой он малый, этот директор, думал Глеб, перебирая струны, не стоило с ним так... На следующий день все игравшиеся им вещи были с блеском исполнены Вере Михайловне. Да, именно так, потому что не кто иной, как Вера Михайловна, сказала: блеск! Словно бы (сказала) и не было долгого перерыва. Просто блеск. На следующий урок она принесла список вещей, составлявших новую программу Глеба, довольно сложную. В нее входили fuga из *Сонаты соль минор* Баха, переложенная для гитары Франсиско Таррегой, *Интродукция и вариации на тему Моцарта*, Ор. 9 Фернандо Сора. Предполагались также *Арабское каприччио* Тарреги, *Астурия*

Исаака Альбениса и *Этюд номер один* Эйтора Вилла-Лобоса. Учительницу интересовало, согласен ли Глеб на такой репертуар? Да, согласен. Радость возвращения в музыкальную школу была такой полной, что он был согласен на всё, даже на посещение занятий по сольфеджио и музыкальной литературе, от которых его, уже прошедшего полный курс, освободили. Впрочем, от сольфеджио он по некотором размышлении все-таки отказался (в глазах его всё еще стоял Клещук, строящий трезвучия), а на музыкальную литературу ходил. Предмет, увы, вела уже не Лена — она, как выяснилось, ушла в декретный отпуск. После того что у них было (в мечтах Глеба), ее беременность казалась едва ли не предательством. Но занятия, а главное — новый преподаватель оказались настолько интересными, что Глеб быстро Лену простил. Преподавателя звали Павел Петрович Сергеев, и внешне был он таким же непримечательным, как его имя, — дяденька лет пятидесяти в немодных и криво сидевших очках. Голос его был тонок и дребезжащ — таким сообщают о поломке пружины, — но, когда этим самым голосом Павел Петрович начинал рассказывать о музыке, он преображался. Становился выше, моложе, опрятнее, и очки на его носу сидели уже заметно ровнее. Когда Глеб попал в его класс, речь шла о полифонии. Ударение в слове Павел Петрович ставил на второе *о* и считал это единственно возможным вариантом. Лена полифонию как-то опустила — потому, может быть, что была натурой определенной и чуждой раздвоения. Глеба же, смутно чувствовавшего, что жизнь состоит из повторов и параллельных высказываний, тема полифонии захватила целиком. Рассказывая о разных видах полифонии, по-

дробно Павел Петрович остановился на двух. Первый связан с *подголосками*, которые сопровождают основную мелодию, несколько ее изменяя. Подголоски характерны прежде всего для народной песни. Павел Петрович опустил иглу звукоснимателя на пластинку, и с легким потрескиванием зазвучала грузинская песня. Прервав ее с явным сожалением, он перешел ко второму виду полифонии, который отличается тем, что основная мелодия звучит сначала в одном голосе, а потом возникает в других голосах. При этом мелодия может изменяться — подобное происходит в фугах, которые так удавались несравненному Баху. Стремительная смена пластинки: *Токката* и *Фуга* ре минор. Звучит с тем же потрескиванием как непременным свойством полифонии. Обрывается — звукосниматель, словно лайнер на взлетной полосе, плавно взмывает. Если же мелодия повторялась в неизменном виде, возникала форма (поиски очередной пластинки), несколько торжественно названная *канон*. Следующая пластинка стала для Глеба полной неожиданностью. Это была сцена дуэли из оперы *Евгений Онегин*. В оркестре — мрачные удары басов. Сначала Ленский, а за ним Онегин: враги, давно ли друг от друга нас жажда крови отвела... То, что Глеб знал наизусть, было, оказывается, канон. Который один не споешь. И за вокальной поддержкой к Клещуку не обращайся: он и упасть-то как следует не умел. Осталось лишь слушать, что Глеб и делал, — новым слухом. И любил эту музыку сильнее, чем прежде: перерыв пошел ему на пользу. За прошедшее время в душе Глеба образовался какой-то опыт, который позволял по-новому смотреть на жизнь и музыку. Видеть в музыке не отражение жизни, а ее продол-

жение, высшую, что ли, часть. Так, моцартовский *Реквием* был для него не описанием ухода, а самим уходом; не изображением страдания, а собственно страданием. Он слушал *Реквием* бесконечное число раз. Прежде представлял себе черного человека, который приходит к Моцарту с заказом. Это ведь всё равно что заказать человеку рытье собственной могилы. Теперь же он не представлял себе ничего, потому что музыка входила в него без образов и осмысления. Так входит в нас сырая октябрьская резкость, когда мы устраиваем смотр павшим листьям — бурым, разложившимся до нестрашных листовых скелетов. На глазах выступают слёзы — от ветра, холода, запаха прели, — особенно у стариков. Старики слезливы. И уж всякий листопад кажется им реквиемом и связывается в их головах понятно с чем, и не надо тут даже черного человека. Старики еще и говорливы. Говорят не для того, чтобы сообщить что-то важное или чтобы понравиться, как это делают молодые. Желают лишний раз увериться в своей связи с этим миром и насладиться ею напоследок. Всякий их разговор может быть последним, потому что таким листьям ничего не стоит оторваться от ветки. Этот образ наводил Глеба на мысли о бабушке. Но отрываться от ветки Антонина Павловна не собиралась: ничто так не продлевает жизнь, как востребованность. Она ходила в магазины, готовила, стирала. Делала и большее: за отсутствием копировальной техники переписывала для Глеба ноты. Это было двойным подвигом, поскольку нотной грамотой она не владела. Если быть более точным, ноты Антонина Павловна не переписывала — перерисовывала. Изредка — в основном перед академическими концертами — писала для внука домашние сочи-

нения по литературе, которые он, не очень в них вникая, переписывал. Его за них хвалили, пару раз даже зачитывали перед классом, и он слушал их как в первый раз. Да, бабушка писала совсем недурно, но делалось это вовсе не для Глебовой славы, а для того, чтобы внук не отнимал у музыкальных занятий драгоценных минут. Все свое время он теперь посвящал музыке и часами разучивал этюды и пьесы. Раньше Глеб стремился разобрать и выучить вещь как можно быстрее. Уже через полчаса ему становилось скучно, потому что работа пальцев не занимала ума. Ум сам находил себе работу, но она не имела ничего общего с разучиваемым произведением. Сейчас же все было иначе. Играли не пальцы — вся сущность Глеба, и ум больше не был отделившейся неприкаянной ее частью. Исполнитель без остатка растворялся в музыке, так что больше не было различия между чувством и мыслью: и то, и другое становилось музыкой. Глеб был музыкой не в меньшей степени, чем композитор, потому что композитор — он всего лишь разбросанные по нотному стану закорючки, в то время как музыка — это в конечном счете то, что звучит. Время занятий больше не тянулось, оно просто улетало. Или так: беря в руки инструмент, Глеб перемещался туда, где времени нет. Тогда-то в его игре и возникло то, что позднее кто-то из музыковедов определил как *сверхмелодию Яновского*. Критики сравнивали ее со сверхтекстом Джойса или Пруста, имея в виду дополнительный смысл, который образовывался при чтении их текстов. Он не сводился к сумме слов или описаний. Сверхтекст говорил о чем-то таком, что основному тексту было не по плечу. Сверхмелодия возникла у Глеба в школьные годы и выражалась

негромким голосовым сопровождением — странным, но, несомненно, приятным. В одной из посвященных Глебу монографий говорилось даже, что сверхмелодия возникла у него раньше мелодии. Обоснованием служило то памятное лето, когда Глеб исполнял свою сверхмелодию, не касаясь гитарных струн. Не имея еще ни малейшего представления об игре на гитаре. Продолжилось это и во время обучения. Учительница невольно начинала кивать ему в такт и только спустя минуты, словно встряхнувшись, давала команду отставить *гудение*. В конце концов *гудение* и стало общепринятым наименованием уникального Глебова стиля. Глеб именно что гудел, поскольку издаваемый им звук трудно было назвать пением. Дело было даже не в том, что слова здесь не предусматривались (существует ведь пение без слов): то, что исходило из Глебовых уст, более напоминало звучание музыкального инструмента, чем человеческий голос. Это стало совершенно очевидно, когда у мальчика поменялся голос. Произошло и другое изменение. Прежняя сверхмелодия не выходила за пределы тональности исполняемого произведения, а нынешняя — выходила. Это гудение было как прообраз музыки, как ее небесный эйдос. Он не предшествовал музыке и не рождался ею, а точнее — и предшествовал, и рождался, поскольку совершенно не зависел от времени. Глеб обращался к той небесной матрице, с которой отливалась играемая им музыка. Такая отливка не может быть идеальной, потому что идеальна лишь матрица. Глебово гудение восстанавливало не прописанные композитором места и делало произведение глубже и объемнее. Это была, в сущности, полифония, но какая-то необычная: она не основывалась на слож-

ных правилах создания полифонической музыки, да Глеб их и не знал. Годы спустя критики предполагали, что странная магия этих звуков рождалась не столько музыкальной гармонией, сколько уникальным сочетанием тембров — гитарного и голосового. Это переводило исполнение Глеба в сферу неповторимого — в том узком смысле, что для повторения требовался именно тот голос, который звучал. Но правы все-таки были те, кто феномен Яновского предпочитал объяснять другим двухголосием. Речь шла о мистической полифонии, сочетавшей в музыке то, что было явлено композитором, с тем, что в небесном образце осталось для него закрытым.

30.03.13, МЮНХЕН

В очередной раз приезжает Нестор. Никогда еще дом на Ам Блютенринг не был так полон. Никогда мы еще не ждали Нестора с таким нетерпением. Катя даже настаивала на том, чтобы он приехал с женой, но Нестор отказался. Ему кажется важным сохранить деловой характер приездов, а жену он обещает привезти позже. Об Ане и ее матери Нестор ничего не знает.

Чтобы ввести Нестора в курс последних новостей, в аэропорту встречаем его мы с Катей. Нестор (посажен на переднее сидение) реагирует на новости сдержанно, как и подобает человеку, беспристрастно фиксирующему события. Уточняет возраст и род занятий вновь прибывших, но внятного ответа не получает. Ничего, кроме возраста Ани, до сих пор как-то не выяснилось.

— Просто неловко было спрашивать, — объясняет Катя.

Приезд Нестора кажется нам поддержкой. Некоторой даже надеждой на разрешение того, что пока выглядит неразрешимым. Мы стоим в пробке, Катя по-прежнему напряженно смотрит вперед. Говорит ровным голосом.

— Я очень хотела иметь детей. Всегда. Когда окончательно выяснилось, что у меня их быть не может, я как бы между прочим вспомнила историю Рахили. — Смотрит на меня. — Глеб сразу понял, куда я клоню.

— Катюш, — кладу ей руку на плечо, — ты ставишь нашего друга в неловкое положение.

— Он сказал мне, что я не Рахиль, а потому с точки зрения нравственности есть вопросы.

Нестор ослабляет ремень и поворачивается к Кате.

— Если это прямо не относится к делу, мне и в самом деле неловко.

— Относится. Прямо... Глеб, значит, не хотел, а я настаивала. Так в нашем доме появилась моя сестра Барбара. — Катя заводит заглухший мотор и проезжает метров пятьдесят. — Из этой сумасшедшей затеи ничего не получилось. Выражаясь по-библейски, чрево Барбары тоже оказалось заключено. А теперь история повторилась. Только не так, как я хотела...

Палец Нестора скользит по ремню безопасности.

— Эта девочка отказывается от врачебных консультаций. — Катины губы дрожат. — Говорит, что у них это не принято. Что, если она почувствует себя плохо, сама обратится к врачу.

Нестор едва заметно улыбается.

— Похоже, она чувствует себя хорошо... Она и ее мамаша.

— Когда я попробовала настаивать, она сказала мне, что это ее ребенок, а не мой, и чтобы я не вмешивалась.

Катя утыкается лицом в плечо Нестора. Нестор гладит ее по голове. Передние машины трогаются с места, задние сигналият. Катя резко стартует и чуть не врезается в черную *Ауди*. От удара о стекло после резкого торможения ее и Нестора спасают ремни безопасности.

По прибытии — обед-знакомство. На столе появляется бутылка самогона. Ее на вытянутых руках по просьбе Людмилы вносит Геральдина. Катя вопросительно смотрит на Нестора, но тот увлеченно слушает Людмилу. Она рассказывает о том, как предсказывать погоду по муравейникам.

— А вы, простите, с Ленинграда? — неожиданно прерывается Людмила.

— С него.

— Так там же нет муравейников!

Изумление Людмилы подразумевает, что эта рюмка сегодня — не первая.

— Представьте себе, ни одного, — подтверждает Нестор.

Поджав губы, Людмила выстраивает стопки в два ряда и одним движением, не поднимая горлышка бутылки, разливает в них мутную жидкость.

— А нахера ж я тогда все это рассказываю?

— Не знаю, мама, ой, не знаю... — Аня оборачивается к Нестору: — А вы правда писатель?

Нестор вежливо улыбается. Аня бросает злобный взгляд на мать.

— Так напишите про мою маму, а? Она ж находка для писателя. И про муравейники не забудьте.

Катя встает, намереваясь унести стопки с самогоном, но Людмила проворно прикрывает их рукой.

— Знаешь семинарский устав?

Катя замирает. Аня встает.

— Мама!

— Анька, фатит мамкать! Семинарский устав: выпей и постав.

Свободной рукой Людмила поднимает свою стопку и, выпив, со стуком ставит на стол. Показывая, как правильно ставить, несколько раз стучит стопкой по столу. Стопка издает глухой мощный звук, полностью соответствующий слову *постав*. Людмила берет с тарелки кусочек рокфора и не без изысканности (отставленный мизинец) кладет на язык. Замирает от непередаваемости вкуса.

В руках у Ани стопка. Все замолкают.

— Одну — можно, — Людмила излучает спокойствие. — Самогон — чистая слеза.

— Nein... — испуганно выдыхает Катя.

Людмила начинает терять терпение.

— Эй, зятек, кто в доме хозяин? Она долго будет нам мóзги выносить? — Показывает на Аню. — От твоя жена, она ждет твоего же ж ребенка, а это кто такая? — Поворачивается к Кате. — Ты кто тут вообще такая? Мне тебя куда, блин, засунуть?

Катя закрывает лицо руками. Я отнимаю у Ани стопку и выпиваю ее одним махом. Медленно подхожу к Людмиле. Та смотрит на меня с беспокойством. Чуждая демократических ценностей, ожидает рукоприкладства.

Аня встает так резко, что стул за ее спиной падает.

— Я уезжаю!

— Анька, ты шо, перепила?

— Я перепила? Как вы мне все осто...ли!

— И мама?!

— Ты — в особенности.

Аня наливает себе самогона и выпивает.

— Подумайте о ребенке! — истошно кричит Катя.

— Та какой там ребенок... Нет никакого ребенка! — кричит мне Аня. — Нет! Я всё выдумала.

Она пинает лежащий стул, и он несколько раз перекатывается по полу. Стул поднимает вошедшая Геральдина. Она не понимает, что происходит, но догадывается, что задавать вопросы несвоевременно. Спокоен только Нестор:

— А можно спросить, зачем выдумывала?

— Может, замуж хотела выскочить! Или хотя бы грóшей срубить... — Аня снова себе наливает, но теперь ее никто не останавливает. — А ты думал, его полюбила?

Все смотрят на меня.

— Ох, Аня... — наливаю себе самогона.

— А как снимал меня в ресторане — не охал!

Людмила хлопает себя по бедрам.

— Снимал! Теперь окружающие подумают... — Поворачивается к окружающим. — Я вам скажу, шо... шокирована.

— А ты вообще заткнись — весь город Мелитополь обслуживала! — Неожиданно — Нестору: — Да мне ни он, ни его деньги нахрен не нужны! Так и запиши, писатель.

Аня медленно идет к двери. На пороге оборачивается, и взгляд ее теряет злость.

— Кого мне жалко, Катька, так это тебя. Всем привет...

Людмила задумчиво жует колбасу. Смотрит вслед уходящей Ане.

— Себя бы пожалела, чучело. Лифчик купить не на что. — Выдохнув, опрокидывает стопку.

Нестор пожимает плечами.

— Думаю, в *Femen* это не обязательно.

— Та какой там *Femen*. Всё брехня...

Людмила встает и, покачиваясь, подходит ко мне.

— Виртуоз, окажешь материальную помощь? А то ведь она и не попросит.

Звонко целует меня в щеку.

— Окажу.

Через час Геральдина рычит мотором, приглашая обеих женщин ехать на вокзал. Отправляюсь их провожать. Перед вагоном вручаю Людмиле чек. Не успеваю увернуться, и Людмила целует меня еще раз. Развернув в вагоне чек, посылает еще с десятков поцелуев, к счастью, воздушных. У окна неподвижно сидит Аня. Людмила пытается заставить ее отправить мне хотя бы один воздушный поцелуй. Коснувшись двумя пальцами губ дочери, посылает его сама. Поезд трогается.

Достаю мобильник, жду соединения.

— Мама, они уехали. Боже мой...

1980

Этот год стал завершающим в музыкальном образовании Глеба. Всё, чего он достиг впоследствии, было результатом его собственных усилий, потому что ни музыкального училища, ни консерватории он не окончил. Более того, совершенно неожиданно для Веры Михайловны он не выразил ни малейшего же-

лания туда поступать. После возвращения Глеба в музыкальную школу она была уверена, что основная учеба еще впереди. Да, Глеб блистательно отыграл предложенную Верой Михайловной программу, но этим все и кончилось. Существует мнение, что музыка в его жизни вообще ушла в тень. Так, в частности, кажется авторам большинства посвященных музыканту работ. По словам одного музыкального критика, Глеб сошел с шоссе на минуту, а заблудился на годы. С красивым высказыванием Глеб не согласился: он считал, что просто покинул шоссе и пошел напрямик к своей цели. По шоссе до нее было не добраться. Всё началось с поездки в Ленинград, куда он отправился с бабушкой после девятого класса. По фильмам и фотографиям Глеб знал, что город прекрасен, и любил его заранее. И даже нынешнее название его вроде бы не портило. Оно отделилось от исторического лица и зажило новой, ничем не запятнанной жизнью. Впрочем, большинство виденных Глебом горожан *Ленинграду* предпочитало короткий, как выстрел, *Питер*. В отличие от фильмов и фотографий, настоящий Питер был полон запахов. Пахло большой неюжной водой — то ли Невой, то ли морем. Дождем, палубой прогулочного катера, картинами в музеях и старой мебелью во дворцах. Пахло (утюг, нафталин, духи *Красная Москва*) смотрительницами с зашпиленными на затылке волосами. Краски. Отдельная радость (там, где тучи сгущаются над шпилями и куполами) — золото и свинец. Из питерских звуков можно было бы отметить полуденный выстрел пушки, но не это сразило Глеба наповал. Его потрясла русская речь, какой он еще никогда не слышал. У нее была своя изысканная мелодия и, уж конечно, слова. Здесь никому

не нужно было объяснять склонение существительного *путь*. Остановились они с бабушкой у Лизы, дочери бабушкиной кузины. Лиза родилась здесь, и замечательный русский язык стал ей подарком ко дню рождения. Одно уже это обстоятельство могло бы вселить в Глеба уважение к Лизе. Но этим дело не кончилось. Русский язык, который так восхитил его, Лиза преподавала в университете. Она никогда не говорила *Питер*: не жалея времени и усилий, тщательно произносила *Петербург*. В официальной обстановке пользовалась выражением *город на Неве*, что воспринималось коллегами не без удивления. Впрочем, всё связанное с Лизой вызывало удивление. В ее небольшой двухкомнатной квартире жило семнадцать котов. Это были ветераны мартовских сражений, бойцы на пенсии, и у каждого чего-то не хватало: лапы, хвоста, глаза, уха. Лиза подбирала их на улице, лечила, а потом оставляла у себя. Все они на время пребывания гостей были заперты в большой комнате (там с ними жила и Лиза), гостям же предоставили меньшую комнату. Коты шумно выражали свое неудовольствие, из-за запертых дверей время от времени доносился их вой и — что еще хуже — запах. В отличие от котов, запертая с ними Лиза пребывала в безмятежном состоянии духа. Утром, когда Глеб и Антонина Павловна только просыпались, на кухне уже было слышно ее бодрое пение, сопровождавшееся свистом чайника. Чайник вступал последним, пытаясь попасть с Лизой в одну тональность. Попытка была безнадежной, потому что в пределах одной песни тональность менялась неоднократно. Не менялись лишь Лизино настроенное — оно всегда было приподнятым — и ее дивная речь. Хрустального звучания русский язык, лучше

которого Глеб никогда не слышал. Он влюбился в отдельные его звуки, общие интонации, ритм — во всё, что составляет музыку русского языка. В сравнении с музыкой, которую он играл, эта имела совершенно иную природу. И эта музыка исполнялась Лизой. Глеб мог бы сказать, что он влюбился и в Лизу, если бы отважился в этом себе признаться. То, что она была намного старше Глеба, его не смущало: почти все любимые им женщины оказывались такими. Но Лиза была его родственницей, пусть и дальней, даже очень дальней. Это обстоятельство останавливало мальчика в полете его фантазии. Но останавливало его и другое. Лиза, тонкая, воздушная Лиза, чью речь он так любил, питала слабость к резким духам и пользовалась ими беззаветно. Вспоминая чеховскую фразу, Глеб с огорчением отмечал, что в Лизе не всё прекрасно. В один из дней они с Антониной Павловной, ожидая Лизу, присутствовали на ее занятии с заочниками. Лекция была посвящена развитию значения слов. Слово, учила заочников Лиза, как человек: имеет свою историю и не всегда было таким, каким мы его знаем сейчас. Например, слово *успех* в древности имело три основных значения. Первым и самым важным было значение *польза* (Лиза написала слово на доске), прежде всего польза духовная. Добрые дела творились *на успех* людям. Вторым значением было *движение вперед, продвижение* — например, по службе. Наконец, третье значение слова *успех* передается современным (и родственным *успеху*) словом *поспешность*. Так, выражение *встать с успехом* обозначало не удачное, а поспешное вставание. Словари современного языка в слове *успех* выделяют по преимуществу два значения. Первое определяется как *положительный резуль-*

тат, удачное завершение, второе — как общественное признание. Ни то, ни другое значение не связано с пользой. Положительный результат может быть достигнут в не очень положительном деле и с точки зрения пользы оказаться самым что ни на есть отрицательным. Да и общественное признание в нынешних условиях (Лиза подмигнула заочникам) достается понятно кому. Два других древнерусских значения стоят ближе к современным значениям слова. Особенно это касается поспешности, которая часто связана с достижением успеха в его нынешнем понимании. Используя однокоренное слово, можно сформулировать это так, что успех сопровождает того, кто *успел*. Какая уж тут духовная польза... Почему главное средневековое значение слова *успех* не сохранилось, спросил один из заочников по окончании лекции. Я думаю, сказала Лиза, ответ нужно искать не в сфере языка. Скорее всего, вопросы нравственности перестали быть в обществе центральными. Развитие человечества в Новое время было связано с углублением персонального начала. Всякое развитие, однако, имеет две фазы — созидательную и разрушительную. Созидание персонального в человеке сделало личность тоньше, открыло новые горизонты. Достижение этих горизонтов и движение за них начало личность разрушать. Персональные права, поставленные выше нравственности, превратили современного человека в машину для удовольствий. Ему было предоставлено заманчивое право заплывать за буйки, и гуманизм превратился в свою противоположность. Из аудитории заочники выходили молча. Возможно, они боялись расплескать переполнявшее их новое знание, как боялся его расплескать Глеб. На доске осталось только

первое значение слова *успех*. Других значений Лиза не записала. Идя по Университетской набережной, они снова встретили заочников. Те им помахали, и Глеб почувствовал гордость за свое с Лизой родство. В каком-то смысле он и сам был заочником, приехавшим издалека и получившим в подарок этот город, пусть всего и на пару недель. Именно тогда ему впервые пришла в голову мысль поступать здесь в университет. Этой мыслью он поделился вечером с Лизой. Глеб почему-то ожидал, что у Лизы его затея вызовет восторг и она начнет всячески ее поддерживать. Более того, рассматривая наличие котов как проявление одиночества, он дал понять, что мог бы у родственницы и поселиться. Впоследствии Глеб и сам не понимал, почему он все это говорил. Вероятно, собственное влечение к Лизе он, как это свойственно влюбленным, считал чувством обоюдным. Он был отчего-то уверен, что она страстно мечтает о мужчине в доме, неважно, на каких он возникнет основаниях — дружеских, родственных или еще каких-то (каких — не уточнялось), — лишь бы этот мужчина был. Каково же было разочарование Глеба, когда к его планам Лиза отнеслась прохладно. Да, учебу в Ленинграде она считала возможной, но столь же возможной и даже более комфортной ей казалась учеба в Киеве. Что касается жилья, то Глебу изначально предлагалось рассчитывать на общежитие, поскольку она, Лиза, очень ценит свое одиночество (извиняющаяся и трогательная улыбка) — если можно, конечно, так назвать жизнь с семнадцатью котами. Глеб был ранен в самое сердце, хотя, нужно отдать ему должное, старался не подавать виду. Спросил даже, можно ли прийти и на следующую лекцию, и получил согласие. Очевидно, чувства Глеба про-

явились достаточно явно, потому что Лиза сочла необходимым на них ответить. Произошло это в высшей степени элегантно: лекция, которую посетил Глеб, посвящалась слову *обида*. Исторически это слово обозначало ущерб самого разного свойства, но в первую очередь нравственный. Слово *обида* происходит из **obvida*, где корень *вид* — Лиза попросила прощения за тавтологию — *виден* невооруженным глазом. Это ведь только кажется, что *вид* соотносится исключительно со зрением. В не меньшей степени он связан с эмоциями. Иначе почему же он появляется в таких словах, как *ненавидеть*, *завидовать* и т.д.? Смысл *обида*, стало быть, во взгляде. Особом взгляде: что называется, не так посмотрел. Не то, может быть, сказал — и началось. В сущности, *обида* — это чувство, основанное на неожиданности. *Не так* сказать может только тот, от кого ждешь, что он непременно скажет *так*. Только в детстве исходишь из того, что все любят тебя и должны говорить *так*; это уж потом понимаешь, что дела обстоят ровно наоборот. И в этом смысле *обида* — очень детское чувство. На этой фразе Лиза бросила на Глеба красноречивый взгляд, и он понял, что произносилось это ему одному. Но он уже и не обижался, чувства его были сложнее, относясь теперь к разряду *смешанных*. Когда они с Лизой поднимались в аудиторию, Глеб ощутил терпкий кошачий запах от ее платья. Он резко отдавал ацетоном, из чего следовало, что контакт Лизиных питомцев с платьем был свежим. Запах пробивался даже сквозь окружавшую Лизу парфюмерную завесу. Тогда-то Глеб понял, почему его родственница душилась так неумеренно. Кошачье соседство возвращало духам их изначальное предназначение — забивать другие запахи. К сожалению, с этой

задачей они не справлялись. И Лиза, блистательная Лиза, знавшая историю русских слов как свои пять пальцев, в одно мгновение превратилась в страдающего и достойного жалости человека. Если угодно, в бедную Лизу. С этого дня мысленно он называл ее только так — бедная Лиза. Бедная. И больше на нее не обижался. Уже вернувшись в Киев, они с бабушкой попытались Лизе позвонить, чтобы поблагодарить за гостеприимство, но не дозвонились. Телефона у них не было, и они ходили на переговорный пункт, где заказывали разговор. Лизин номер набирала телефонистка, но на том конце провода никто не отвечал. Девушка трижды безуспешно пыталась связаться с Ленинградом, и, когда Антонина Павловна попросила сделать это в четвертый раз, телефонистка отказалась. Сказала, что это бесполезно. Что больше трех раз она вообще не набирает. Настаивать не имело смысла. Тогда Антонина Павловна написала Лизе письмо, где, помимо благодарности, упомянула о попытке позвонить. Вскоре пришел ответ от Лизы. Она писала, чтобы Глеб обращался к ней, если понадобится какая-либо помощь при поступлении. Невозможность же дозвониться была связана с тем, что коты (в письме стояло: котики) перегрызли телефонный провод. Теперь провод починили, и можно опять звонить.

05.04.13, МЮНХЕН

Мы с Нестором сидим на лужайке перед домом. На апрельском солнце жарко. За стеной сада хлопает дверца соседской машины. В глубине дома раздаются шаги. Я напрягаюсь. Это Геральдина выносит нам

сок. На мгновение мне показалось, что из дома выходит Людмила.

Нестор медленно выпускает сигаретный дым.

— Не ожидал, что они так просто отбудут.

— Я тоже, — соглашаюсь. — Хотя, знаешь, в этой Ане что-то есть. Ты помнишь, как она в конце к тебе обратилась? Напиши, писатель, что мне не нужен ни он, ни его деньги.

— Ну и что?

— Как ты не понимаешь? Ей хотелось войти в литературу в достойном виде. Не станционной шалавой, а тургеневской девушкой.

— Красиво. Только вряд ли она читала Тургенева.

— А это неважно, читала или нет. Она находится в этом культурном поле... — Ладонью перед носом изображаю чтение. — Ты видел в мире метро, где бы столько читали?

Нестор пожимает плечами и допивает свой сок.

— Я тут недавно ехал в метро в семь утра. Вагон набит. Едет полуспящая масса, качается туда-сюда, стоит запах перегара.

— А в углу сидит девочка и читает *Первую любовь* — не видел такого? И она — вся в книге, не в вагоне...

— ...и зовут ее Аня. Когда это, интересно, ты последний раз был в нашем метро? Ты кого уговариваешь? Самого себя? — Нестор внимательно на меня смотрит. — Может, хочешь вернуться в Россию?

— Не знаю. Я вообще уже ничего не знаю...

Делаю резкое движение рукой, и стакан слетает со стола. Не разбивается, просто лежит в траве. Нестор наклоняется и осторожно ставит стакан на стол. Хлопаю его по плечу.

— Что-то я совсем устал.

Вечером сижу у компьютера. Просматриваю почту. В день приходит 20–30 писем. Признания в любви, отчеты агента, приглашения выступить, но в основном, конечно, просьбы — об интервью, о помощи благотворительным фондам и просто о помощи. Письма мы обычно разбираем с Катей. Она отвечает на немецкие и английские, а ответы на русские диктую ей я.

Сегодня я отвечаю на письма один — ограничиваюсь короткими фразами. Или не отвечаю. Это продолжается минут пятнадцать. Выйдя из почтовой программы, соскальзываю на форум, ради которого, собственно, и включил компьютер. Еще вчера я наткнулся на обсуждение медиками проблем паркинсонизма. Читаю медленно, отключившись от того, что это — обо мне. *Непроизвольное слюноотделение*. Откидываюсь на спинку стула. Всё впереди.

За дверью слышны шаги. Не очень твердые, Катины — узнаю их безошибочно. Не могу попасть курсором в крестик. Входит Катя и обнимает меня сзади.

— Глебушка, ты же обещал...

— Ты тоже обещала кое-что.

А я не обещал. Просто профессор Венц сказал нам с Катей, что лучше ничего не читать о болезни, и мы согласились. Сказал: будет только страшно, а пользы от этих знаний ноль. Всё, что мне нужно, он, Венц, и так сообщает.

— Как ты отнесешься к моему непроизвольному слюноотделению?

На шее чувствую Катины слезы. Приходит в голову мысль, что непроизвольные слёзы — это романтично, а слюни — нет, хотя какая между ними, собственно, разница? Мы живем в мире условностей.

Это был последний киевский год Глеба. Ввиду существования на свете Петербурга (он называл его уже только так) оставаться в Киеве было невозможно. Глеб готовился к выпускным экзаменам, писал для пробы сочинения на вероятные темы, но мысленно уже находился в Петербурге. Вообще говоря, именно сочинения были тем, что уже тогда переносило его на берега Невы. Там он со всей силой почувствовал красоту русского языка или — в понятиях, более привычных Глебу, — его непростую музыку. Ти зробив свій вибір, і я його поважаю¹, сказал Федор, узнав о решении сына поступать в Петербургский университет. Глеб подумал было, что речь идет о выборе между музыкой и словесностью, но Федор сразу уточнил, что имеет в виду выбор языка и в целом культуры: то був той же вибір, що його свого часу² зробив наш однофамілець Микола. Глеб ничего не ответил, потому что свой выбор он осуществил давно — так давно, что даже о нем и не помнил. Что же касается Миколы, то он, кажется, ничего и не выбирал. Просто соединил в своем сознании две стихии и жил в них. Что он чувствовал, когда покидал родные края? То же, что и Глеб, — жажду нового, страх, боль расставания? На выпускном вечере все эти чувства сошлись у мальчика в горле в единый комок, и он потерял голос. Ненадолго, минут на двадцать, но — потерял. Чтобы никто этого не заметил, вышел из актового зала в коридор. Стоя лицом к открытому окну, ожидал возвращения голо-

¹ Уважаю.

² (В свое) время.

са. Делал вид, что вглядывается во что-то такое, что требует сосредоточения (в свое будущее?); на деле же видел лишь собравшийся по углам подоконника тополиный пух. Когда слышал шаги сзади, махал из окна рукой кому-то невидимому. Прodelывал это так убедительно, что в конце концов его и увидел. Это был он, Глеб Яновский, только десятилетия спустя. Этот умудренный Глеб уже знал, что стояние у окна запомнится — с пухом, тополями, приглушенными звуками рояля из актового зала — всем тем, что (конец детства) скользило на манер титров. Конец детства, прошептали оба Глеба и на несколько десятилетий расстались. Оба думали о тех, кто переживал такие же вечера десятилетия назад — со звуками рояля, с тополями. Где они, спрашивается, сейчас? На мозаиках московского метро — в широких штанах, широко шагающие. Да и не только там: в старых просторных могилах — нарядные, с закатанными рукавами белых рубаш, в пиджаках, брошенных на плечи, остатки волос зачесаны назад, в неестественно длинных, до запястья, костях-пальцах — чертежные футляры, астролябии и циркули, на женских черепаках — венки из ромашек, зияющие глазницы беззаветно смотрят в будущее. Об этих выпускниках думалось в день выпуска. Но день вошел в память не только этим. Он запомнился и феерической поездкой по Днепру. По замыслу была это поездка как поездка (теплоход *Ракета* на подводных крыльях, нарядные выпускники, пара полных учительниц); фееричность же ее заключалась в том, что на борту судна почему-то работал бар. Бармен Марлен, заранее грустивший о потерянном дне, предложил учительницам выпить за счет заведения и, к своему удивлению, не получил отказа. Спросив их име-

на (Руслана Рудольфовна и Неонила Николаевна), Марлен предложил тост за знакомство. Затем педагоги выпили уже за свой счет. После третьей Марлен как бы между прочим спросил, есть ли среди выпускников надежные люди. Им, без ущерба для воспитательного процесса, он хотел бы предложить того напитка, который учительницам так понравился. Обозначив свой интерес, налил им еще раз. Он оказался хитрым парнем, этот Марлен. Таинственный напиток, если называть вещи своими именами, был пшеничной водкой, но, оставаясь безымянным, он притупил бдительность доверчивых учительниц. Они быстро составили список надежных людей, и Марлен начал приглашать их к стойке в алфавитном порядке. От приглашения не отказался никто. Создалась даже небольшая очередь, которая — что для быстроходного судна естественно — двигалась довольно быстро. До самого конца списка Глеб не знал, принадлежит ли к надежным. К его огромному облегчению, принадлежал. Руслана Рудольфовна предложила тост за Маркса и Ленина, но все выпускники поняли, что иносказательно она пьет за Марлена. Сжав ее руку в своей, бармен шепотом спросил: Руслана, а где твой Людмил? Ответное рукопожатие последовало немедленно. Глаза Русланы Рудольфовны были на мокром месте. Вслед за надежными выпускниками к барной стойке стали подходить и ненадежные, причем эти заказывали гораздо больше и охотнее. Услышав бодрые интонации в салоне, туда по одному стали спускаться члены команды. С каждым таким посещением скорость *Ракеты* увеличивалась. Через полчаса располагающее подводными крыльями судно готово было взлететь. Окрыленные атмосферой праздника, Руслана Рудольфов-

на и Неонила Николаевна вышли из салона на открытый пятачок на корме. Чувствуя непреодолимое стремление вверх, Руслана Рудольфовна двинулась к лестнице, не предназначенной для пассажиров. Она отцепила перегораживающую лестницу цепочку и приготовилась к непростому восхождению. На первой же ступеньке женщину едва не сбила с ног воздушная волна — *Ракета* неслась на пределе своих возможностей. Руслану Рудольфовну спасла полнота ее нового чувства — а может быть, и просто полнота. Наблюдая за зрелищем из рулевой рубки, капитан *Ракеты* объявил об отделении первой ступени, которая действительно ходила ходуном. Но заявление было преждевременным. И ступень, и стоявшая на ней учительница (она вцепилась в металлический поручень) устояли. Длинная юбка с оглушительным хлопаньем билась о ее ноги, а заколотые на затылке волосы лишились шпилек и реяли на ураганном ветру. Такой ее увидел вышедший из салона Глеб. Он был потрясен: несмотря на сопротивление стихии, женщина не только поднималась, но и декламировала что-то гекзаметром. Слов было не разобрать, стихи обратились в чистый ритм. На последней ступеньке юбка взметнулась вверх и закрыла Руслане Рудольфовне лицо. Теперь она напоминала самоходную трубу — в верхней своей части, а в нижней... Глеб был единственным, кто увидел это. Увидел — и целомудренно отвернулся. И взгляд его упал на Неонилу Николаевну, повисшую на бортовом поручне. Руки учительницы качались над днепровской пеной. Она тоже не молчала, но читала текст попроще: ловись рыбка велика, ловись маленька... Неонила вообще была попроще. Уже оттаскивая ее от поручня, Глеб увидел, как два матроса сводили Руслану Ру-

дольфовну с лестницы. Пытались, хохоча, опустить ее юбку, но не могли. Может быть, не хотели. Когда обеих учительниц отпаивали в салоне коньяком, Руслана Рудольфовна рассказала всем, что наверху читала *Антигону* Софокла. По просьбе Марлена она прочла эти строки еще раз: Дивних багато на світі див, / А найдивніше з них — людина: / Вітер січе їй в обличчя, вона ж / Сміливо далі прямує путь. Все аплодировали, особенно Марлен, не догадывавшийся, в каких непростых условиях это прозвучало в первый раз. Он предложил тост за Софокла, которого поукраински никогда еще не слышал. Выпив, уточнил, что на других языках, если ему не изменяет память, он его тоже не слышал. И *Антигону* не читал. Глядя на успех коллеги, Неонила захотела было тоже что-то прочесть, но тут же раздумала. До самого возвращения Глеб по просьбе присутствующих играл на гитаре. Через день он вылетел в Ленинград, где его ждали вступительные экзамены в университет. В августе стало известно, что Руслана Рудольфовна вышла замуж за Марлена. Как он признался на свадьбе, эрудиция этой женщины сразила его наповал. Руслана Рудольфовна смутно припоминала, что там, на *Ракете*, нечто подобное едва не приключилось с ней самой. Посылая молодоженам поздравительную телеграмму, Глеб думал о том, как все-таки важно вовремя прочесть Софокла.

15.06.13, Нью-Йорк

Выступаю в Карнеги-холле. За месяц до концерта, когда афиши были уже готовы, я послал Майеру уведомление об изменении программы. Вместо обыч-

ного моего репертуара (популярная классика плюс современность) объявлялось исполнение народных песен. Майер сопротивлялся с непривычной для него жесткостью. Его возмущала не столько необходимость перепечатывать дорогие афиши (такое случилось и раньше), сколько то, что решение было принято мной единолично, без консультаций с ним. И без каких-либо объяснений.

Только что же я мог объяснить? Что в течение трех уже месяцев не способен сыграть ни одной сложной вещи? Что увеличил количество репетиций вдвое, но пальцы от этого стали двигаться только хуже? Не от этого, может быть, но что хуже — точно. Майер пытался до меня дозвониться, но телефон мой молчал. Живя в одном городе со своим клиентом, Майер мог бы к нему заехать, но что-то ему подсказывало, что делать этого не нужно. Развитая интуиция того, кто давно работает с людьми. Майер к ней прислушивался.

Оставалась только электронная почта, на которую я изредка отзывался. Пока между нами шла переписка, продюсер не уступал. Когда же в один из дней он до меня все-таки дозвонился, то понял, что настаивать бесполезно. Я разговаривал с ним спокойно, но за этим спокойствием Майер почувствовал отчаяние. Он не понимал, что является его причиной, но глубина отчаяния была беспредельна. Программу составили так, как этого хотел я.

В Нью-Йорк мы с Катей прилетаем накануне концерта. В аэропорту лимузин подъезжает к самому трапу, и многочисленные поклонники в зале прилета оказываются не у дел. Встречающим объявляют о том, что маэстро уже уехал. Букеты и плакаты, то там то тут всплывающие над головами, посте-

пенно сливаются в единой процессии. Мысленным взором вижу, как со вздохами разочарования (звездная болезнь) шествие направляется к выходу из аэропорта. С поклонниками так не поступают. Часть букетов приземляется в урне, и виртуоза Яновского для их владельцев больше не существует.

Сам виртуоз проводит вечер в гостинице. Даже ужин мы просим подать в номер. Вечером следующего дня спускаемся вниз и садимся в кадиллак. На переднем сидении нас уже ждет Майер. Он внимательно всматривается в меня, словно ожидает подвоха. Явно опасается увидеть меня каким-то другим. Скрывшим, к примеру, потерю глаза или ноги. Или, что было бы уж совсем плохо, руки, без которой не сыграешь даже народной песни. Нет, всё на месте. Майер немного успокаивается и кивает шоферу. Машина трогается с места — ехать здесь всего ничего.

Через десять минут подъезжаем к Карнеги-холлу. Величаво причаливаем: на это способны лишь дорогие машины. Служащие Карнеги-холла открывают двери кадиллака. С левой стороны выходит Катя, с правой, секунду спустя, — я с гитарой в футляре. Раздается многоголосый гул приветствия, мы машем собравшимся. Директор Карнеги-холла целует Кате руку и обнимается со мной. Щелкают фотоаппараты. Направляясь к дверям, я даю автографы, несколько раз останавливаюсь, давая возможность сделать селфи. За нами следуют служители концертного зала с врученными мне букетами.

Я знаю Карнеги-холл как свои пять пальцев, но (традиция есть традиция) директор следует впереди, показывая дорогу. В примерной мне приносят крепкий чай в стакане с серебряным подстаканником —

когда-то давно директору сказали, что так это делается в России. В поезде. Ему не сказали, что в поезде. Впрочем, в вытянутой примерной это даже уместно: большое такое купе. Я слышу бодрый метроном колес — именно то, что нужно для этюдов.

Растираю руки и сажусь разыгрываться. Между этюдами отпиваю из стакана по несколько глотков. Ложусь на кушетку и закрываю глаза. 19:07. Аккуратный стук в дверь: мистер Яновски...

— Не волнуйся, — шепчет мне Катя на ходу, — всё будет в порядке.

— А я не волнуюсь. Действительно не волнуюсь.

Перед тем как выйти из кулис, целую ее в лоб. Катя не пойдет в зрительный зал, весь концерт она будет стоять здесь. Так происходит всегда. Я подключаю к гитаре антенну микрофона и даю знак звукорежиссеру. Получив ответный знак, направляюсь к освещенному пространству сцены. Зал взрывается. Иду, опустив голову, словно сосредотачиваясь. На самом деле — привыкая к слепящему свету сцены: я так и не научился справляться с ним. Остановившись у высокого стула на авансцене, поднимаю голову. Улыбаюсь. Улыбка транслируется на большой экран. Из-за полуприкрытых век кажется улыбкой слепого.

Хаос переходит в ритм. Невероятный шум сменяется стройными волнами аплодисментов. Меня приветствуют стоя. В моих руках сверкает гитара. Сажусь на край стула (ноги на нижней перекладине) и беру два аккорда. Высокий стул и моя поза странным образом создают картинку бара. Не покажется, в общем, противоестественным, если сейчас я что-нибудь закажу. Какой-нибудь, скажем, хороший русский напиток.

На сцену вылетает плюшевый мишка как выражение симпатии к России. Я встаю и кланяюсь. Поднимаю мишку, сажаю его на один из пюпитров, возвращаюсь на место. Шум понемногу стихает. Не ожидая полной тишины, начинаю играть белорусскую *Купалинку*. Звучит только гитара, без голоса. Свет на сцене гаснет, остается лишь резкий яркий круг, в центре которого — музыкант. Он одинок, а песня его грустна. Ее слова в английском переводе скользят по огромному экрану.

Организаторы концерта сомневались, что давать слова необходимо, но я настоял. Без этого, сказал, ничего не будет понятно. *Купалинка-купалинка, цёмная ночка... Цёмная ночка — дзе ж твая дочка?* Со словами (возражали) все равно ничего не понятно. Ведь это же нужно объяснять, что в ночь на Ивана Купала девушки плели венки и клали их на воду, узнавали свою судьбу. И потом: чья дочка, почему плачет? А что тут объяснять, удивляюсь. Все ведь предельно ясно. *Мая дочка у садочку ружу, ружу полиць. Ружу, ружу полиць, белы ручки колиць. Кветачкі рвець, кветачкі рвець, вяночкі звіае. Вяночкі звіае, слёзкі пралівае.* Какая разница, чья дочка, — важно, что плачет. В искусстве лучше недосказать, чем сказать слишком много. А зрители будут плакать о своем.

На последней ноте поднимаю глаза и смотрю в зал. Вижу, как в отраженном от сцены свете блестят мокрые щеки. В руках аплодирующих мелькают носовые платки. Видны только зрители первых рядов, но я знаю, что там, в темной глубине зала, мою музыку чувствуют так же остро. Может быть, даже острее: подобное нередко происходит с теми, кто не может позволить себе хорошие места.

Встаю и (гитара на ремне) выхожу на авансцену. Когда *Липу вековую* я исполняю с голосовым сопровождением, зал тоже встает. Звучит мое странное *гудение*. Никогда с него не начинаю: пусть вначале послушают, каково оно без него — с одними лишь струнами. Мой голос входит в резонанс с гитарой, я чувствую их гармонию. Лишаюсь тела и превращаюсь в звук, в тонкую такую, почти неощутимую энергию. Пока рука не устала, решаюсь на сложную вариацию этой песни и играю ее почти без ошибок. Бросаю взгляд за кулисы и вижу поднятый Катей большой палец.

Ни палец, ни светящееся лицо Кати не могут меня обмануть: я знаю, как она волнуется. Сегодняшнее выступление построено особым образом. Я начал с вещей, которые обычно являются кульминацией концерта. Они играютя тогда, когда градус напряжения достигает, кажется, предела. Зал неистовствует. И вдруг — новая вершина, которая еще мгновение назад казалась невозможной. Возможна ли она сейчас?

В этот раз песни следуют по степени сложности. В начале играютя технически трудные вещи, а в финальной части, когда рука окончательно устанет, будут исполнены простые, притом с оркестром. С точки зрения режиссуры, это допустимый ход событий, потому что сложность не всегда связана с наибольшим воздействием. Опасность в другом. Тот транс, в который зал обычно погружается постепенно, уже наступил. С первой же песней. И нет уверенности в том, что это состояние зала можно будет удержать.

Играя *Ніч яка місячна*, с болью сердечной наблюдаю, как босиком по холодной росе аудитория

Карнеги-холла бредет в неизвестном направлении. Беру ее на руки и несу. Вспыхивающие в партере искры собираются в полноценную шаровую молнию. Не отрываясь слежу за тем, как сияющий сгусток электричества медленно проплывает над залом. Вариация меняет тональность, и это как вираж на американских горках — публика охает. Твердо знаю, что нужно думать о чем угодно, кроме самой игры. Ласкающий, не думай о ласках. Если сравнивать зал с женщиной... Не так: от ее способности отвечать... Едва не сбиваюсь, перейдя на тремоло. От зала, словом, многое зависит.

После антракта появляется оркестр. В первом отделении — изысканность и техника, во втором — чувство и мощь. Играю песню за песней. Вопрос в следующем: способен ли зал на такую неутомимую любовь? На такую (три форшлага подряд) неутолимую? Да, способен. Оказывается, способен и на неутолимую. На такую непрерывную, потому что я играю не останавливаясь.

По центральному проходу бегут два человека с носилками наперевес. Кого-то поднимают с пола, кладут на носилки, привязывают. Движение к выходу (звучит *Летят утки*) неспешно и соответствует настроению песни. Оставшиеся видят, чем грозит полное растворение в музыке. Опасность наслаждения делает его еще притягательнее. На песне *Как на речке было на Фонтанке* зал уже не садится. Раскачивается всем своим необъятным телом, идеально входя в ритм. Это уже общее тело и общий экстаз. И теперь никто не знает, чем все у нас может закончиться. Просто даже не догадывается. Никто.

30 августа, залитый киевским солнцем перрон. Глеба провожали в Ленинград. В июле он поступил на филфак, устроился в общежитие и теперь ехал на учебу. Глеб уже зашел в вагон. Стоя у открытого окна, удивлялся прозрачности утреннего воздуха. Федор когда-то учил его, что утро — лучшее время для фотосъемки. Перрон, фото сверху. Пропорции фигур искажены. В первом ряду: мама и бабушка, в глазах тревога. Второй ряд: Федор. Белая застиранная рубашка с закатанными рукавами. Тоже волнуется, хоть и старается этого не показывать. Так и остались в памяти Глеба — черно-белые, пожелтевшие от времени. Утренний поезд — испытание для провожающих. Вечерние проводы сменяются ночью, а ночь — великий примиритель. За ночь со многим свыкаешься. Утренний же поезд делит день на две части: с провожаемым и без него. Если это проводы на долгое время, день превращается в жизнь, ее краткое изложение. Отсутствие уехавшего — зияюще, молчание его — гулко. Недопитый утренний чай на столе, влажное полотенце на крючке. Он как бы здесь еще, и оттого так зримо его исчезновение. Всю дорогу Глеб думал о маме и бабушке. А приехав утром в Питер, в мокром окне увидел Лизу. Она сразу вошла в вагон и помогла ему вынести два чемодана и гитару — из-за этого груза он, собственно, поехал поездом, а не полетел на самолете. Лиза повела его на стоянку такси. Таксист разговаривал с ней лениво, почти пренебрежительно. И вдруг Глеб заметил, что Лиза плохо одета. Нельзя сказать, что ее внешний вид как-то разительно изменился за прошедший год, — скорее, за этот год изменился Глеб. Он вырос. Стал разбираться в том, кто как одет и что

значит хорошо одеваться. Таксист оценил Лизу мгновенно. Как всякий, кто ищет клиентов на улице, он безошибочно просчитывал их с Лизой финансовые возможности. Всем своим видом показывал, что много от них не ждет. Но поедет. Кивнул, чтобы они грузили в багажник чемоданы. Когда Лиза взялась за ручку одного из них, Глеб сказал, что это сделает таксист. Наступила пауза. Таксист стоял (сидел) перед непростым выбором. Он мог ответить, что не грузчик, чтобы они убирались к черту, а мог выйти и погрузить чемоданы. Посмотрел на Глеба, решительно и непреклонного. Стоящего на широко расставленных ногах. Таксист был уже немолод, и у него не было сил на скандал. Насвистывая себе что-то под нос, он положил оба чемодана в багажник. Увидев в руках Глеба инструмент, улыбнулся: гитарист? Virtuoz, с готовностью подтвердила Лиза. На мосту Строителей, у самого общежития, она протянула Глебу свой кошелек, чтобы он расплатился. Кошелек был облезшим и плохо открывался. Глеб вернул его Лизе. Достал свой — мама якобы специально дала денег на такси. Когда машина уехала, Лиза сказала: ты стал взрослым мужчиной. Еще год назад от таких слов он был бы счастлив, а теперь испытал какую-то даже неловкость. Оформив документы у коменданта общежития, Глеб с Лизой получили ключ от комнаты и отнесли туда вещи. В комнате стояли три кровати, письменный стол и стол обеденный. Предполагается, что интерес к учебе имеет только один из трех, пошутила Лиза. К себе не пригласила. Глеб не обижался, потому что жить у Лизы не хотел. Из ее писем он знал, что помимо многочисленных котов у нее теперь жил увечный лисенок. Дело было, конечно, не в лисенке. Наличие котов в таком количестве было уже в ка-

кой-то мере диагнозом, а лисенок лишь ставил в нем жирную точку. В сумке у Лизы оказался термос и бутерброды с колбасой. Они перекусили. Уходя, Лиза сказала Глебу, чтобы в случае чего звонил, но он уже догадывался, что этот случай маловероятен. Да и Лиза, кажется, тоже. Она жила на севере города и теперь собиралась идти к ближайшей станции метро — *Василеостровской*. Глеб вызвался ее проводить. Это был жест джентльмена, а кроме того, ему хотелось пройтись. Есть особая прелесть в прогулке в день приезда. Шли они молча. Лиза думала о чем-то своем (Глеб подозревал, о котах), а он осматривал свои новые владения. Не сомневался в том, что этот город принадлежит отныне ему — со всей своей славой и печальной красотой. Про себя сравнивал город с чахоточной женщиной, которая нуждается в его тепле. И вот он приехал, горячий южный человек, и теперь обнимет ее и подарит ей свое солнце. Сойдя с моста, они с Лизой пошли по набережной. Лиза показала на монументальное здание с колоннами и сказала: Пушкинский дом. Пушкин в нем не жил, но здесь изучают русскую литературу. Глеб молча кивнул. Жаль, что не жил... Ему иногда казалось, что Пушкин вообще не жил. Был плодом русской фантазии, прекрасной мечтой народа о самом себе.

16.06.13, Нью-Йорк

Просыпаюсь поздно. Рядом Катя с ноутбуком на животе. Открыв один глаз, слежу за тем, как ее палец скользит по сенсорной панели. Сейчас Катя обернется — она всегда чувствует мой взгляд. Оборачивается. Целует в лоб. Поворачивает ко мне экран.

— Триумф!

Катя сияет. Открываю второй глаз и просматриваю текст.

— Есть немного.

Заказываем завтрак в номер. Официант появляется почти сразу же — ждал он, что ли, под дверью? Спрашивает, открыть ли шторы. Да, если можно, открыть. В огромном окне возникает Бродвей, прекрасная и на удивление неширокая улица. Желают они завтракать в постели (у него на этот случай есть приспособление) или за столом? Желают за столом. Официант сервирует стол. Перед тем как уйти, на журнальном столике веером раскладывает утренние газеты.

Катя, жуя, зачитывает заголовки.

— Новая вершина виртуоза... Он по-прежнему потрясающий... Сеанс магии в Карнеги-холле... Концерт Яновски: двадцать минут оваций... Как ты себя чувствуешь?

Делаю вялое движение рукой.

— Головокружение от успехов.

— К концу банкета ты был уже никакой. — Катя протягивает мне тарталетку с икрой, но я отвожу ее руку. — Просто лыка не вязал...

— Неужели? — Чувствую, что улыбнуться в полную силу все еще не получается. — И даже не принял вечерние таблетки?

Катя смеется.

— Не принял. Ты всем ужасно нравился: мэр тебя расцеловал.

— Был мэр?

— Да, он приехал позже, занятой такой, даже мрачноватый. Но, увидев тебя, оттаял. Съешь чего-нибудь, а?

Выпиваю стакан яблочного сока. Помедлив, беру у Кати тарталетку, но тут же возвращаю. После сока головокружение усиливается. Приходится снова лечь. Вот ведь (забрасываю руки за голову) к чему ведет злоупотребление яблочным соком. Катя отправляется в ванную.

На постели рядом со мной — оставленный Катей компьютер. Услышав шум воды, вхожу в поисковую программу. Ничего особенного не ищу — так, чистое любопытство. Что, например, пишут в Америке на интересующую меня тему. Тремор обеих рук (коснется и ног), возможно, также челюсти и языка. Эффектно... Отказ мимических мышц, лицо приобретает характер маски. Тоже вещь известная. Ага... Тренируйте мимические мышцы, гримасничайте. Почему нет? Запросто.

Я в фокусе трех зеркал. В каждом по господину Яновски, и все трое гримасничают. Virtuozы.

Выражение *крайней степени веселья*: глаза-щелки, два ряда зубов. При виде трех веселящихся Яновских становится смешно.

Выражение *светлой грусти* еще смешнее: глаза навывкате, губы бантиком.

Плохо скрываемое раздражение: уголки губ опущены, даже нос заметно обвис. Неприглядная, строго говоря, картина. Получается, что раздражение лучше скрывать.

Хорошо, тогда — *нескрываемая ненависть*: сдвинутые брови, сжатые зубы, пульсирующие желваки.

Любовь к детям: губастая полуулыбка, широко раскрытые глаза.

Дума о родине: губы поджаты, скулы заострены, глаза собраны у переносицы.

Недоумение: приоткрытый рот, хлопанье ресниц.

Чувственность: рот также приоткрыт (совсем немного), глаза полузакрыты, трепет ноздрей.

Играющий Бетховена: лицо исходит гримасами, и слегка шевелятся уши. С играющими Бетховена беда, на них, честное слово, лучше не смотреть. Виртуозов лучше слышать, особенно скрипачей и пианистов. Закатывание глаз, откидывание челки, скольжение языка по губам — это еще лучшее из того, что они способны предложить.

Безысходность: лицо как неглаженный пиджак, по щекам катятся слезы.

Не замечаю, как входит Катя. На шее у нее полотенце, волосы пахнут незнакомым гостиничным шампунем. Она садится на кровать и молча смотрит на меня. Краем полотенца вытирает с моего лица слезы. Выключает компьютер.

1981–1982

В общежитии Глеб освоился на удивление быстро. Годы в коммунальной квартире можно было бы считать хорошей тренировкой, но это был несколько другой опыт. Да, чужие люди на кухне, да, общие для всех умывальник и (самое неприятное) туалет, но главное пространство жизни — комната — было у него всегда отдельным. Легкое вхождение Глеба в новую жизнь объяснялось не столько опытом, сколько молодостью. Его не беспокоило, что спать, есть и заниматься ему придется в присутствии посторонних. То, что всё это перестало быть у него делом регулярным, упростило привыкание к новым

обстоятельствам. Состояли они в соседстве двух студентов филфака — Юрия Котова из Иркутска и жителя Софии Красимира Дуйчева. Оба были второкурсниками и людьми по-своему примечательными. В глубине души Глеб жалел, что оказался в этой компании третьим. Познакомившись с соседями, он открыл для себя, что различие сближает больше, чем подобие. По степени своего несходства Котов и Дуйчев несомненно составляли пару. Они вполне могли бы сниматься в кино, петь комические куплеты или выступать с акробатическими этюдами. Котов был мал, светло-рус и носил очки. Рост Дуйчева (о чем он, случалось, небрежно упоминал) составлял 188 сантиметров, волосы и борода его были смоляными, и не знал он в своей жизни очков кроме солнцезащитных. В соответствии со своим именем, Красимир был красавцем и нравился девушкам. Он и сам себе нравился. Очевидно, поэтому Дуйчева называли Дуней. А Котов никому не нравился, и его называли просто Котовым. После лекций сидел в библиотеке до самого закрытия — не столько даже из любви к знаниям, сколько из страха перед возможными сюрпризами дома. Не раз и не два, возвращаясь в общежитие, он обнаруживал, что дверь комнаты закрыта изнутри. Ответом на его продолжительный стук было молчание или приглушенный смех. Иногда из-за двери поступала рекомендация прийти через час-полтора. Давалась она голосом Дуни, но голос этот был необычным — слабым и томным, — что вызывало в Котове приступ омерзения. Голос называл ему фильмы, на которые можно было бы пойти, и перечислял открывшиеся выставки с часами их работы. Болгарский гость — и в этом Котов отдавал ему должное — был в курсе

культурной жизни города. Сам Котов культурной жизнью не интересовался, а потому советам не следовал. Он садился в коридоре на портфель и терпеливо ждал освобождения комнаты. В комнате же никто не торопился, при этом оттуда раздавались такие звуки, которые вызывали у Котова еще большее омерзение. Нередко раздавался глухой гул, как бы от перемещения тяжелых предметов по полу. Лоб Котова покрывала испарина. Если скрип кровати и сопровождавшие его звуки он мог объяснить на основании слышанных им рассказов об *этом*, то гул не подлежал никакому истолкованию. Котов понимал лишь, что в комнате происходит что-то чудовищное по цинизму. Вопреки его воле фантазия рисовала влекомую по полу грузную женщину. Или даже двух женщин... В конце концов дверь все-таки открывалась, выпуская юное создание в помятой юбке, почти всякий раз новое и всегда хрупкое. Оставалось предполагать худшее: по полу волокни самого Дуню. Затем показывался Дуня и, ненатурально удивившись сидящему Котову, приглашал его войти. Но на этом беды Котова не оканчивались. После таких визитов он обнаруживал, например, что его полотенце для тела — влажное. Да, Котов пользовался им накануне, но за сутки полотенце должно было высохнуть даже в дождливом Ленинграде. Прикидывая скорость высыхания полотенца, Котов порой замечал остатки вина на дне стакана, в котором стояла его зубная щетка. Иногда на нем алели следы губной помады. Патологическая нелюбовь Дуни к мытью посуды заставляла его использовать все имеющиеся резервы, вплоть до гигиенических. Котов долго и с отвращением мыл стакан, а полотенцем не пользовался до очередной

смены белья, терпеливо обсыхая после душа. Испытываемое отвращение не позволяло ему сделать Дуне замечание: обсуждение *этого* было для Котова так же неприемлемо, как и само *это*. Иначе отнесся к происходящему Глеб. Столкнувшись с закрытой дверью в первый раз, он внял совету пойти в кино. Во второй раз — вышиб ногой дверь. Произошло это в присутствии сидевшего на полу (но тут же вставшего) Котова. Картина, открывшаяся вошедшим, для Котова была особенно неприятной. В центре комнаты стояло двуспальное ложе, составленное из Дуниной и котовской кроватей. Сразу определился источник таинственного звука — его, Котова, кровать, которую подтаскивали к соседней, — хотя это открытие сейчас вряд ли его успокаивало. На ложе располагался голый Дуня, а рядом сидела его полуголая подруга. Несмотря на драматизм ситуации, девушка представилась: Лидия, можно просто Лида. Ее одеждой была накинутая на плечи рубашка Глеба. Сорвав с гостя рубашку, Глеб швырнул ее в лицо Дуне. Не очень-то галантно, заметила Лида. Дуня вскочил на ноги и под скрип сетки сделал шаг в сторону Глеба. Следующего шага сетка не выдержала. С оглушительным лязганьем одна ее сторона провалилась, увлекая за собой на пол Дуню. Через секунду на него свалилась металлическая спинка. Технический нокаут, констатировала Лида. В минуту противостояния она одна сохраняла спокойствие. Проследив за ее взглядом, Дуня и Котов увидели в руках Глеба нож. Это был узкий от многолетнего затачивания кухонный нож, привезенный Котовым из Иркутска. Еще мгновение назад он лежал на обеденном столе. Мы сейчас оденемся и выйдем, сказала Лида. Подождите, пожалуйста, нас снаружи. Когда

влюбленные появились в коридоре, Дуня мрачно посмотрел на Глеба: ты что, правда хотел меня зарезать? Нет, улыбнулся Глеб, всего лишь кастрировать. Лида провела пальцем по Глебовой щеке: мальчишки, только не это. В тот же вечер Котов ухитрился починить замок — он оказался рукастым парнем. Кровать, однако, починке не подлежала: отломившиеся от спинки крючья, на которых держалась сетка, нужно было приваривать, а без сварочного аппарата этого не мог сделать даже Котов. Дуня попытался заменить кровать или хотя бы спинку и ходил с этой целью к коменданту общежития. Ни того, ни другого у коменданта не оказалось — всё было давно роздано. Что вы только делаете с теми кроватями, буркнул комендант, но Дуня уклонился от объяснений. Вернувшись в комнату, он снял с крючьев вторую сторону сетки и еще два месяца спал на полу. Перед Новым годом на одной из помоек Котов заметил одиноко стоящую спинку и принес ее Дуне. Внешне спинка совершенно отличалась от поломанной, всё — от никелированных трубок до набалдашников — было в ней другим, но крючья для сетки невероятным образом располагались на нужном месте. Новый год Дуня встречал на исправной, хотя и несколько разностильной кровати. Прежние его истории с дамами уже не повторялись: случившееся послужило Дуне хорошим уроком. Нельзя, пожалуй, исключить и того, что на такую кровать он просто стеснялся кого-либо приводить, боясь обвинений в эклектизме. Ее оставалось использовать только для сна. После изгнания Дуни с Лидой жизнь Глеба и Котова пошла спокойнее. Не то чтобы Дуня предался аскезе — просто он стал искать место для встреч на стороне. От коменданта общежития он

знал заранее, какие комнаты должны временно освободиться — случалось это, как правило, перед ремонтом. Комендант, которого болгарский студент щедро угощал ракией, откладывал ремонт на день-другой и передавал ключи Дуне. Из того, что с Дуниных волос порой сыпался мел, можно было заключить, что в каких-то случаях ремонт уже был начат. Но даже в этих непростых ситуациях возвращать ключи Дуня не торопился. Вообще говоря, ключи стали для Дуни таким же неизменным атрибутом, как стетоскоп для врача. Теперь он постоянно носил их в карманах, и о его приближении сигнализировал мелодичный звон. Помимо ключей от комнат общежития он хранил ключи знакомых ленинградцев, доверивших ему на время отъезда не только квартиры, но и гаражи. Один гаражный ключ Дуня неделю носил в руке, потому что в карман он не помещался. Предметом особого Дуниного интереса был ключ от ленинской комнаты, стоявшей обычно пустой. Это был единственный ключ, в выдаче которого комендант отказывал. Настоятельные просьбы Дуни он отвергал *как идеологически несфокусированные*. Загадочная формулировка поставила в тупик даже носителей русского, однако Дуня в ней разобрался. Фокус помогла навести литровая бутылка ракии, получив которую, комендант отдал ключ Дуне. В ленинской комнате было главное: большой диван и возможность запирается на всю ночь. Как все комнаты на свете, она имела свои плюсы и минусы. Так, преобладавшие в ней кумачовые тона Дуня нашел эротичными, но оформление в целом ему показалось несколько пафосным. Особое в этом смысле сомнение вызывали у него бюст Ленина в углу и огромная карта на стене с гербами городов, из ко-

торых приехали учащиеся. После первой же ночи Дуня заявил, что испытывает дискомфорт, занимаясь любовью в присутствии Ленина. В дальнейшем он неоднократно жаловался, что нечеловеческие размеры головы вождя создают ощущение слезки — и Дуне приходится его всякий раз отворачивать. Глеб удивился было, что Дуня ухитряется в одиночку вращать такое большое изделие, но изнутри Ленин, как выяснилось, был полым: его действительно мог повернуть один человек. Собственно, это и оказалось для Дуни роковым. Однажды ночью он разбудил Глеба и Котова громким стуком в дверь. Глеб был уже готов сказать Дуне немало горьких слов, но, увидев товарища, осекся. Дуня был в высшей степени взволнован. Закрыв за собой дверь, он шепотом сообщил, что упал Ленин и требуется помощь. Кому, Ленину, так же шепотом переспросил Котов. Дуня метнул на него злобный взгляд, но понял, что Котов еще не проснулся: нет, мне. Ленину и в самом деле было уже не помочь. Он разбился на множество частей, и склеить их (это подтвердил проснувшийся Котов) было невозможно. Вместе с тем куски не рассыпались: их продолжала связывать прочная матерчатая основа, на которую наносился гипс. Над обломками сидела Лида, на этот раз в рубашке Дуни. Она встретила вошедших с не соответствовавшей моменту радостью. Глеб мысленно отметил, что Дуня становится однолюбом. Разбитое изваяние влюбленные, оказывается, уже пытались вынести по частям, но их (частей) неразделимость препятствовала и этому. Не говоря ни слова, Котов вышел из ленинской комнаты и через минуту вернулся с мешком. В другой его руке был молоток. Котов предложил измельчить обломки, чтобы нельзя было узнать,

что за скульптура подверглась разрушению, и всем это показалось не только разумным, но и политически дальновидным. Работать старались тихо, подкладывая под гипс пухлые подшивки газет. Через час Дуня с Глебом вынесли мешок на ближайшую стройплощадку. Там они поставили его среди других мешков, удивительно похожих на котовский. Пораженный этим сходством, Дуня даже предложил посмотреть, что в них находится, но Глеб его отговорил. Он понимал, что всякое сходство имеет свои границы. Наутро Дуня пошел к коменданту и сообщил, что бюст Ленина украли. Комендант матерно выругался, а потом лишь хмуро молчал. Выразить сомнение в том, что бюст мог кому-то понадобиться, он не мог по идеологическим причинам. С пропажей его примирило лишь то, что, в отличие от кроватей и спинок, запасные бюсты у него имелись. Он приказал Дуне доставить в ленинскую комнату нового Ленина и сдать ключ. Задание было выполнено с помощью Глеба и Котова. Вынося Ленина из хозчасти, Дуня уже привычно звенел связками ключей. В ленинской комнате их ждала Лида. Пока устанавливали бюст, она рассматривала висящую на стене карту. Плечи ее едва заметно подрагивали. Глеб подумал было, что она плачет: как-никак, они с Дуней теряли единственное отдельное жилье. Когда же Лида повернулась, стало понятно, что девушка смеется. Показав на одно из изображений, она сказала: хорошо, по крайней мере, что здесь останется Дунин фамильный герб. Дуня с недоверчивой улыбкой приблизился к карте. Вслед за ним подошли Глеб и Котов. На геральдическом щите, слева от стоящего на задних лапах льва, помещались два скрещенных ключа. Это был герб города Лида Гродненской области.

20.08.13, МЮНХЕН

Ресторан *Аумайстер*. Трепетный час перехода от зноя к прохладе. На наш с Нестором столик растопыренной ладонью ложится лист каштана. Вставляю его в бутылку с минеральной водой. Разрезаю баварскую колбаску и запиваю ее пивом.

— Тебе, писателю: в этом заведении любил бывать Томас Манн.

— Чем он здесь запомнился?

Подзываю официанта:

— Чем здесь запомнился Томас Манн?

Тот бросает мгновенный взгляд на бутылку. Это безмолвный укор: принесенную воду можно не пить, но вот листья — их, видите ли...

— Я здесь недавно, герр Яновски, и не знаю всех клиентов по именам.

— Неплохой был клиент, — говорит по-английски Нестор. — Зато вы знаете господина Яновского, это уже кое-что.

Официант наклоняет голову.

— Кто же его не знает.

Нестор мне подмигивает: вот она, слава. Увидев на столе пачку сигарет, официант приносит пепельницу. Мы сидим на открытом воздухе, потому что здесь все еще можно курить. Внутри уже запрещено. Нестор закуривает, и первый клуб дыма медленно скрывается в кроне каштана.

— Ты очень мало говоришь о времени твоей славы.

— Да? — Чиркаю зажигалкой Нестора и смотрю на огонь. — Знаешь, я бы предпочел, чтобы в своей книге ты обошелся без него.

— Это скромность?

— Нет, просто это уже не обо мне. О моих поклонниках, о прессе... Если хочешь, о моем двойнике. Всё, чего я достиг — не только в музыке, вообще, — всё уже случилось до этого. То, о чем ты говоришь, — образ.

— Неплохо. Но это же *твой* образ.

— Он от меня отделился. — Поднимаю указательный палец. — Так же примерно, как дым от твоей сигареты. На что, скажи, Нестор, похоже это облако?

Нестор внимательно всматривается в зависший над столиком клуб дыма.

— Пожалуй, на известного музыканта, — он делает новую затяжку. — Дипломированного филолога.

— Вот видишь. А мне кажется, что похоже оно на одного известного писателя. Подозреваю, облако напоминает всех известных людей одновременно. Но к нам с тобой отношения не имеет.

Нестор отпивает из кружки и проводит языком по губам.

— Глеб, дорогой, меньше всего я хотел бы, чтобы моя книга была историей успеха. Успеха в смысле *success*. Это было бы слишком просто.

— Тем более что жизнь никогда не бывает историей успеха. — Поднимаю кружку. — *Prosit!*

— Даже твоя?

— Моя — особенно.

1983

Поверженные идолы имеют свойство мстить. В этом ряду не оказался исключением и Ленин. Разбитый вдребезги и даже измельченный, он восстал из праха

1 сентября 1983 года, когда первый день занятий на филфаке решили открыть *ленинским уроком*. Такие уроки в школе были делом обычным, но университетская программа до сих пор ничего подобного не предусматривала. Причиной затеи стала, возможно, неуверенность, возникшая в партийных головах со сменой генсека партии. Пришедший к власти Андропов обнаруживал не больше признаков жизни, чем его предшественник Брежнев. В этой ситуации было решено обратиться к тому, кто имел статус вечно живого. Ленинский урок на филфаке вел некто Бурцев, преподаватель научного коммунизма, именовавшегося студентами антинаучным. В глубине души Бурцев догадывался, что такое название не лишено оснований, и с годами эта догадка привела преподавателя к раздвоенности и ожесточению. Говорили, что единственной его любовью были жирные двойки на экзамене, ставившиеся им направо и налево. Они не зависели ни от знаний отвечавшего, ни от его идеологической крепости. Колеблющиеся получали их за свои колебания, а убежденные — напротив, за убежденность, поскольку нельзя же, злобно думалось Бурцеву, быть идиотом и верить в сказки. Встречу со студентами он почему-то начал с критики религии. Бурцев, возможно, критиковал бы что-нибудь еще (критиковать он любил), но вынужденно ограничился дозволенным. После развернутого вступления он принялся приводить статистику расстрелов Лениным *церковников*. Пока слушатели раздумывали над тем, в этом ли состоял ленинский урок, Бурцев перешел к третьей части мероприятия: каждый должен был встать и сказать, верит ли в Бога. Расстрел признавшимся, безусловно, не грозил, но исключение из университета вы-

глядело вполне реальным. Что касается Глеба, то исключение автоматически оборачивалось для него еще и отправкой в армию. С холодом в желудке он осознал, что обмен мнениями потерял академический характер. Здесь было о чем подумать, только вот времени на размышления почти не оставалось. Однокурсники вставали один за другим и говорили, что в Бога не верят. Отречение началось с первого ряда, а Глеб в этот раз сел на последний. В его голове включился секундомер, удар в удар совпадавший со стуком в висках. Отец Петр рассказывал: от первых христиан требовалось только одно — на вопрос *веришь ли?* ответить *нет*. А потом верь себе потихоньку, в награду — целая жизнь. Отвечали *да*: жизнь после *нет* лишалась для них смысла. Глеб зачем-то посмотрел на свою соседку Дашу Перевощикову, приехавшую из неведомой Тотьмы. Тотьма — то тьма, говорила Даша о своей малой родине. Она спокойно наблюдала за происходящим в аудитории. Спокойствие незамутненности, раздраженно подумал Глеб, уж она-то скажет. Пропоеет, может быть. Не понимаю, мол, как это можно в Бога верить. А он понимает, но не знает, признается ли. Потому что тот же отец Петр говорил: суждение можно выносить лишь о человеке в его естественном состоянии. Говорил: нельзя предъявлять человеку счет, если он был под пыткой. А сейчас не пытка ли? Как в замедленной съемке встает Даша, он следующий. В Бога — верю, как же не верить? Это говорит не он — Даша. Бурцев не реагирует. Со скучным лицом ищет что-то в бумагах. В дверях возникает секретарша декана: Геннадий Николаевич, вас просят срочно зайти в деканат. Бурцев кивает. Выходит. До конца пары уже не появляется. Что это было,

задавал себе позже вопрос Глеб. Чудо? А крашенная блондинка из деканата — его инструмент, Ангел Златые волосы? В конце концов, что нам известно об ангелах? Да, это было чудо. Фамилию той, что спасла его, Глеб узнал, ставя в деканате печать: Крылова. Так начинался третий курс. В тот год Глеб увлекся Бахтиным. Теперь он всё знал о карнавале и о Рабле, о том, чем повествователь отличается от автора, но особенное впечатление (и этого следовало ожидать) на него произвела работа Бахтина о полифонии в романах Достоевского. Полифония его интересовала еще в музыкальной школе, но — только в отношении музыки. Теперь же он открыл для себя, что полифоничен весь мир. Многоголосы шум деревьев в роще, движение автомобилей по улице, разговоры в очереди. Глеб думал о том, как это можно было бы выразить в курсовой работе. На третьем курсе у студентов филфака начиналась специализация, и они должны были выбрать между языком и литературой. Глеб выбрал литературу. Более того, сам нашел себе и руководителя курсовой, который, по его мнению, соответствовал задачам задуманного исследования. В отличие от многих своих однокурсников, стремившихся писать под руководством профессоров, Глеб попросил назначить ему руководителем аспиранта Ивана Алексеевича Сергиенко. Иван Алексеевич был вчерашним студентом, отличался редкой эрудицией и, что немаловажно, литературными именем и отчеством. Как ни странно, человека с такими профессиональными достоинствами Глеб выбрал в наставники за качество, к литературе отношения не имеющее: Иван Алексеевич играл на гитаре. Не то чтобы был виртуозом, но играл с чувством и был душой компании. Играл и пел — Окуджаву, Высоц-

кого, Кима. В проверенных компаниях — Галича. Носил он не бесформенные профессорские костюмы, а элегантную тройку. Одно время появлялся в шейном платке, но после строгого замечания декана вернулся к обычному галстуку. Только такой человек и мог иметь правильное представление о полифонии. К тому же мог ее защитить. Однажды в присутствии Глеба к Ивану Алексеевичу подошел доцент Чукин и назвал полифонию лжеучением. Свою научную карьеру Чукин построил на споре с Бахтиным. Полемика с покойным оппонентом была удобна и напоминала шахматную партию с самим собой. Придумывая ходы за противника, Чукин разъяренным ферзем носился по доске и сносил у него фигуру за фигурой. Наблюдая за бесконечным сражением Чукина, многие стали его побаиваться. Но не Иван Алексеевич. Он остроумно отвечал Чукину на все его антибахтинские речи. Когда же дело дошло до французских постструктуралистов, Бахтина развивавших, Чукин стал ощутимо сдуваться: у Глеба возникло стойкое ощущение, что тот их работ не читал. Глеб их, правда, тоже не читал, но ведь и с Бахтиным не спорил. Кончилось тем, что Чукин обвинил Ивана Алексеевича в пристрастии к буржуазным теориям и низкопоклонстве перед Западом. Помолчав, руководитель Глеба заметил, что имеет еще один веский аргумент, который может предъявить Чукину наедине. Заинтригованный Чукин удалился. С тех пор Глеб не раз встречал его в факультетских коридорах, но тема Бахтина уже не возобновлялась. Выходило так, что Ивану Алексеевичу удалось Чукина убедить. Спустя время Глеб спросил у руководителя, каким был его решающий аргумент. Тот ответил, что аргумент был экстрали-

тературного свойства. Не будучи силен в терминологии, Глеб лишь понял, что доказательство было веским, и начал учителем гордиться. Глебу нравилось еще и то, что, в отличие от руководителей-профессоров, Иван Алексеевич не донимал его строгим контролем. Встречались они довольно редко — и не на кафедре, а в пивной *Бригантина*. Наставник довольствовался устными сообщениями подопечного. Слушал внимательно, иногда перебивал, переспрашивал. И всегда давал хорошие советы. Случалось, что внимание Ивана Алексеевича становилось всепоглощающим, его застывшие глаза фокусировались на одной точке — чаще всего на люстре, выполненной в виде корабельного штурвала. Порой он замечал, что штурвал вращается, и сообщал об этом официанту Леше, белокрысому малому с отсутствующим на правой руке указательным пальцем. Леша сокрушенно кивал головой и призывал его больше не пить. Намекая на потерянный палец, Иван Алексеевич заявлял, что в Лешинем положении не стоило бы никому ничего указывать. Спустя какое-то время он останавливал отчет Глеба и вызывал Лешу, чтобы справиться, правильным ли курсом идет *Бригантина*. Так точно, капитан, отвечал хитрый Леша, поскольку знал, что это отразится на чаевых. В такие дни Иван Алексеевич был немногословен, не давал советов, лишь молча прихлебывал пиво. Очень скоро становилось понятно, что пиво было завершающим звеном в цепи, имевшей свое начало еще в утренние часы. Но Глеб был рад и этому молчаливому вниманию, потому что оно было неизменно доброжелательным. Тогда он позволял себе излагать самые смелые идеи, твердо зная, что и они будут приняты без возражений. Глеб видел полифонию не только

в параллельных голосах героев, но и в противопоставленных сюжетах, в разновременных линиях повествования, точка соединения которых может находиться как в тексте произведения, так и вне его — в голове читателя. Молодой исследователь не всегда мог назвать примеры подобных произведений, но в лучшие свои вечера руководитель подсказывал ему эти примеры и даже называл посвященные им научные работы. В один из таких вечеров Глеб повторил свой вопрос относительно решающего аргумента Чукину. Тщательно обдумав вопрос, Иван Алексеевич ответил: я просто дал ему в морду. Он поднес зажигалку к потухшей сигарете. Читайте, друг мой, постструктуралистов — и вы избежите многих бед. Вообще говоря, лучшими вечерами Ивана Алексеевича были те, когда на встречи с Глебом он приходил не один. Сопровождали его, как правило, молодые преподавательницы или студентки. В их присутствии Иван Алексеевич блистал эрудицией и остроумием, цитировал по памяти страницами, и вне зависимости от количества выпитого взгляд его не замирал в одной точке. Вполне вероятно, дамы приводились им нарочно, поскольку что же может быть лучшим фоном для учителя, чем присутствие ученика. Глеб понимал, что научный руководитель *распускает хвост* перед дамами, но это его ничуть не раздражало: хвост Ивана Алексеевича был прекрасен. Кроме того, наличие спутницы предполагало продолжение вечера. Из одного бара перемещались в другой, и у Ивана Алексеевича не оскудевало остроумие, а главное — кошелек, потому что за всё платил только он. Глеб несколько раз пытался войти в долю, но Иван Алексеевич напомнил ему, что в данном случае имеет место учебный процесс,

за который он, как руководитель, несет полную (в том числе финансовую) ответственность. Это был самый радостный, но вместе с тем и плодотворный учебный процесс в жизни Глеба. Много из того, что говорил Иван Алексеевич, он записывал, так что соседствовавший с пивом блокнот ни у кого не вызывал удивления. При этом самоотдача руководителя достигала порой той степени, когда без посторонней помощи он был уже не в состоянии добраться домой. Не раз и не два Глеб помогал дамам Ивана Алексеевича усаживать его в такси и по ночному Питеру мчался с ними на Четырнадцатую линию Васильевского острова. Подняв руководителя на пятый этаж, прощался. На предложение остаться до утра отвечал вежливым отказом. Объяснял, что от Четырнадцатой линии до Мытнинской набережной совсем недалеко. И это было бы действительно недалеко, если бы не мосты. Часто Глебу приходилось ждать их сводки — промежуточной или окончательной — но его это не очень огорчало. Глядя на черную громаду моста, он понимал, что эти ночи запомнятся навсегда, и сердце его сжималось от будущих воспоминаний. Знал, что вспомнит клетчатую скатерть с кругом, оставленным запотевшей кружкой, расшатанные венские стулья, громкое чоканье и хохот в зале. Лет, например, через тридцать — все ли они будут хохотать? И если да, то — где?

20.10.13, МЮНХЕН

Полулежу на диване, замкнув на затылке руки. Катя на винтовом стуле у компьютера, палец на мыши. Покусывая губы, двигает на экране текст.

— Завтра последний теплый день. А потом, между прочим, зима... — Вздохнув, сворачивает экран. — Зима, Глеб.

В окне соседнего коттеджа отражается красный вечерний луч. По-футбольному, в одно касание, перелетает в гостиную Яновских. Дрожит на потолке. Говорю:

— Напиши Майеру, что я отменяю берлинский концерт. — После паузы: — Что отменяю концерты вообще.

Катя на стуле делает пол-оборота. Молча смотрит на меня.

— Ну что ты глаза вытаращила! — Бросаю взгляд на Катю и меняю тон. — Напиши...

Катя открывает на компьютере почтовую программу.

— Ты будешь указывать причину?

— Обойдемся без причины... — Подхожу к окну. — Причина в том, что я больше не могу играть! Не могу, понимаешь?

— Знаешь, даже с болезнями бывает по-разному. Известны случаи, когда все проходило само собой.

Смеюсь громко и неестественно.

— Я репетировал вчера четыре часа — сплошная лажа. Ты слышала это бульканье? Слышала ведь: когда ты подходишь к двери, громко скрипит пол. А знаешь, почему скрипит? — Направляюсь к книжному шкафу и, отодвинув том Гете, двумя пальцами достаю фляжку. — Потому что от алкоголя толстеют. Я знаю все твои заначки.

— Я старая толстая пьяница. Если тебе от этого легче...

Она произносит это почти шепотом. Пристально всматривается в экран. Кладу Кате руки на плечи и прижимаюсь лбом к ее макушке.

— Прости меня. Ты не старая и не толстая. Но — пьяница.

Катя накрывает мои ладони своими. Смотрит на меня снизу вверх.

— Две недели я, Глебушка, к спиртному, считай, не прикасалась. Не заметил?

— Нет, потому что вчера от тебя несло.

Компьютер сигнализирует о получении почты. Катя касается мыши, и погасший экран загорается.

— Вчера я выпила, когда услышала твою игру... Письмо от Анны Авдеевой.

Я возвращаюсь на диван.

— К черту Анну Авдееву. Пиши Майеру.

— Она указывает свою девичью фамилию.

— К черту девичью фамилию.

— Смешная фамилия: Лебедь.

Провожу руками по лицу. Кожа вытягивается, как резиновая маска.

— И что же, интересно, пишет Анна Лебедь?

— «Дорогой Глеб, несмотря на прошедшие годы, надеюсь, ты меня вспомнишь. Уверена, что вспомнишь, хотя воспоминания твои будут, вероятно, не самыми приятными...»

— Не самыми. А стиль — просто тургеневский, вот дура.

— Сейчас... Было три замужества, но всё не удалось родить ребенка... — Катя бросает на Глеба короткий взгляд. — Так. Выйдя замуж в третий раз, переехала в Ленинград. Родила девочку, зовут Вера... Вскоре после рождения Веры муж умер...

— Да зачем мне вся эта муть? В корзину!

— Подожди... У Веры начались проблемы с печенью, и недавно был поставлен диагноз: рак. — Какое-то время Катя продолжает читать письмо про себя. — Девочке тринадцать лет. Анна пишет, что она учится в музыкальной школе. Фортепиано. Удивительно способная...

Внимательно смотрю на Катю.

— Анна — моя первая женщина.

Катя продолжает скользить глазами по строкам.

— «После нашего расставания обращаться к тебе, наверное, неприлично, но я уже не думаю о приличиях. Хватаюсь за любую возможность...» Она просит о помощи, Глеб.

Удивительно способная. А для каких родителей их ребенок не способный? Пожалуй, только для моего отца.

— Что мы можем для нее сделать?

— Пока — ничего, но может понадобится пересадка печени.

Я смотрю, как садовник закатывает тележку в сарай. Выйдя наружу, медленно стаскивает перчатки.

— Мы ей поможем, Глеб?

— Ты этого хочешь?

— Да.

— Тогда напиши ей, что поможем. Только от своего имени.

1983–1984

Новый, 1984 год Глеб встречал в Ленинграде. Впервые в жизни это происходило не дома. Утром 31 декабря Глеб сдал последний зачет и прямо из универси-

тета отправился в аэропорт, надеясь улететь в Киев. Увы, билетов не было. По дороге в общежитие попытался купить шампанского, но и здесь ему не повезло. Глеб проникся уверенностью, что и то, и другое (так уж устроена жизнь) отправилось в одни и те же руки. Очень даже хорошо представлял себе, как эти счастливицы, подлетая к Киеву, чокаются шампанским. Общежитие было полупустым. Соседи Глеба (теперь это были студенты из Новгорода) уехали, соответственно, в Новгород. До своей малой родины они добирались на электричке за три часа, и воздушное сообщение им совершенно не требовалось. Глеб не был даже уверен, что между Ленинградом и Новгородом оно существовало. Растянувшись поверх покрывала, вспомнил, как еще неделю назад новгородец Валя говорил новгородцу Косте, что по случаю достал две бутылки шампанского. На Костино предложение немедленно их выпить Валя строго сказал, что повезет шампанское домой. Костя помолчал и с холодным достоинством посоветовал ему хранить бутылки в холодильнике. Уже в полусне Глеб успел удивиться тому, насколько всё же предусмотрительны новгородцы. Проснувшись, долго не мог понять, который час: не заведенные вчера часы остановились. Пол-одиннадцатого, подсказали из коридора, уже, блин, опаздываем. Хлопнула дверь, и послышались шаги, сопровождаемые бутылочным звяканьем. Глеб с грустью подумал, что он, увы, не опаздывает. Сев на кровать, покачался, и жалобно отозвались пружины. Свет в комнате был выключен (когда Глеб засыпал, был день), но потолок отражал уличные фонари. Лунное их мерцание было еще печальнее скрипа пружин. Оно освещало календарь с видами Киева, висевший над

Глебовой кроватью. Киевские виды не радовали. Напоминали о недостижимости города, в котором, сложись всё иначе, он мог бы сейчас быть. Жалкий эрзац действительности, нарисованный очаг в каморке папы Карло. Глеб решительно встал и включил свет. За дверью раздались негромкие шаги. Это не были шаги того, кто куда-то спешит: их ритм вообще не свидетельствовал о наличии цели. Они заинтересовали Глеба и даже рассмешили его. Прислонясь спиной к двери, он попытался представить себе человека, неуверенно — может быть, даже крадучись — идущего по коридору. Неизвестный останавливается у дверей — очевидно, всматривается в них. Глеб почувствовал беспокойство. Что можно рассматривать в дверях? Замки! Воспользовавшись пустотой общежития, здесь расхаживает вор... Глеб резко открыл дверь и увидел в коридоре девушку. Неожиданное появление Глеба ее испугало. Он узнал ее: это была Катарина, немка из Восточного Берлина. Училась на русской филологии, курсами двумя младше. Они не были знакомы, и вряд ли Катарина имела о нем представление, но Глеб ее знал, потому что высокую худую немку знали все: иностранцы в университете были редкостью. Впрочем, дело было не только в том, что — иностранка. Катарина была примечательна сама по себе: светлые прямые волосы, подростковая мультяшная походка, на готическом лице — чуть вздернутый нос. За глаза ее называли Вешалкой, и не сказать чтобы беспочвенно: недоброжелательность имеет острый глаз. Помимо черт Катаринины прозвище отражало обиду тех, кто был ею отвергнут. Несмотря на забавную внешность (на самом же деле благодаря ей), у немногочисленных филологических юношей Ка-

тарина пользовалась успехом. Все, однако, знали, что в Берлине у нее жених, которому она хранит верность. Это вызывало законное уважение, но не могло не раздражать. Вот такая Катарина стояла сейчас перед Глебом. Смущенно улыбалась: первый страх ее прошел. Искала подругу... Должна была отмечать Новый год с друзьями моих родителей, но они заболели — *гриппе*. Гриппе — это плохо, согласился Глеб. Родители просили не праздновать в общезжитии. Сказали, что там такое пьянство и такое свиньство... А тут пустота, Глеб обвел взглядом коридор, ни пьянства тебе, ни свиньства. Зкушно, засмеялась Катарина. Не то слово, подтвердил Глеб. Она махнула рукой: у меня всегда не то — еще плохо знаю русский. Да нет, нормальный у тебя русский, вполне даже о'кей. Глеб изобразил раздумье. Спиртного у меня как-то вот не образовалось, но готов пригласить на чай, можем отметить Новый год чаем. А *з*ахар есть? Глеб опустил голову, боясь, что Катарина увидит в его глазах что-то не связанное с сахаром. Есть. Тогда мошем отметить. В ее голосе слышалась улыбка. Глеб поднял глаза — так и есть. Она все время улыбается. Впуская ее в комнату, сказал: у тебя замечательная улыбка... Пауза. Правда? На этот раз она не улыбнулась, и Глеб подумал, что всё испортил. Засуетился, отыскал в тумбочке пачку быстрорастворимого рафинада и положил ее на стол — крышкой рояля топорщился неровно оторванный картон. Рафинад как доказательство чистоты намерений. Белизны, так сказать, помыслов. Сейчас она спросит, кто так варварски открывал пачку. Русише арбайт. Нет, спросила, есть ли что-то кроме сахара. Кивнул: конечно, есть что-то — хлеб, колбаса. Лиchorадочно припоминал. Грибы, например, марино-

ванные... Катарина сказала, что и у нее тоже что-то есть, сейчас принесет... Всё понятно. Испугалась. Зачем он сказал ей про улыбку? Испугалась и нашла предлог, чтобы уйти: у нее, понятное дело, жених в Берлине, а тут на ночь глядя начинаются комплименты. Провожая взглядом Катарину, Глеб загрустил. Взял гитару, начал перебирать струны. Показалось, что шаги за дверью, — нет, за окном... Времени, чтобы дойти до любой комнаты и вернуться, прошло достаточно — можно было бы это сделать уже раз десять. Дождаться бессмысленно. Глеб положил гитару на кровать, включил радио, чтобы не пропустить Новый год. Послышалось легкое царапанье по двери. Катарина... Катарина! Стояла с пластиковым пакетом — настоящая Снегурочка, просто-таки Шнеемедхен. Теперь она и одета была по-другому, и пахло от нее не по-здешнему — не *Красной*, к примеру, *Москвой*, которой душилась бабушка Глеба. Вот отчего она так долго собиралась. Войдя в комнату, стала выкладывать на стол немецкую провизию. Как много всего, восхитился Глеб. Ответила, что это ее маленький пардон за то, что задержалась. Глеб открыл холодильник и снял со своей полки литровую банку с грибами. Поставив банку на стол, осознал, что заметил в холодильнике нечто неожиданное. Второй подход к холодильнику всё прояснил. На полке новгородца Вали лежали две бутылки шампанского: собирая дорожную сумку, о шампанском Валя забыл. А я тоже не терял времени даром — Глеб сказал это спокойно, как и полагается настоящему фокуснику. По щелчку правой руки в левой возникла бутылка. Неужели шампанское, изумилась Катарина. Нет, замотал головой Глеб, два шампаньских. Катарина открыла холодиль-

ник. Признайся, что они у тебя были! Глеб всё еще хранил серьезную мину. Нет, у меня их не было, точнее, их не было у *меня*. Катарина сказала, что одной бутылки хватит, и Глеб тут же согласился. Конечно, хватит. Главное, чтобы она не подумала, что начинается *пьянство*. Когда по радио стали передавать поздравление генсека, Глеб начал открывать бутылку. Он сделал это без хлопков, чтобы ни у кого не возникло сомнений в мирном характере вечера, но Катарина выразила разочарование. Шампанское, по ее мнению, следовало открывать шумно. Глеб извинился и пообещал, что вторую бутылку откроет именно так. Только этого Катарина уж никак не хотела, поскольку тогда началось бы понятно что. Когда поздравление закончилось, Глеб налил шампанского в две темно-синие эмалированные кружки. Имелись еще граненый стакан и пол-литровая чашка с видом новгородского кремля, но эти емкости Катарина отвергла как непарные. Кружки же были настоящими близнецами (родинкой, различавшей их, был скол эмали на одной), издававшими при чоканье жестяной звук коровьего ботала. Он раздался за секунду до боя курантов, когда Глеб и Катарина проводили старый год. Под гимн Советского Союза жестяной звук повторился: теперь они встречали наступивший год. Зазвучала советская эстрада. Прослушав с полной серьезностью несколько песен, Катарина показала на гитару: сыграешь? Добавила: слышала, что ты хорошо играешь. Глеб удивился, но не подал вида. Оказалось, Катарина знала о нем больше, чем можно было ожидать. Он выключил радио и взял гитару. Взглянул на Катарину не без гордости, ее слова всё еще звучали в его ушах — может, она и о том, что он здесь, знала? Может, и по кори-

дору ходила не случайно? Заиграл. Нарочно выбрал пару сложных пьес, чтобы продемонстрировать технику. Интересно, может ли так ее жених? И вообще — играет ли он на гитаре? Очень Глеб в этом сомневался. С этими мыслями он перешел к вещам простым и мелодичным. Когда играл *Историю любви*, Катарина напела по-английски слова. Сначала — тихо, стесняясь, но, когда Глеб вступил со своим *гудением*, стала петь в полный голос. Такого голоса Катарина он еще не слышал — сильного, низкого. Внезапно она оборвала пение и сказала, что хочет выпить за Глеба, потрясающего музыканта. Чувствуя, что краснеет, он разлил остатки шампанского по кружкам. Катарина бросила короткий взгляд на пустую бутылку, и Глеб подумал, что сейчас она откажется от своего тоста. Не отказалась. Потом принялась резать принесенную салями. Глеб спросил, не из Берлина ли такая красота. Когда Катарина ответила утвердительно, он уточнил, подарок ли это жениха. Она сдержанно улыбнулась: а что, в СССР невестам дарят салями? Через секунду сдерживаться стало невозможно — она раскладывала аккуратно нарезанные кусочки по тарелке, и ее трясло от смеха. Впоследствии Катарина признавалась, что не игра на гитаре, не гудение Глеба — окончательно ее покорило колбасное изделие как мостик к главному вопросу. Она ответила, что жених здесь ни при чем. Потому что жениха нет. Глеб испытал прилив счастья и даже не стал спрашивать, почему его нет. Главное — нет. А может, и не было. Придуман как отговорка для поклонников. Катарина, спросив разрешения, сняла со стены календарь. Села на кровать Глеба, начала листать. Расскажи мне о Киеве. Глеб сел рядом. Следил за руками Катарина, за тем, как подрагивали ее рес-

ницы. Это университет. Почему такой красный? Не знаю, с детства привык, что он такой, при слове *университет* всегда представлял что-то красное, само даже слово было красным. По красному зданию скользили бледные пальцы Катарины. Глеб уже не осмеливался поднять глаза, и смотрел только на них, и любил их бесконечно. Накрыл их своей ладонью — Катарина не отняла руки. Ее пальцы дрожали. Чуть сжал их — едва-едва, только чтобы успокоить. Почувствовал, как они с Катариной превращаются в одно целое, прижался лбом к ее плечу. Катарина наклонилась к нему, он ощущал ее дыхание. Не ощущал своего... Можно я тебя поцелую? Возникшую паузу заполнила машина за окном. Я никогда не селовалась. Глеб медленно поднял голову и коснулся губами ее полураскрытых губ. Какой уж тут жених... Календарь безвольно соскользнул на пол.

01.12.13, МЮНХЕН

Катя за рулем, рядом с ней я. На заднем сидении Нестор и Ника. Мы направляемся в наш альпийский дом, где намерены провести несколько дней. Машина поднимается по серпантину, и Нестор чувствует себя неважно. Его побелевшие пальцы сжимают ручку над окном. Ника гладит Нестора по колену. В зеркале заднего вида — тревожный взгляд Кати.

— До дачи осталось минут двадцать, но мы можем остановиться.

— Лучше остановиться... — Нестор произносит это, почти не разжимая губ. Пытаясь улыбнуться.

На ближайшем изгибе серпантина машина с шорохом выкатывается на гравий. Нестор и Ника вы-

ходят. В руке Ники пачка бумажных платков: она ожидает худшего. Нестор дает успокоительный сигнал. Он захлопывает дверь и прислоняется к ней спиной. Дышит глубоко, открытым ртом. Я опускаю окно.

— Начало зимы, а погода как в начале осени, — докладывает Ника.

Дотягиваюсь рукой до Нестора.

— Легче?

— Значительно. — Нестор делает еще один глоток воздуха и с сожалением садится в машину.

Сделав последний виток по серпантину, мы въезжаем в альпийскую деревушку. У массивных кованых ворот Катя нажимает на пульт, и они бесшумно открываются. Нестор оживает на глазах. Интересуется, какого века дом. Катя отвечает, что шестнадцатого (по случаю купили). Нестеровы восхищаются, у них такого случая не было. Дом действительно хороший: просторный, двухэтажный, с мансардой под двускатной крышей.

Гостей размещаем в мансарде. Принимая душ в отделанной мрамором ванной комнате, Нестор находит, что по части комфорта шестнадцатый век не уступает двадцать первому. За ужином он интересуется, *что* в этом доме осталось первоначального.

— Стены, — отвечает Катя. — А еще двери и замки.

Она подводит гостей к входу и показывает им причудливый механизм на внутренней стороне двери. Замок кажется в чистом виде орнаментом, бесполезным, как всякая красота. Катя снимает с гвоздя циклопических размеров ключ и исчезает за дверью. Орнамент приходит в движение, скрежет его музыкален.

Во время ужина в камине потрескивают поленья — как всё в этом доме, огромные. Стулья — троны, бокалы — кубки. Вино в трехлитровом кувшине. Таким он нам достался.

— Чувствуешь себя как в кино, — говорит Нестор. — Сейчас должен войти дворецкий и внести свечи.

Катя выходит и через минуту появляется с двумя канделябрами:

— Наш дворецкий — это Геральдина, но она осталась в городе.

— Если хочешь, мы представим, что ты Геральдина, — предлагает Нестор.

Ника улыбается:

— Для Геральдины у нее недостаточно обиженный вид.

В зале жарко, и Катя открывает окно. Подносит палец к губам. В наступившей тишине оттуда доносится звук ботала.

— Коров здесь на ночь не загоняют. — Катя выглядывает в окно. — Трава в декабре... Сама бы паслась.

Ника становится рядом с ней у окна.

— Я бы тоже.

— Будем вместе. — Катя оборачивается к мужчинам. — Только не называйте нас коровами.

— А мы будем вам звенеть, — добавляет Ника. — Волшебный звук.

— Звук жестяной кружки. В нашу первую ночь Глеб поил меня из такой кружки шампанским.

Смотрю из-за Катиной спины в окно.

— Ты так говоришь, будто я тебя спаивал.

Катя наливает себе вина из кувшина.

— Нет, я сама этого хотела. И давно хотела с тобой познакомиться — не знал? Я увидела, как ты

возвращаешься в общежитие из аэропорта, — кто-то говорил, что ты хотел улететь в Киев. Поняла, что не улетел. Я не знала, где ты будешь праздновать... — Катя делает большой глоток. — Вдруг взяла и позвонила тем, у кого должна была встречать Новый год. Душноватая такая пара... Сказала, что заболела.

— Гриппе, — уточняю. — Ты, Катька, оказалась хитрее, чем я думал. А я так боялся, что ты не вернешься.

— Это правда, — она поворачивается к Нестору и Нике. — Мой мальчик очень волновался... Так ведь и я волновалась, и мой русский меня не слушался, а потом почувствовала, что это ему нравится.

— Да, наутро твой русский стал гораздо лучше.

— Он вообще был неплохим, мой русский.

— Не обольщайся.

— Ну, может, небольшие проблемы с произношением... Глеб говорил: различай мягкие и твердые согласные, помни, что с перед гласными не озвончается! А у меня озвончалось, как в немецком. — Не глядя на меня, Катя снова наливает себе из кувшина. — Дразнил меня... Как ты меня дразнил, Глебушка?

— *Не слышны в задку даже шорохи.* Ты, кстати, так и пела.

— Звучит неплохо. — Нестор закуривает у окна. — Так даже гораздо лучше, а Ника?

— Никакого сравнения.

Катя отпивает из бокала.

— Катюш, тебе достаточно.

Протягиваю руку к Катиному бокалу, но она его не отдает.

— Жаль, что ты не говорил мне этого в нашу первую ночь. — Голос Кати становится сварли-

вым. — Бутылку шампанского распили на одном дыхании. Без воспитательных моментов.

— Там было две бутылки, — подсказывает Нестор.

Катя наливает себе сока.

— Вторая бутылка — отдельная песня. Когда Глеб стал ее открывать, она просто взбесилась. Я никогда еще не видела столько пены.

— Может, это был огнетушитель? — догадывается Ника.

— Нет, это было *Советское шампанское*. Я попытался его заткнуть, — беру бутылку колы и закрываю горлышко пальцем, — вот так...

— ...и направил струю на меня! Мама моя!

— Я так и не понял, что произошло, — бутылка была из холодильника, ее никто не тряс, но из нее било, как на «Формуле-1».

— В итоге я оказалась мокрой с ног до головы — мокрой и липкой!

— Шампанское, получается, было сладким, — делает вывод Нестор. — На худой конец, полусладким.

— Я хотела пойти в душ и переодеться, но Глеб сказал, что в таком виде нельзя появляться в коридоре...

— Катюша...

— Он был чертовски убедителен, и я стала мыться в комнате у раковины. Мальчик целомудренно отвернулся. Я дрожала от холода, он предложил мне завернуться в одеяло, и мы пили чай. И я всё равно не могла согреться...

— Мне кажется, — кладу руку на Катино плечо, — мы и сейчас можем выпить чаю...

— Вспоминал ли ты всё это, когда трахал свою Ганну?!

Катя сбрасывает мою руку и поочередно задувает все свечи. Рыдает сдавленно и без слез. Ника, обняв Катю, уводит ее в спальню. Мы с Нестором молча наблюдаем за тем, как от свечных фитилей поднимаются струйки дыма.

1984

1 января Глеб и Катарина проснулись в одной постели. С этого дня жизнь их совершенно изменилась: они не расставались не только в начавшемся году, но и все последующие годы. Проснувшись в два часа пополудни, Катарина шепотом попросила называть ее Катей. Степень ее слияния с Россией оказалась столь глубока, что носить прежнее имя она уже не могла. После завтрака пара отправилась на прогулку. Шли, втянув руки в рукава. С хрустом наступали на серпантин и конфетти, рассыпанные по снегу в честь их внезапной встречи. Снег был утоптан, несвеж, нечист, но это был праздничный снег. Изредка пролетали снежинки, мелкие и колючие. На мосту Глеб дышал Кате на ладони, любовался ее длинными пальцами. Спросил, училась ли она музыке. Нет, не училась. Под Катиными ладонями по-детски болтались на резинке варежки. Глеб надел ей варежку на правую руку, а левую она засунула в карман его куртки. Он сжимал Катину руку и задыхался от счастья. Задыхался потому, что счастье было огромным и парообразным, оно в нем уже не помещалось, и избыток его выходил летучими облачками при всяком выдохе. Он мысленно благодарил Бога за подарок — другого слова не находил, потому что такими неожиданными и прекрасными

бывают только подарки. Глеб не уставал изумляться тому, как чужой еще вчера человек сегодня стал близким. Стал частью его *я*, и теперь он любил Катю двойной любовью — как ближнего своего и как себя самого. Слово подвело Глеба, оно не справлялось с охватившей его любовью. Ему хотелось выразить свое чувство действием, и постель была для этого слишком мала, хотелось что-то совершить — может быть, даже пострадать. Неудивительно, что вскоре представился и случай. Он возник в лице Дуни, расставшегося к тому времени с Лидой и даже успевшего, как выяснилось, обратить внимание на Катю. Именно ему было сказано, что у Кати есть жених, поскольку Катино добросердечие не позволило ей открыть простую, в сущности, причину отказа: Дуня ей не нравился. Известие о новой паре разнеслось по факультету мгновенно. Дуня почувствовал себя обманутым и пришел в ярость. Он по-прежнему приветливо здоровался с Глебом, но час его мести был недалек. Выбрав момент, когда Глеб с Катей стояли в толпе студентов, подошел к ним и, улыбаясь, сказал, что на *Вешалке* уже, оказывается, кто-то висит. Стоявшие притихли. Глеб молча смотрел на Дунину улыбку и не находил в ней естественности — губы Дуни дергались. Глеб отвернулся, ссутулился и в сравнении с мощным Дуней стал еще меньше. Все поняли, что он уходит, ему освободили дорогу. Распрямляясь в повороте, Глеб нанес Дуне удар снизу в челюсть. Дунины ноги разъехались, и он осел на пол. Глеб занес руку для нового удара, но Дуня вяло помахал ладонью: продолжение отменялось. Сидел бесформенный, близкий к обмороку, бессмысленно глядя перед собой. Когда скорая увезла Дуню в больницу, выяснилось, что у него слома-

на челюсть. При записи в приемном покое на вопрос о причине травмы Дуня благородно ответил, что упал с лестницы. Врач с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. На следующий день Дуню навестили Глеб и Катя. Они принесли ему овощное пюре и попросили прощения. Дуня жестами показал, что прощения должен просить он. Дальше повисло молчание, потому что Дуня, обычно разговорчивый, мог участвовать в беседе преимущественно в роли слушателя. В немой его жестикуляции чувствовалась некая избыточность, что-то он, видимо, все же мог сказать, но по большому счету говорить было не о чем. Чтобы заполнить паузу, Глеб рассказал анекдот о том, как в больницу привезли человека с ножом между ребрами. Что, больно, спросил его врач. Нет, ответил он, только когда смеюсь. Анекдот оказался в высшей степени уместен: Дуня засмеялся — и тут же схватился за челюсть. Кроме того, при упоминании о ноже у него мелькнула мысль о том, что по русским меркам он легко отделался. Ко всеобщему облегчению, минут через пять больной был отправлен на процедуры. Когда Дуню выписали из больницы, Катя продолжала готовить ему пюре и супы. Впрочем, уже через неделю, движимая жалостью к пострадавшему, ее сменила студентка Политехнического института. Можно было бы сказать, что Глеб и Катя были вновь предоставлены сами себе, если бы не два Глебовых соседа, еще третьего января вернувшиеся на свои койки. Объяснений удалось избежать, выпитое (и невыпитое) шампанское было вскорости возмещено, и только с присутствием в комнате новгородских студентов поделаться ничего было нельзя. Глебу казалось, что никогда еще они не присутствовали так

неутомимо, чаще всего вдвоем, на худой конец — сменяя друг друга. Катина соседка была, говоря в рифму, тоже домоседка, так что возможностей для любовных встреч паре выпадало совсем немного. На гостиницу денег не было, но даже если бы и были, это ничего бы не изменило: разнополых постояльцев пускали только со штампом о браке в паспорте. Таких штампов у Глеба с Катей, понятное дело, не имелось. Почти все время они проводили вдвоем, и местом их встреч были набережные Невы, дешевые кафе и коридоры общежития, где, прислонясь к стене, они вели полушепотом долгие вечерние беседы. Эти недели вынужденного воздержания Глеб вспоминал потом как счастливейшее время своей жизни. Никогда больше их чувства не были так тонки и звенящи, никогда прикосновения не отдавались такой дрожью. Вероятно, нематериальность этих отношений устраивала Глеба не во всём, потому что однажды он, преодолевая нежелание, постучался в комнату Дуни и спросил, не даст ли тот ему один из своих знаменитых ключей. Дуня ответил, что имеющийся у него ключ в работе, поскольку он, Дуня, в настоящее время переживает бурный роман с ухаживавшей за ним девушкой. Говоря это, он машинально ощупывал челюсть. Когда Глеб собрался уходить, Дуня, поколебавшись, сказал, что есть, в общем-то, еще один, особенный ключ. Слово *особенный* прозвучало с таким нажимом, что Глеб растерялся. Фантазия тут же нарисовала ему кочегарку, ожидающий капремонта дом и даже каюту буксирного катера (он слышал о таких случаях). Помещение совсем недалеко отсюда, уточнил Дуня, оттягивая разгадку. Но разгадка того определенно стоила, потому что перекрывала самые смелые Глебовы фанта-

зии. Звучит, может быть, неожиданно, со скромным достоинством произнес Дуня, но это Ростральная колонна. Глеб решил остаться невозмутимым: их две. Зачем тебе две, удивился Дуня. Речь идет о правой колонне, если стоять лицом к Морскому музею. Смотритель колонн дал мне ключ от подсобного помещения. Предупреждаю: там холодно, нужно брать с собой обогреватель. А заодно и надувной матрас — кровати с балдахинном там не предоставляют. Из-под книги *Сопротивление материалов* (судя по всему, в Политехе оно оказалось не слишком велико) Дуня извлек ключ. Подходит? Глеб не раздумывал: подходит. Порывшись в платяном шкафу, Дуня (он решил быть благородным до конца) из стопки свитеров вытащил аккуратно сложенный надувной матрас. Обогревателя у него не было. Зато обогреватель нашелся у Кати, которую необычное предприятие привело в восторг. К Ростральным колоннам отправились тем же вечером. Перейдя через Малую Неву, остановились перед предоставленной им колонной. У основания ее, присыпанные снегом, сидели две могучие фигуры, аллегории великих русских рек — каких именно, Глеб определить затруднился. Над головами аллегорий прямо из колонны вырастали острые носы кораблей, называемые таким же заточенным словом *ростры*. Беззаветная их устремленность вовне намекала на то, что в происходящее внутри колонны носа никто не сунет. Открыв низкую дверь в цоколе, справа от входа Глеб нащупал выключатель. Два фонаря *летучая мышь* (нет ли здесь мышей, прошептала Катя) освещали квадратное помещение (разве что крысы, подумалось Глебу) с винтовой лестницей посередине.

У лестницы стояли стол и два стула, а в самом углу помещалась кровать — снятая с петель и поставленная на козлы дверь. Первым делом Глеб включил в розетку обогреватель — рефлектор со спиралью накаливания. Направленный на человека, обогреватель еще худо-бедно чувствовался, но на общую температуру помещения (она равнялась уличной) влияния не оказывал. Вторым средством согреться была бутылка коньяка, которую Катя вместе с кое-какой закуской поставила на стол. Глеб, дрожавший скорее от нетерпения, чем от холода, достал надувной матрас. Попытка наполнить матрас воздухом оказалась просто-таки изматывающей. От глубоких выдохов у Глеба уже кружилась голова, в то время как матрас по-прежнему оставался жалким дистрофиком. Кроме того, и резина, и матерчатая обшивка этой летней вещи задубели и категорически не желали расправляться: сопротивление материалов достигло своей высшей точки. Головокружение и холод несколько сбили первоначальный накал Глеба. Вопреки прежним планам, на Катино предложение поужинать он устало согласился. Катя села ему на колени, а у самого стула они установили рефлектор. Вкупе с несколькими рюмками коньяка (их роль выполняли всё те же кружки) принятые меры позволили слегка согреться. Когда же были сняты куртки и свитера, с трудом добытое тепло мгновенно растаяло. Катя тут же опять оделась. Глеб попытался уговорить ее не торопиться, обещая быстрое согревание, но в голосе его уже не было прежней уверенности. Кончилось тем, что спешно оделся и он. Через полчаса, упаковав всё принесенное, пара уже подходила к общежитию. Утром ключ был возвращен Дуне.

20.12.13, МЮНХЕН

Читаю газету. Катя проверяет почту.

— Глеб, письмо от Анны Авдеевой. Я как раз о ней думала... Просит прощения за то, что пропала.

— Это с ней не в первый раз.

— Пишет, что дела развиваются не лучшим образом. Вера уже дважды лежала в больнице. Дальше о том, что она принимает... Девочка продолжает самым серьезным образом заниматься фортепиано... Пишет о репертуаре... Лауреат, к твоему сведению, международных конкурсов.

— Никогда не был лауреатом. Конкретная просьба есть?

— Она ни о чем не просит. Давай им поможем с деньгами?

— Ну, если лауреат, то давай поможем.

— Глеб...

Катя замолкает.

— Да? — Смотрю на нее поверх газеты. — Я всё слышу, Катюша.

— 31-го исполнится тридцать лет со дня нашего знакомства.

Откладываю газету и наблюдаю за Катей. Она разворачивается на винтовом стуле.

— Глеб, дорогой, мы должны отметить этот день в Питере.

— Abgemacht!¹ Я теперь свободный человек.

Катя подходит ко мне. Погружаю лицо в ее свитер.

— Теперь ты действительно свободный человек. Видишь, мы можем ездить куда захотим. И когда захотим.

¹ Договорились! (нем.)

— Вопрос только, как долго. Сегодня утром у меня дрожала правая нога — это, знаешь, плохой признак.

— Мохаммед Али заболел Паркинсоном, когда ему было около сорока, — сейчас ему за семьдесят.

— Да, Мохаммед Али, мне говорили. Зная всех паркинсонников. — Осторожно отстраняю Катю и встаю. — Гонка, Катюш, закончилась. Теперь уже не очень ясно, ради чего она вообще велась.

— Гонка — да. А движение продолжается.

— Движение куда?

Смотрю, как за окном пролетают крупные мокрые снежинки. В окне дома напротив горят рождественские свечи.

— Глеб... А почему бы тебе не попробовать петь?

— Лучше уж танцевать, а? Левая нога у меня еще очень ничего.

— Ты меня не услышал, Глеб, я сказала: петь.

Геральдина вносит чай. Я пою:

— Геральдина, Геральдина, ой-ой-ой, вам посылка из Пекина, ой-ой-ой!

— Какая красивая песня! — Геральдина пытается напеть мелодию. — Жаль только, что я не понимаю слов.

Наклоняюсь к ее уху:

— Простая русская девочка Геральдина получает посылку за посылкой. В конце песни ей предъявляется обвинение в распространении наркотиков.

Геральдина сдержанно улыбается. Быстрыми движениями гладит меня по плечу. Я целую ей руку. Из комнаты Геральдина выходит одухотворенной.

— Видишь, Геральдине нравится. — Катя прижимается ко мне.

— Вот-вот, буду петь для Геральдины. Пока не исчезнет голос: болезнь включает и это. А дальше ей будет петь садовник.

Под окном проходит садовник. В руках его спеленные ветки виргинского снежноцвета.

1984

В тот год из всех окон звучала песня «Комарово». Ее пел замечательный парень в белых кроссовках, в которого мгновенно влюбилась вся страна. Мучимый белой — под цвет обуви — завистью, о таких же кроссовках мечтал и Глеб. К своему двадцатилетию он неожиданно получил их в подарок от Кати. Собственно говоря, теперь он мог бы и спеть, но место исполнителя «Комарова» было уже занято — навсегда. И вся страна в Глеба не влюбилась. Влюбилась только Катя — но этого ему было достаточно.

Он отметил свое двадцатилетие 17 апреля. Празднование происходило в ленинской комнате, где гостей встречал запасной Ленин, ничем не отличавшийся от сокрушенного. Дуня, назначенный тамадой, время от времени на него оглядывался (Ленин находился прямо за его спиной), и они обменивались недружелюбными взглядами. Что бы ни говорил Дуня, его слова встречались с одинаковым критическим прищуром, выводившим тамаду из себя. Сверлящим взглядом в спину он позднее объяснил как свое быстрое опьянение, так и охвативший его внезапный сон. Сначала Дуня произносил тосты, пить за которые следовало стоя. Речь в них шла о дамах, о любви, о верности и о науке. Здесь он вспомнил о юбиляре и предложил выпить за него.

После небольших колебаний призвал это сделать тоже стоя. Немного подустав, стал предоставлять слово гостям. После всякого тоста произносил: за это надо пить стоя. С каждым разом призыв звучал всё тише и в какой-то момент перестал раздаваться. Положив голову на руки, Дуня спал. Долгое время тосты шли без его сопровождения. Ближе к концу празднования прозвучал почти интимный тост. Однокурсница Глеба пожелала ему, чтобы и в 70 лет девушки любили его так же, как сейчас. При этих словах Дуня поднял голову, в глазах его плескался недосмотренный сон. За это надо пить лежа, произнес он и снова заснул. Когда наутро Глеб и Катя пришли убирать посуду, Дуня все еще спал. Как настоящий тамада, он оставался на своем посту на случай, если кто-то вернется и решит произнести тост. Этим же утром Катя с Глебом узнали, что их ждет новое жилье. Знакомые родителей, к которым Катя не пошла на Новый год, уехали на два семестра в берлинский Гумбольдтовский университет. Чете профессоров-орнитологов предстояло рассказывать немецким студентам о русских птицах. В своей квартире на Большой Пушкарской улице они предложили пожить Кате. Не веря внезапному счастью, Катя согласилась. Как у всего внезапного, у счастья обнаружилась своя предыстория. Приглашение из Берлина было организовано Катиными родителями, также профессорами-орнитологами. Именно им показалось уместным, чтобы их дочь присмотрела за профессорским гнездом в Петербурге. Зная своих родителей как людей несентиментальных, Катя подозревала, что это предложение и было целью вызова русских орнитологов в Гумбольдтовский университет. Так или иначе, сразу же

после их вылета в Берлин юная пара въехала в квартиру на Пушкинской. Если быть точным, через час. Единственным, что Глеб и Катя взяли с собой при первом посещении, было постельное белье. На следующий день с помощью двух новгородцев они перенесли остальные вещи. Собственно говоря, почти всё необходимое в профессорской квартире имелось, но кое-что новые жильцы предпочли взять с собой. В конце концов, это было не так уж сложно: дом на Пушкинской находился совсем недалеко от общежития. Квартира петербургских ученых напоминала Кате квартиру ее родителей в Берлине, и переезд был для нее в каком-то смысле возвращением домой: забитые до отказа книжные полки, сталагмиты книг на полу и задумчивые чучела птиц на шкафах. Птиц Катя не любила. С детства они вошли в ее жизнь воплощением неподвижности. Сначала она еще верила в полет домашних питомцев и лет в пять, случалось, подбрасывала их вверх со стремянки. Словно наметив жертву, они камнем летели на пол, где их добычей становились кубики *лего*, подарок западногерманских родственников. Со временем, однако, стало ясно, что взмыть вверх этим птицам не суждено. Их абсолютная неспособность не то что летать, но даже ходить, а также грязно-белая ватная начинка (девочка расковыррала-таки одно из чучел) вызывали у нее чувство подавленности. Маленькая Катарина, конечно, видела птиц, способных на полет, но это были по преимуществу воробьи да голуби, не шедшие ни в какое сравнение с тем, что хранилось дома. В отличие от Кати, Глеб в квартире орнитологов никогда не жил, и сидящие на полках птицы его удивляли. Глеб не подбрасывал их и не расковыривал, но и он не мог

отказать себе в удовольствии погладить нежный пух под их крыльями. Впрочем, наибольшим удивлением в этой квартире была для него другая птица — Катя. Возможность дотронуться до ястреба или горного орла не рождала в Глебе и малой доли того счастья, которое он испытывал, касаясь нежной Катиной шеи. Она была журавлем в небе, который неожиданно спустился к Глебу в руки и не обнаруживал ни малейшего желания улетать. Просыпаясь по утрам, Глеб испытывал мгновенный страх, что счастье лишь приснилось, а его жар-птица улетела. Но Катя была рядом. Обычно она уже не спала и тихонько лежала, чтобы не нарушить его сон. Смотрела на Глеба. Иногда читала. Увидев, как подрагивают его веки, касалась их губами. Глеб обнимал ее, не давал уйти, Катино тело распрямлялось на его теле, натягивалось гитарной струной — живот к животу, ноги к ногам... Утро начиналось с продолжительного поцелуя. Встав, Катя шла принимать ванну, а Глеб переваливался на ее половину кровати и зарывался носом в подушку, пахнущую Катиными волосами. Огромная чугунная ванна наполнялась медленно. Чтобы не терять времени, Катя ложилась в нее, едва ванна набиралась на треть. Ей нравилось каждой клеткой тела ощущать бурление воды, нравилось, как, покинув постель, Глеб садился на край ванны и держал Катю за руку. Однажды, как бы потеряв равновесие, плавно съехал в воду и сообщил, что выходить не собирается. Он, видите ли, убежден, что профессорская ванна для одного человека велика. Что архитекторами она задумывалась как бассейн, и в этом следует видеть проявление традиционного русского коллективизма. Катя (выражение усиленного сомнения) слегка помед-

лила, но, скользнув к другому краю ванны, освободила место для Глеба. В дальнейшем он делил с Катей утреннюю ванну уже без объяснений. Катя (чего не сделаешь ради традиции) активно не протестовала, но поставила условие: время в ванной они используют для изучения немецкого языка. Растворяясь в Глебе без остатка, она хотела видеть и встречное движение. Катино условие было принято с воодушевлением. Глеб очень хотел выучить немецкий, который сводился у него к трем десяткам слов и выражений, слышанных от Кати же. Да и способ изучения оказался эффективным: никогда еще слова не запоминались ему так быстро. Учебный процесс Катя построила по принципу расширения. Сначала привлекался словесный материал, предоставляемый ванной комнатой, включая названия частей человеческого тела. За ванной последовали коридор и кухня, затем столовая, спальня, библиотека (включая названия птиц) и кабинет профессора. Кабинетом профессорской жены была библиотека, что позволило еще раз повторить книжную и орнитологическую лексику. Вопрос о том, почему условия работы профессора оказались лучше, дал возможность коснуться проблемы равноправия полов. Дальнейшими темами стали дом, Большая Пушкарская улица с расположенными на ней магазинами, город и Страна Советов. Так, регулируя холодную и горячую воду (напор в трубах постоянно менялся), Глеб и Катя вышли на международный уровень. Здесь речь пошла преимущественно о русско-немецких связях, которые пара укрепляла всеми доступными средствами. Этим окончился курс устного обучения немецкому, раз и навсегда поставивший Глебу хо-

рошее немецкое произношение. Между тем стало очевидно, что прекрасно звучащие слова начисто отсутствовали для него в своем письменном облике. В этом курсе немецкого глаз явно проигрывал уху. Поскольку читать и писать в ванной было неудобно, грамматические упражнения Катя с Глебом перенесли на вечер и делали их за столом в библиотеке. Для утренней ванны остались лишь разговорные темы. Глебу они были по-особому дороги.

31.12.13, ПЕТЕРБУРГ

Мы с Катей приземляемся в аэропорту *Пулково*. Нас встречает петербургская метель. Машина, оставляя за собой снежные вихри, несется в направлении города. Чувствую Катин взгляд.

— Может, ты мне уже скажешь, куда мы едем, а?

Поворачиваюсь. Выражение лица — *туда, где были счастливы*. Отвечаю:

— Мы едем туда, где были... Где были, одним словом.

Катя пропускает свои пальцы сквозь мои.

— Знаешь, Глеб, я ведь звонила в наше бывшее общежитие. Оно разрушено. Потом, правда, построено заново, но это уже что-то другое.

— Ты, Катюша, многое успела.

— Просто мы давно уже мыслим одинаково. Я ведь сразу поняла, куда ты меня хочешь отвезти. Думаю, ты знаешь: общежития в этом здании больше нет. Его перевели в Петергоф.

— Знаю.

— Есть элитные квартиры на продажу, и снять их невозможно — даже такой звезде, как ты. Когда

я звонила продавцам от твоего имени, они, представь себе, были очень холодны.

— Мы им это припомним.

Катя держит паузу.

— Ты что, действительно снял там квартиру?

— Нет, Катюш. Я ее купил.

Подъехавшую машину встречает консьерж. Он берет чемоданы и несет их к лифту. В холле — представители городских властей в приподнятом настроении. Цветы, корзина с шампанским. Французское, отмечаю, две бутылки: новгородские студенты встали на ноги. С возвращением (крепкое гражданское рукопожатие). И с наступающим (объятия). С наступающим возвращением, шучу, и все смеются.

Квартира оказывается четырехкомнатной, великолепно отделанной, и окна ее выходят на Неву. Она, вообще говоря, мало напоминает комнаты общежития, в которых нам довелось в свое время жить. Катя сравнивает их с залами Эрмитажа, раскинувшегося на противоположном берегу Невы. Гримасничаю (выражение *легкого недоверия*) и открыто выражаю несогласие.

Главным отличием от Эрмитажа считаю больший аскетизм в подборе мебели. Три комнаты пусты, а в четвертой (гостиной) находятся две панцирные кровати, две тумбочки, два письменных стола, книжный шкаф и холодильник, в который тут же ставлю подаренные бутылки. На стене висит эбонитовое радио — почти такое же, как 30 лет назад. Катя включает его, и оттуда раздается песня *Полюшко-поле*. Нажимает одну из кнопок. Из щели на корпусе выезжает диск: радио оказывается плеером.

— Давно не слышала советских песен. И хоров...

— Краснознаменный, — откликаюсь. — Crème de la crème.

Привлекаю Катю к себе и касаюсь губами ее лба.

— Тридцать лет назад ты целовал меня в губы...

— Я решился на это не сразу, разве ты не помнишь?

Катя помнит. Подходит к книжному шкафу и берет наугад книгу. Бахтин. *Проблемы поэтики Достоевского*.

— И полифония твоя здесь. У тебя неплохо с этим получалось.

— Теперь могу продолжить.

Катя ставит книгу на полку.

— Почему бы нет?

За окном вспыхивает подсветка Эрмитажа. Метель размывает его контуры, и окно превращается в картину. Теперь импрессионисты выставлены по обе стороны Невы: в Эрмитаже — на третьем этаже, у нас — на четвертом.

Около десяти вечера раздается звонок в дверь. В сопровождении консьержа два официанта вносят корзины с новогодним угощением. Без малейших признаков удивления расстилают скатерть на сдвинутых письменных столах и зажигают свечи. Из корзины извлекаются соленые огурцы и помидоры, грибы, черемша. Черная икра. Маленький, словно игрушечный поросенок на овальном блюде. Остальное до поры оставлено нераспакованным. Прикусив указательный палец, Катя следит за происходящим.

— А где салат оливье? Где мандарины?

Как по команде тут же возникает нечто в фольге, под фольгой — салатница с оливье. В привезенную вазу горкой насыпаются мандарины.

— Теперь всё напоминает Новый год в общежитии. — Катины глаза блестят. — Особенно черная икра и поросенок.

В одиннадцать доставляют перевязанный лентой пакет и вручают Кате. Развязав ленту, она его распечатывает: там платье. Точно такое же, как тогда, легкое и просвечивающее. Катя молча зарывается в платье лицом.

— Должен же я что-то обливать, — поясняю.

Катя надевает платье.

— Не понимаю, как ты угадал с размерами. Ты ведь не знаешь даже своих собственных.

— Мне помогала Геральдина.

За пять минут до полуночи из динамика несется фирменное брежневское чмоканье, сопровождаемое новогодним поздравлением. Кажется, в 1983-м Брежнев уже не чмокал, так что представлена, скорее всего, запись образца 1981 года. Анахронизм. В алюминиевые кружки наливаю шампанское, и мы провожаем прошедшее тридцатилетие. С последним ударом курантов пьем за новое тридцатилетие. Катя выражает надежду, что тридцатью годами дело не ограничится. Я молча киваю. В четверть второго Катино платье со всей тщательностью обливается шампанским. Волей-неволей ей приходится его снять. Мы сдвигаем кровати. По степени накала ночь не уступает тому, что происходило здесь тридцать лет назад. Почти не уступает.

1985–1986

Жизнь в орнитологической квартире стала для Глеба и Кати свободным парением над буднями. С тех пор мысли о счастье соединилась в Глебовом созна-

нии с птицами, прежде всего — с их чучелами. Пребывание на Большой Пушкарской составило два года вместо одного: контракт с Берлинским университетом профессора продлили еще на год. После первого года они приезжали на месяц домой, и юная пара на это время перебиралась в общежитие. Вещи Кати оставались у орнитологов, а вот Глебовы решили увезти. Не очень было понятно, как к присутствию Глеба отнесутся хозяева квартиры, но еще в большей степени — Катины родители. Точнее говоря, их отношение было Кате как раз понятно. Они не хотели отпускать ее в СССР, предчувствуя, что дочь найдет себе там русского мужа. Катя была вынуждена согласиться, что предчувствие родителей не обмануло. В СССР я уехала, рассуждала она в утренней ванной, и русского мужа нашла: не будем же их радовать раньше времени. Русский муж дипломатично промолчал. Он не стал выяснять, отчего русским мужем быть так плохо. Большинство женщин его страны имели именно таких мужей, и нельзя сказать, чтобы это их как-то особенно огорчало. Ответом на предубеждение Катиных родителей было изучение Глебом немецкого, которое он продолжил с удвоенной силой. По другую сторону границы существовало, однако, свое предубеждение. Оно возникло в отношении немки Катарины Гертнер и ее связи с советским гражданином Глебом Яновским. В роли родителей здесь выступила комсомольская организация университета, обязанностью которой, согласно уставу, было знать, кто с кем спит. Организация вызвала Глеба на заседание своего бюро. Получив приглашение, Глеб решил посоветоваться с Дуней, чьи связи были по преимуществу международными. Дуня, не раздумывая, предло-

жил Глебу обвинить бюро в *политической близорукости*. Это словосочетание когда-то встретилось ему в учебнике истории КПСС и сразу же пришлось по сердцу. Находя выражение эффективным, Дуня повторял его по всякому подходящему поводу, а случилось, и без повода. Он показал Глебу, как это надо произносить — строго и немного задумчиво. Может быть, даже с прищуром — близорукость, как-никак. Еще Дуне полюбилось выражение *отрыжка зинovieвщины*, но в данной ситуации (Дуня с сомнением посмотрел на Глеба) оно представлялось менее уместным. На заседании бюро до сведения комсомольца Яновского было доведено, что его поведение аморально и что с гражданкой ГДР он должен немедленно расстаться. В ответ Глеб заявил, что с Катариной не расстанется, поскольку они собираются вступить в брак. Глядя в глаза очкарику-председательствующему (за толстыми линзами они были карикатурно малы), он на всякий случай обвинил присутствующих и в политической близорукости. После этих слов наступила тишина. Строго говоря, комсомольская организация была против интернациональных браков, даже с представителями социалистических стран. Такие браки неизменно заканчивались отъездом комсомольцев за границу. Связи с иностранными подданными уехавшие малодушно предпочитали связям с родной организацией. Но случай Глеба и Кати показался членам бюро неоднозначным. Проявленная Глебом решительность их поколебала. Она грозила скандалом, а скандал был нежелателен — в конце концов, Катя находилась в пределах соцлагеря. Излишняя настойчивость с их стороны могла быть расценена как глухота к идеям интернационализма, приведшая, как и следовало

ожидать, к политической близорукости. Неутешительный диагноз. Глеб (Дуня как в воду глядел) произвел на бюро неизгладимое впечатление. Было в нем что-то неподобающее, интеллигентское, настоящему комсомольцу несвойственное. Председательствующий в замешательстве снял очки, но и это решение не отличалось дальновидностью. Подслеповатый и беспомощный его взгляд стал в глазах собравшихся ярчайшей иллюстрацией близорукости. Ее, можно сказать, апофеозом. Энергия гневного осуждения разом иссякла: сил не оставалось даже на формальное порицание. Ввиду сложившихся обстоятельств комсомольца можно было лишь отечески пожурить. По дороге домой Глеб купил бутылку вина и тем же вечером сделал Кате предложение. Катя, расплакавшись, ответила согласием. Это были слёзы не только радости, но и обиды. Она, оказывается, давно ждала предложения и не понимала, отчего оно до сих пор не прозвучало. Глеб и сам этого не понимал. Может быть, боялся спугнуть то безмерное счастье, которое вошло в его жизнь с Катей. Через несколько месяцев (не без хлопот) они зарегистрировали свой брак в одном из загсов Ленинграда. Придя в свитерах и джинсах, попросили ведущую церемонии ничего не произносить. С нашей стороны это довольно бесцеремонно, сказал Глеб на ухо Кате. Вот именно, подтвердила ведущая, обладавшая хорошим слухом. В дальнейшем она хранила молчание. Места подписей показывала указкой. Почему ты не предлагаешь мне венчаться, спросила однажды Катя, поняв, что всё нужно выяснять самой. Потому что мы принадлежим к разным церквям, ответил Глеб. Через несколько дней Катя сообщила ему, что решила принять православие. Я не хочу, сказала она

твердо, чтобы после смерти мы оказались в разных местах. На этот раз прослезился Глеб: это было то, о чем он не решался попросить. Месяц спустя над Катей, выучившей православный Символ веры, была прочитана присоединительная молитва. В ее имени изменилась одна буква: из Катарины она стала Катериной. Это произошло в Князь-Владимирском соборе, куда Катя с Глебом ходили по воскресеньям. В этом же храме позже состоялось их венчание. Гостей благоразумно не звали: комсомольская организация, так много сделавшая для заключения брака, венчания никогда бы не простила. При новой встрече на бюро уже не помогла бы даже *отрыжка зинovieвщины*, самое, по мнению Дуни, хлесткое определение из его коллекции. Нужно сказать, что без его поддержки не обошлось и венчание. Будучи православным болгаринном, он с девушкой по имени Александра участвовал в таинстве как свидетель. Дуня и Александра были выше Глеба и Кати, что оказалось очень кстати, когда над головами венчаемых им нужно было держать венцы. По окончании службы Александра жаловалась, что венец тяжел и что, если бы ей потребовалось поднимать руку высоко (чего не потребовалось), она, может быть, до конца и не выдержала. Предположила также, что, если бы Глебу и Кате пришлось держать венцы, ну, допустим, над ней и Дуней, то они бы с этой задачей не справились. При этих словах все посмотрели на Дуню, но взгляд его застыл на циферблате часов. Дуня был сама сосредоточенность, словно время на часах остановилось или, чего доброго, пошло вспять. В известном смысле так оно и было: все Дунины романы повторяли друг друга и заканчивались разговором о браке. Что до девушки, то кроме имени о ней не было известно ниче-

го, и ни Глеб, ни Катя ее прежде не видели. Не видели они ее и в дальнейшем. Катя попыталась представить себе рост тех, кто держал бы венцы над Дуней и его подругой. Исчезновение Александры свидетельствовало о том, что таких людей не нашлось. Впрочем, перед исчезновением она успела зайти с молодежниками в *Бригантину* и отметить событие узким кругом. Разумеется, там же находился и Дуня. И так в его жизни всё отчаянно повторялось, что снова он был тамадой и снова заснул в неудобной позе, хотя о ленинских кознях в этот раз говорить не приходилось. Эту позу Глеб и Катя вспомнили через несколько лет, когда узнали о трагической гибели Дуни в Софии. Вернувшись на родину, он наконец женился, и у него родился сын. В трудное время, когда в Болгарии (как и в России) возникла угроза голода, Дуня проявил себя любящим отцом. Ребенку нужно было молоко, а очередь за ним занимали с ночи. Каждую ночь Дуня заводил старенькие *Жигули* и ехал в молочный магазин. Возвращался утром. В одну из ночей он въехал в прицеп, перевозивший трубы. На прицепе не работали габаритные огни, не было даже флажка на трубах, и Дуня труб не заметил. Говорили, что, засыпанный осколками ветрового стекла, он лежал головой на руле — примерно так же, как лежал когда-то на праздничном столе. Катя и Глеб очень горевали и не могли представить Дуню мертвым.

02.01.14, ПЕТЕРБУРГ

Мы с Катей едем к Авдеевым. Катя уже позвонила Анне, и нас ждут. Свернув с Невского на Пушкинскую улицу, машина останавливается у одного из

домов. В парадном полумрак. Двери квартир поражают разнообразием. Настоящая выставка дверей — от бронированных до ветхих фанерных, с дырками от прежних замков. Такая у Авдеевых.

Открывает Анна. Бесформенная, неухоженная, перламутровые губы на пол-лица. В глазах — страх, смешанный с кокетством. Спрашивает, сильно ли изменилась. Да нет, не сильно — выжимаю из себя улыбку. Считай, что не изменилась. Стараюсь на нее не смотреть. Подумать только, в эту старую кошелку я был когда-то влюблен. Анна ведет нас в гостиную. Из соседней комнаты выходит девочка. Бледна. Очень худа. Хорошо улыбается.

— Вера, — подает прозрачную руку.

Похожа на Анну в детстве, но без ее вульгарности. Светло-руса, с неяркими чертами. Этим, как ни странно, она напоминает мою мать.

— Восстанавливаемся после очередной больницы, — говорит Анна. — Мы ужасно устали.

Гостиная просторная, но запущенная. Высокий потолок, потрескавшаяся лепнина. В углу, там, где стоит рояль, обои заметно отстают от стены. Конечно, в углу, где же еще? Знал это еще до знакомства с Анной. У рояля — аквариум. Два книжных шкафа пятидесятых годов с закрывающимися книги выдвигаемыми стеклами. Окна не мыты. Анна перехватывает мой взгляд.

— За всеми этими делами не доходят руки до уборки.

Киваю. Очевидно, что с руками Анны всё произошло гораздо раньше.

Она приглашает всех за стол. Оливье, водка и *Советское шампанское*. На краю стола мандарины. Катя, поди, спрашивает себя, не посвящены ли

и здесь в мой ретроплан — такое у нее выражение лица. Катя иногда шутит сама с собой.

Взяв в руки вилку, ощущаю легкую липкость. Незаметно для Анны протираю вилку не первой свежести салфеткой. Перехватываю растерянный взгляд Веры. Чувствую неловкость, но еще в большей степени — сочувствие к девочке, которая (это видно сразу) устроена совсем не так, как мать. Я уже готов сказать, что не голоден, но Верин взгляд меня останавливает. Накладываю себе салат оливье, не сулящий желудку ничего хорошего. Не сомневаюсь, что оливье готовится так же, как моются вилки. А также бокалы: на своем замечаю поблекшие следы помады. Пока я разговариваю с Анной, Вера быстро меняет мой бокал на свой. На скатерти появляются алые капли. Я еще раздумываю об их происхождении, а Катя уже ведет Веру в ванную. У девочки носом идет кровь. Вытащив из шкафа пачку ваты, к ним присоединяется Анна.

Через несколько минут все возвращаются. В Вериних ноздрях вата. Лоб — мокрый от лежавшего на нем полотенца. Я думаю о том, что Вере хуже, чем мне, гораздо хуже, только она держится стойко, а я — нет. Внезапно мне хочется прижать к себе этого ребенка и вдыхать в него жизнь. Так можно вытащить человека из любой ямы. Можно и самому выкарабкаться — всё зависит от силы желания.

— Извините за бедность, — Анна показывает на стол, и этот жест кажется привычным. — Будь живы мои родители, всё выглядело бы несколько иначе. Всё сейчас уходит на лечение.

— Мама...

— Это жизнь, доченька, и не надо этого стесняться.

Делаю знак Кате, и она кладет на стол миниатюрный кожаный портфель. Передаю его Анне.

— Не возражаешь, если мы вам немного поможем? Бросив взгляд на Веру, Анна вздыхает.

— Не возражаю. У меня нет возможности возражать. — Подходит к нам с Катей и поочередно нас обнимает. — Глеб для Верочки всё. Она его слушает всё время. И то, что мы с ним вместе учились... Она ведь и сама играет на фортепиано, да, Верочка? Выступала в Лондоне, Хельсинки, Праге. Лауреат конкурсов в Москве...

— Ну, не надо, слышишь...

Лицо Веры печально и как-то вытянуто. Катя садится на корточки у Вериного стула. Взяв ее ладонь, прижимает к своей щеке.

— Сыграешь? Ну пожалуйста...

Вера смотрит на меня.

— В присутствии Глеба Федоровича?

— Глеб Федорович, — оборачивается Катя. — Ты уж поддержи нас как-нибудь, а?

Подхожу и сажусь на корточки рядом с Катей. Сейчас мы с женой похожи, должно быть, на пару больших птиц. Или на что-нибудь подобное. Например, чучел.

— Я знаешь как плохо в детстве играл. И ничего, не боялся. А ты, я думаю, играешь блестяще.

— Я не знаю, что для вас значит плохо. — Вера серьезно смотрит мне в глаза. — Вас слушает весь мир.

— Это они просто привыкли. — Анна издает протестующий звук, но я возвращаюсь к Катиной просьбе. — Что мы будем слушать?

Вера, отвернувшись, вынимает ватные тампоны из носа и хочет сунуть в карман платья. Быстрым движением Катя их у нее перехватывает. Кладет

в сумочку. Короткий Верин взгляд на Катю. Девочка садится за фортепьяно. Пальцы на клавишах, секунды сосредоточения.

Звучат первые аккорды *Адажио* Альбиниони. Встаю, облакачиваюсь о рояль, смотрю на Веру. Заметив, что дрожит правая рука, меняю позу. Ожидал ученического музицирования, но Верина техника великолепна, это не вызывает сомнений. Обдумываю слова похвалы. Взятый мной тон кажется мне дурацким. Вера, в сущности, взрослая. Об этом говорит ее музыка. Ее лицо. Тысячу раз сыгранную, заезженную вещь исполняет как в первый раз. В Вериной игре нет жеманства: понятно ведь, о чем она играет. И о ком.

Тревожусь, что сейчас она, возможно, захочет усилить впечатление и устыдится простоты исполнения. Начнет украшать музыку, которая может быть только простой. Нет, парит на предельной высоте. При смене музыкального рисунка раздается мой голос. Вера не поднимает глаз, словно ждала. А я испытываю тот подъем, от которого успел отвыкнуть. Совершенное слияние в музыке.

Набрал бы сейчас Брисбен и дал послушать матери. Для некоторого ее, что ли, утешения. Сказал бы, что, вот, музыка в моей жизни снова звучит, и это счастье. А с другой стороны, вроде как и печаль, поскольку совершенная эта музыка тоже кончится. И тут мать (мне ли не знать ее?) возразила бы, что совершенное не кончается — просто преобразуется во что-то иное. Не обязательно в музыку — в слово, в пейзаж, в жест: мало ли на свете совершенных вещей? Наконец, в молчание, поскольку одно лишь молчание обладает полным совершенством. Собственно, ради этого разъяснения я бы ей и позвонил. Но — неловко. Неловко при всех.

Это был последний университетский год Глеба. Он писал дипломную работу по полифонии — теме, которой начал заниматься когда-то под руководством Ивана Алексеевича. Самого Ивана Алексеевича к тому времени в университете уже не было: его уволили за пьянство. Говорили, впрочем, что это не было единственной причиной увольнения. По словам людей информированных, в гораздо большей степени увольнение было вызвано антисоветскими высказываниями преподавателя. Иван Алексеевич в самом деле не любил советскую власть и высказывался в ее адрес недружественно. Роль алкоголя в этой истории состояла в том, что высказывания преподавателя становились всё более откровенными и, что было еще хуже, публичными. Иной раз критика его была лишена логики. Почти двадцатилетнее правление Брежнева он порицал за его нескончаемость, руководство быстро умерших Андропова и Черненко осуждал, напротив, за скоротечность. Так, к сообщению стенгазеты о том, что генсек Черненко принял управление страной, Иван Алексеевич, также успевший уже принять, красным фломастером приписал: *не приходя в сознание*. Газету сняли, а автора приписки не нашли, хотя фломастер одалживался им в деканате. Несмотря на пристрастие к алкоголю и женщинам (или, скорее, благодаря ему) Иван Алексеевич был всеобщим любимцем. На его комментарии в отношении *поллитрбюро* и *зомбаков на трибуне мавзолея* какое-то время тоже смотрели сквозь пальцы. Когда же дело дошло до содержимого мавзолея, терпение начальства кончилось. Что-

бы избежать скандала, Ивану Алексеевичу предложили уволиться по собственному желанию, на что он ответил, что такого желания не испытывает. И тогда его уволили за нарушение преподавательской этики. А заодно эстетики, сказал декан Ивану Алексеевичу, показав на его залитый вином галстук. Ни Ленин, ни Черненко, к тому времени уже умерший, в приказе не фигурировали. О покойных, учитывая характер высказываний Ивана Алексеевича, было решено не упоминать. Глебу назначили другого руководителя — 80-летнего профессора Беседина. Профессор не звал своего подопечного в мир ночных приключений, хотя, возможно, и ему, несмотря на проблемы с памятью, было что вспомнить. С каждым прожитым годом прошлое всё больше представлялось ему чем-то недостоверным и непосредственно к нему не относящимся. Единственной его спутницей была резная трость: они казались созданными друг для друга. Бугристые пальцы оплетали ее рукоять на манер корней, делая очевидным разительное сходство профессора и его трости — в рисунке, цвете и материале. Полифония не вызвала у него протеста, но и особого восторга тоже. Он предпочел бы, чтобы Глеб писал работу, основанную на текстологических методах, и даже предложил ему несколько тем. Глеб, однако, сумел настоять на своем. Собственно, и настаивать было не нужно: не желая волноваться, Беседин давно уже не вступал в споры. Полифония так полифония, сказал он кротко. Главное, молодой человек, здоровье. Глядя вслед проходившей студентке, профессор ностальгически добавил: эх, где мои семьдесят пять... Глеб был предоставлен самому себе и в полном спокойствии

довел до конца исследование, рождавшееся в горячих обсуждениях с бывшим руководителем. На защите дипломной работы первым он поблагодарил мятежного Ивана Алексеевича. Смутное беспокойство у Глеба вызывало возможное выступление доцента Чукина, злейшего врага полифонии. Единственный человек, способный ему ответить аргументированно, в университете уже не работал. Пользуясь отсутствием Ивана Алексеевича, Чукин и в самом деле выступил. Когда на обсуждении он встал и сказал, что оспорит все сказанное автором работы, зал выдохнул. Сидевшая в первом ряду Катя побледнела. В наступившей тишине раздался голос профессора Беседина, неожиданно громкий и властный: я думаю, мы не будем спорить. Это почему же, иронично поинтересовался Чукин, если учесть, что в споре рождается истина... Истина в споре не рождается, перебил его профессор, в споре рождается агрессия. А кроме того, вы, Чукин, спорите не с высказанными положениями, а с собственными фантомами. Так, позвольте... (Чукин растянул второе о). Но Беседин не позволил. Он не любил споров и не любил Чукина. Он сообщил Чукину, что самое постыдное — это строить научную карьеру на оплевывании великих. И даже невеликих — Беседин кивнул на стоящего за трибуной Глеба. Вы больны, спросил Чукин. Подумав, профессор согласился и сказал, что в восемьдесят лет это дело обычное. Гораздо опаснее, по его мнению, был болел Чукин. Тут же последовал и диагноз: синдром Моськи. Чукин стал пунцовым. Было видно, что он готов к длинной и суровой отповеди. Глаза его наполнились горечью. Вы — мой бывший учитель... Зал начал шуметь, но профессор успокоил его же-

стом. Как бывший учитель я говорю вам: Чукин, садитесь. Садитесь! Чукин сел. Через минуту, сопровождаемый неодобрительными выкриками, вышел. Дипломная работа Глеба была защищена с высшим баллом и рекомендацией в аспирантуру. Ко всеобщему удивлению, от аспирантуры Глеб отказался. Филологические теории — даже такая прекрасная, как теория полифонии, — интересовали его, скорее, в практическом измерении. Объясняя свой отказ, Глеб привел высказывание из *Фауста*, отчего-то всплывшее в его памяти по-украински: *теорія завжди, мій друже, сіра, а древо життя — золоте*. Украинское слово Гете произвело на присутствующих большое впечатление — гораздо большее, чем если бы оно было сказано, допустим, по-немецки. Всем было очевидно, что в подобной ситуации переубеждать бесполезно. Сам же Глеб в своем решении не сомневался. Итогом пяти лет учебы для него стало понимание того, что наука — не его путь. А какой — его, было как-то неясно. В биографической литературе о Глебе Яновском принято утверждать, что это был уже второй путь, отвергнутый Глебом. Считается, что первым таким путем стала музыка. Примечательно, что сам объект исследования с такой трактовкой не согласен. Он полагает, что в становлении его как музыканта годы разлуки с музыкой сыграли решающую роль. Они не дали ему привыкнуть к собственной игре. Все эти годы он продолжал слушать небесную музыку, не испытывая привязанности к земному ее исполнению, которое всегда несовершенно. А кроме того (однажды сказал он), главное, чего не хватает музыке, — это тишины. Только в гармонии с тишиной и может существовать музыка. Без пау-

зы звук неполон, как неполна речь без молчания. Музыкальная пауза Глеба растянулась на много лет, но это была лишь пауза. Для понимания музыки она оказалась важнее многолетней игры.

07.01.14, ПЕТЕРБУРГ

К Рождеству в нашу петербургскую квартиру привозят кое-какую мебель, а кроме того, клавишный синтезатор. В доме должен быть музыкальный инструмент, но этим инструментом не может быть гитара. Почему был заказан именно синтезатор, ни я, ни Катя в точности не знаем, как не знаем и того, зачем, помимо празднования Нового года, покупалась квартира. Получается, что действительно для празднования: жить в ней мы не собираемся. А может, раздумывает Катя, и собираемся, только не отдаем себе в этом отчета. Никаких особых дел в Мюнхене у нас теперь нет. Как, впрочем, и в Петербурге.

На Рождество к нам приходят Анна с Верой. Анна не устает благодарить за подаренные деньги: теперь она сможет покупать продукты хорошего качества, которые так нужны Вере. В нашем с Катей лице по части продуктов она находит полное понимание: блюда для рождественского ужина заказаны в диетическом ресторане.

Произнося тост, Катя предлагает всем перейти на *ты*. Анна кивает, заметив, что с Глебом на *ты* они уже давно. Ее губы Кате кажутся ярче прежнего. Катя говорит, что Вера тоже должна оставить свое *вы*. Девочка смущается, но Катя объясняет ей, что иначе не будет равенства. Иначе ей и мне также придется ей *выкатать*. Вера обещает не *выкатать* и пьет

(в бокале морс) со всеми. Что-то ей подсказывает, что тост произнесен ради нее.

Встав из-за стола, все направляются в соседнюю комнату, где установлен синтезатор. Вере эта вещь незнакома, и она внимательно слушает мои объяснения. Пробует играть, ей нравится. Анна расспрашивает Катю о нашей мюнхенской жизни. Слушает ее с удовольствием, не отказывая себе в мысли (я в этом почти уверен), что на Катином месте могла быть она. Вообще говоря, у Кати есть документальный фильм, снятый о нашей жизни мюнхенским телевидением. Анна проявляет к фильму живейший интерес, и они уходят смотреть его на компьютере.

Верини пальцы на синтезаторе чувствуют себя так же уверенно, как на фортепиано. Сыграв очередную мелодию, они отрываются от клавиш.

— Ты играешь на фортепиано? — спрашивает она у меня.

— Нет. Я только знаю, что нужно держать руку домиком.

Демонстрирую свое знание на клавиатуре. Вера придает моей ладони правильную форму:

— Вот так.

— Теперь я буду всем говорить, что ты мне ставила руку. — Сажусь в скрипящее кресло-качалку, его привезли сегодня утром. — А почему ты тогда играла Альбинони?

Одной рукой Вера наигрывает первые такты *Адажио*.

— Потому что я боюсь умереть.

— Анна говорила, что терапия прошла очень хорошо... — Смотрю в спокойное лицо девочки.

— Хорошо. Но не очень... Просто она этого не знает. Врачи сказали мне, что можно ожидать всего.

Ловлю себя на том, что усиленно раскачиваюсь в кресле. Замираю.

— Подожди... Почему она не знает?

— Я попросила ничего ей не говорить. У нее... Короче, раз в году она лежит в психбольнице. Если ей скажут правду, это ее добьет. Она и так сильно сдала из-за моей болезни. — После молчания Вера поднимает голову. — А где твоя гитара? Покажешь?

Развожу руками.

— Гитары нет.

— Отдых?

— Можно сказать и так. У меня болезнь Паркинсона, и я больше не могу играть.

Вера подходит ко мне и берет мои ладони в свои.

— Это болезнь, при которой дрожат руки?

— Дрожат и плохо двигаются, особенно пальцы.

Она рассматривает мои пальцы. Осторожно их сгибает.

— Когда же ты снова будешь играть?

— Никогда. — Подмигиваю. — Мы с тобой обменялись тайнами, правда?

Она касается моих пальцев губами.

— Тебе от твоей тайны страшно?

— Да.

— У тебя нет ничего кроме музыки?

— Тут не только музыка. Через какое-то время я стану беспомощным. И от этого мне страшно.

Вера возвращается к синтезатору и берет несколько нот. Смотрит на замерзшую Неву.

— Когда вы с Катей уезжаете?

— Через неделю.

В коридоре раздаются шаги Анны и Кати.

— Так скоро...

1986–1987

С окончанием университета в жизни Глеба одновременно возникли три неотложных вопроса. Первый — и для Глеба главный — был связан с тем, что орнитологи вернулись в свою квартиру, и молодой паре нужно было искать себе жилье. Второй вопрос касался феодального института прописки. Временная прописка в Ленинграде закончилась у Глеба вместе с учебой, а на постоянную он не имел права. Наконец, третьим вопросом, который нужно было решать, оказалась работа: право на труд в СССР являлось строжайшей обязанностью. Сложность этих вопросов состояла в том, что все они были неразрывно связаны между собой. Образовавшийся тугой узел нельзя было развязать — он мог быть только разрублен, но линия рассечения пролегла бы, увы, между ним и Катей. Чтобы остаться с ней в Ленинграде, Глебу нужно было иметь прописку, хотя бы временную. Без этого он не мог и устроиться на работу, а это значит, что ему не на что было бы снять жилье, которое, впрочем, даже при наличии денег без прописки он не мог бы снять. В получении же прописки на основании брака с Катей ему отказали, поскольку Катя была иностранкой. Как и в случае с защитой дипломной работы, помощь неожиданно пришла со стороны профессора Беседина. Он позвонил одному из работников городского исполнительного комитета, который оказался его бывшим учеником, и попросил о прописке для Глеба. Прописка была тут же предоставлена. Другой ученик Беседина, декан филологического факультета, распорядился выделить Глебу и Кате отдельную комнату в общежитии и обеспечил выпускнику распределе-

ние в одну из ленинградских школ. Создавалось впечатление, что город состоял из учеников профессора. Когда Глеб поделился с ним этим наблюдением, Беседин похлопал его по плечу, скромно заметив, что не всеми своими учениками он доволен в равной степени. В августе случилось то, чего Глеб давно боялся: умерла бабушка. В июне, после завершения учебы, они с Катей кратко прилетали в Киев: Катя хотела познакомиться со всеми родными Глеба. Со всеми не получилось (Федор с семьей был в деревне), но с мамой и бабушкой Катя познакомилась. Как-то раз, когда Катя с Ириной ушли за покупками, Антонина Павловна неожиданно сказала: я скоро умру. Глеб знал, что слов на ветер она не бросает, но ответа найти не смог. Бабушка же — так ему показалось — ответа ждала, хотя что же он мог на это сказать? Глеб промолчал еще и оттого, что к горлу подкатил комок. Он понимал, что всё говорится серьезно. Бабушка очень изменилась: высохла, как-то вся побелела и стала нематериальной. Она больше не была Антониной Павловной — была именно бабушкой. В день отъезда Глеба с Катей снова произнесла: я скоро умру. На этот раз Глеб ответил с деланным спокойствием: все умрут, я тоже умру. Бабушка грустно посмотрела на него и сказала: но ведь я — раньше. Тогда ему казалось, что нарочитая эта грубоватость встряхнет ее, не даст раскиснуть. Потом понял, что жестоко ошибся, и никогда этой фразы себе уже не простил. Впервые в жизни бабушка просила его о поддержке — в самом, наверное, трудном деле. А он оставил ее наедине со смертью. На похороны в Киев он вылетел один: Катя в это время была в Берлине. Отпевали бабушку во Владимирском соборе. Священник подсказывал молодому

дьякону тексты молитв, и это было похоже на тренировку по отпеванию. Глеб испытывал что-то мутное и темное, осознанное им позднее как предчувствие катастрофы. Дело было, конечно, не в дьяконе. Глебу показалось, что пол закачался, а знакомая с детства роспись Васнецова, словно спасаясь от грядущих перемен, стала покидать стены. Из какого-то темного места досрочно освобовился дракон и, объявив, что берет храм под свое крыло, кружил по соборному пространству, галантен и огнедышащ. От гонимых им воздушных потоков в ужасе шарахнулось пламя свечей, затрепетали одежды стоявших у гроба, а по облачению отпевавших побежали искры. Одна лишь бабушка сохраняла самообладание. Вид ее успокаивал и вселял в присутствующих оптимизм. Через два дня Глеб улетел в Петербург. В аэропорт его провожала Ирина. Сидя в бориспольском кафе, она рассказала, что Кук уже давно сделал ей предложение, но, ухаживая за бабушкой, она, разумеется, не могла его принять. Вчера вечером ей звонил Кук, и она ответила согласием. Это не значило, что она тут же отправляется в Австралию — предстояло решить много рутинных вопросов, — но курс был взят. Ирина говорила без выражения, словно стесняясь. Не зная, возможно, как отнесется к этому сын, хотя было ведь понятно, как отнесется. Глеб ее поздравил и предложил тост за Ирину с Куком. Хорошо звучит, одобрила Ирина, уже ради этого стоило выйти за него замуж. И тут Глеб увидел, как она счастлива. Она рассказывала о брисбенских субтропических парках и бесконечных дождях, об аборигенах и каторжниках. Самое интересное (Ирина заказала еще по бокалу вина), что ее Кук как раз и был потомком английского каторжника: тот еще у нее жених. Глеб

чуть не опоздал на рейс. В полете он думал о бабушке. Прижавшись носом к иллюминатору, всматривался в облака. В конце концов он ее увидел. Она брела, сгорбившись, вверх по пологому облаку. Заоблачная жизнь чем-то напоминала обычную: дома, деревья, животные. Всё, включая бабушку, из белого, летучего, влажного. Бабушка шла к большому облачному дому, где ее, по-видимому, ждали. В руках держала хозяйственную сумку, хотя хозяйством, по сути, давно не занималась. Однажды не дошла до продовольственного магазина (ей помогли вернуться обратно) — и больше уже не выходила. Только во двор. Магазин стал с тех пор делом Ирины, которая ухаживала бы за матерью столько, сколько бы потребовалось. Конечно, бабушка всё понимала. У каждого из двух близких её людей начиналась своя жизнь, но ни в одной из этих жизней ей не было места. И она умерла.

13.01.14, ПЕТЕРБУРГ

Мы с Катей завтракаем в нашей петербургской квартире. Звякает микроволновка с булочками. Эхом отдается Катин мобильник.

— Эсэмэс от Веры. Спрашивает, не можем ли мы остаться еще на несколько дней. — Катя раскладывает булочки по тарелкам. — Почему ты молчишь?

— Девочке непросто...

Меня перебивает звонок Нестора. Завтра он собирается ехать с нами в аэропорт — когда ему прийти? Обещаю ответить вечером. Кладу телефон на стол. Чайной ложкой Катя подталкивает телефон ко мне:

— Позвонишь Геральдине, что мы задерживаемся?

— Геральдина сойдет с ума.

— Кто сошел с ума, так это Анна. Когда мы сидели с ней — ну, тогда, у компьютера... Я сначала думала тебе не рассказывать. — Катя помешивает в кофе сахар. — Она мне описала ваше приключение.

— Приключение — подходящее слово.

— Во всех, между прочим, деталях. Мне показалось, что она не против это повторить.

— Анна действительно больна. Она на учете в психбольнице.

— Не удивляюсь... И в этих условиях ребенок борется за жизнь. — Вставая, Катя резко отодвигает стул. — Я позвоню Вере.

Пожимаю плечами.

— Что ты ей скажешь, Катюш? Что мы заменим ей мать? Давай подумаем, как быть.

Но Катя уже звонит, ставит телефон на громкую связь. Вера отвечает как-то сонно. Да, посылала сообщение. Вчера вечером у Анны был припадок... Верин голос перекрывается свистком чайника. Какой припадок? Нервный. Анну увезли в больницу. Катя оглядывается на меня. Говорит девочке, что мы сейчас приедем.

Через полчаса мы у Веры. Катя не знает, как выглядит квартира после нервного приступа, и осторожно оглядывается по сторонам. Похоже, всё благополучно. Нет, не всё. Катин взгляд падает на трещину в аквариумном стекле. В прошлый раз ее не было, она бы заметила. Катя принимает решение, которого ей сейчас со мной не обсудить. Обняв девочку, просит ее пожить у нас — до возвращения Анны. Катя говорит спокойно, но внутренне волнуется.

Вере нужно время, чтобы собрать вещи. В старый матерчатый чемодан ложатся одежда, книги, кассеты... Аквариум — как оставить рыб? Или оставить

и ежедневно приезжать для кормежки? Я-то считаю, что треснувшее стекло в любую минуту может лопнуть, а потому воду нужно слить. Пока Вера собирает все необходимое, я наполняю аквариумной водой две трехлитровые банки и начинаю пересаживать в них рыб.

Вера и Катя время от времени поглядывают, как я орудую сачком.

— Virtuoz, — не удерживается Катя.

Зрелище необычное, но смеяться присутствующие считают невежливым. Пересадив рыб в банки, достаю из тумбы шланг и погружаю широкий его конец в воду. Другой конец шланга беру губами и что есть силы втягиваю воздух, за которым должна последовать вода — на полу для нее поставлено ведро. Опрокидывая мои представления о движении жидкости (оно виделось мне по-волжски неторопливым), аквариумная вода поднимается по трубке мгновенно. Прежде чем удастся направить струю в ведро, она бьет мне в рот, обливает лицо и одежду. Катя и Вера хохочут. Я, выплюнув воду в ведро, — тоже.

Первое, что мы делаем по прибытии на Мытнинскую набережную, — ищем в интернете новый аквариум. С молчаливого одобрения рыб его выбирает Вера. Катя звонит в магазин и просит доставить аквариум немедленно. Услышав, что ближайший срок доставки послезавтра, она передает трубку мне.

Аквариум привозят через час — видовой, с красивой подставкой по размеру и набором всего, что, по мнению сотрудников магазина, пришлось бы рыбам по сердцу. Ведро за ведром (к счастью, для этого не нужен шланг) мы с Катей наполняем его водой. Вера засыпает в аквариум песок и расставляет гроты. Под конец устанавливаются лампы, воздушный ком-

прессор, фильтр и обогреватель. Теперь вода должна отстояться.

Вечером приходят Нестор и Ника. Человек долга, Нестор с порога уточняет время завтрашнего выезда, но его вопрос остается без ответа. Он не сдаётся и повторяет вопрос иным образом: когда все садятся за стол, поднимает бокал и желает мне с Катей счастливого пути в Мюнхен (кстати, в котором часу мы выезжаем?). Катя останавливает его жестом, предлагая для начала выпить за Старый Новый год: этот странный русский праздник она очень ценит.

— Вы завтра улетаете? — спрашивает Вера.

От ее спокойствия Кате плохо. Она гладит Веру по спине.

— Нет, мы завтра не улетаем.

— Нестор произносит свои тосты впрок, — хлопая Нестора по плечу. — Просто он пишет книгу, в которой мы в конце концов должны улететь в Мюнхен.

Нестор сохраняет серьезность.

— Я только попытался выяснить, когда именно. Но, уж конечно, не завтра. — Он обводит сидящих продолжительным взглядом. — Это испортило бы всю книгу.

1988–1989

В общежитии Глеб и Катя прожили еще год. Катя продолжала учиться, а Глеб пошел учителем в школу на Петроградской стороне. Своего первого учительского дня он ждал не без воодушевления. В конце концов, всю предыдущую, пусть и недолгую пока жизнь он был только учеником. Первые месяцы

в школе Глеба не разочаровали. Он по-взрослому входил в учительскую, брал классный журнал и отправлялся на урок. Преподавал язык и литературу. На него были устремлены глаза, не потерявшие еще детской ясности и, пожалуй, доверчивости. В том, с какой готовностью (язык на верхней губе) дети записывали произносимые им слова, сквозила непоколебимая уверенность в правильности мироустройства, частью которого был он, Глеб, с его уроками. От избытка усердия его ученики постоянно что-то переспрашивали и уточняли — ему это нравилось. Глядя на них, Глеб думал, что вряд ли сейчас на свете найдется человек, за которым бы он так беззаветно что-либо записывал. Всё изменилось зимой, когда в связи с болезнью коллеги ему увеличили нагрузку и дополнительно дали вести девятый класс. Там были уже совершенно другие вопросы, а главное — глаза. Задавая вопросы, новые его ученики глаза отводили или, наоборот, смотрели не мигая, и в этом взгляде (так казалось Глебу) не было ничего, кроме бесстыдства. Вопросы задавали мальчики, но громче всех смеялись девочки: они понимали, что все усилия предпринимаются ради них. На уроке по *Преступлению и наказанию* Глеба спросили, почему он защищает преступника. Глеб, купившийся на этот вопрос, подробно объяснил, отчего исследование психологии убийцы ни в коем случае не является его оправданием. Из другого конца класса тут же заметили, что эту психологию Глеб Федорович знает подозрительно хорошо. Когда стих хохот, грустный голос спросил: не убивали ли вы, Глеб Федорович? Голос принадлежал Крючкову, высокому прыщавому парню с задней парты. Глеб, осознавая, что пришло время действий, попросил его назвать отчество

Раскольников. Ответ был дан тем же печальным тоном: Федорович. Ликование стало всеобщим, и унылое *садись, два* лишь подняло градус. Ответ получался не только смешным, но и героическим. На следующем уроке, когда речь зашла о Соне Мармеладовой, окрыленный Крючков снова задал вопрос. Теперь, когда с убийцами они всё выяснили, его интересовало, исследовал ли Глеб Федорович психологию проституток. Присутствующие отозвались негромким смехом. Как сказала бы их учительница английского, это было немного *too much*. Глеб Федорович смотрел на Крючкова, испытывая полноценную ненависть. Ты хочешь оттопыриться перед девочками? Глеб медленно подошел к ученику. Так вот, лучше не делай этого за мой счет. А то что, сдержанно уточнил Крючков. Слово *оттопыриться* произвело на него впечатление. Глеб захлопнул том Достоевского и поднес к самым глазам Крючкова. Я хочу, чтобы ты понял, что за преступлением следует наказание. С этими словами Глеб перешел к образу Мармеладова. В конце урока по обыкновению спросил, есть ли вопросы. Руку опять поднял Крючков. Глеб бесстрастно кивнул. У меня, Глеб Федорович, вопрос: зачем мне нужна русская литература? Учитель вышел из-за стола и медленно направился к ученику. Класс замолчал в ожидании рукоприкладства. Судя по всему, на этом этапе отношений оно уже казалось всем естественным. Подойдя к Крючкову, Глеб негромко сказал: тебе русская литература не нужна. Умственным трудом ты, дружок, явно заниматься не будешь. Станешь квалифицированным говночистом, унитаза будешь ловко менять. Голова заполнится совсем другим. Прозвенел звонок, и Глеб вернулся к столу. Наблюдая, как ученики молча выходят из класса, он

знал, что о сказанном будет жалеть. Крючков смертельно на него обиделся и перестал с ним здороваться. Правда, и рта на уроках больше не раскрывал. Убедившись, что название романа — не пустые слова, притихли и все остальные. Но победа Глеба не радовала, и школа начала его тяготить. Он осознал, что древо жизни оказалось совсем не таким, каким оно описано у Гёте. Собственно говоря, произносились-то эти слова Мефистофелем. Вот кому, если вдуматься, противостоял профессор Беседин, уговаривая Глеба поступить в аспирантуру. Напрасно, может быть, он не поступил: имел бы сейчас дело с сухой теорией и наслаждался жизнью. Но изменить ничего уже было нельзя. Он подписал бумагу о распределении и должен был отработать в школе три года, а профессор, увы, вскоре после Глебовой защиты умер. После, но не вследствие, грустно пошутила тогда Катя. Тем временем она тоже окончила университет. После некоторых усилий мужа (впервые в жизни он оказывал протекцию) ей удалось устроиться в Глебову школу учительницей немецкого. Теперь им предстояло срочно искать жилье, потому что с окончанием учебы никаких законных (а со смертью Беседина — и незаконных) оснований оставаться в общежитии уже не было. В газете объявлений они подчеркивали приемлемые варианты, а вечером, запасшись двухкопеечными монетами, шли в телефонную будку на набережной и обзванивали квартиру за квартирой. Автомат бессовестно глотал монеты, не устанавливая связи, но еще хуже было то, что минут через пять в дверь начинали настойчиво стучать. Тогда Глеб и Катя пошли на хитрость: они входили в будку по очереди, как незнакомые, но время переговоров это увеличивало незначительно. Вскоре им удалось снять недорогую однокомнатную

квартиру на Ржевке — в спальном районе города, который был именно что Ленинградом, а к Петербургу не имел никакого отношения. После жизни в центре Глеб долго не мог привыкнуть к однообразным панельным сооружениям. Невидимые великаны продолжали расставлять их с неутомимостью игроков в домино. Иногда ему казалось, что он видит гигантских размеров заскорузлые пальцы, чувствует запах *Беломора* и слышит убогие доминошные шутки. Одной из таких шуток Глебу представлялись названия ржевских проспектов и улиц. Проспект Ударников. Проспект Наставников. Улица Передовиков. Индустриальный проспект. Вот на Индустриальном и стоял их дом. Спустя всего несколько месяцев это название перестало их раздражать — они его не замечали. То же самое, вероятно, произошло бы и с ударниками, и с передовиками, и с чем-то еще более безнадежным. Они легко осваивались в мире, то есть делали мир своим, заполняя его трещины своей любовью. Индустриальный проспект становился *их* проспектом, и в нем отыскивались признаки архитектуры, тесная квартира превращалась в *их* квартиру, она расширялась и становилась уютнее. В старости это свойство уходит. Наступает возраст, когда обогреть собой окружающую среду больше не получается. Старики мерзнут. Они не могут согреть даже собственного тела.

20.01.14, ПЕТЕРБУРГ

Ужинаем с Катей и Верой. Вера аккуратно кладет нож и вилку на край тарелки.

— Я спросить хотела... А нужно, чтобы в школу и из школы меня возил ваш шофер?

— Раз уж мы наняли шофера, должен же он кого-нибудь возить. — Разливаю сок по стаканам. — Мы теперь почти не ездим. Парень потеряет квалификацию.

— Я серьезно. Все в классе уже это знают. Мне как-то... Ну, стыдно вроде.

Катя поправляет Вере упавшую на лицо челку.

— Если в классе это знают — значит, знают и то, что всё объясняется медициной, а не этими, как их...

— Понтами? — догадывается Вера.

— Вот-вот, понтами. Почти французское слово. — Катя целует ее в лоб.

— Я сегодня пытался навестить Анну, — говорю. — И меня не пустили. Сказали: рано еще. Особенно вам, мне то есть. Я не очень понял, что это значит.

Катя смотрит на Веру. Вера опускает глаза.

— Ну, видно, мама там зажгла.

— Зажгла... — повторяет Катя задумчиво. — Это она аквариум разбила?

— Да, цветочным горшком. Бросила в меня, но промахнулась.

— Из-за чего?

— Сказала, что я хочу увести у нее Глеба. — Вера закрывает лицо руками, и голос ее звучит как объявление в троллейбусе. — Что Глеб на нее запал, а я стою между ними. Рассказывала, что они с Глебом...

— Верочка... — протягиваю ей носовой платок. — Давай сыграем что-нибудь.

Звонит Катин телефон.

— Ja, hallo...

Мы с Верой переходим в соседнюю комнату, где стоит синтезатор. Вера, сев за инструмент, прохо-

дится по клавиатуре. Осторожно беру аккорд в той же тональности. Пальцы заметно дрожат.

— Домик колеблется. — Беру еще один аккорд. — Грозит рухнуть.

Вера кладет поверх моей ладони свою.

— Я буду держать твою руку до тех пор, пока она не выздоровеет, хочешь?

— Боюсь, что держать придется долго.

Движением цыганки она поворачивает мою руку ладонью вверх, внимательно рассматривает.

— Рука не может не выздороветь, иначе где же справедливость? Твои пальцы играли такое тремоло, а теперь плохо справляются с ножом. Я смотрела на тебя за обедом. — Она сжала мою ладонь. — Хочется оживить твои пальцы, потому что сейчас они как какой-то механизм.

— Механизм для вылавливания призов. — Осторожно высвобождаю ладонь. — Какой ты хочешь приз?

Вера задумывается.

— Я вот играла Альбинони, а ты подпел мне в конце. Может, попробуем теперь с самого сначала?

Я надуваю щеки и зажмуриваюсь. Она берет несколько нот из *Адажио*:

— Тебе не нравится эта музыка?

— Ну что ты! Просто мне предписано гримасничать. Врачом, между прочим.

— Здорово. А музыка как?

— Врать не буду: нерадостная.

— Когда ты вступил, это было как... — Вера делает пол-оборота на крутящемся стуле. — Ну, вот ты едешь себе в машине, а она вдруг взлетает. Можешь себе представить, как взлетает хорошая машина — ну, допустим, *мерс*?

— Запросто. Даже *жигуль* могу. Если к нему приделать крылья.

Вера прижимает ладонь к моим губам.

— Вот ты и был этими крыльями! Давай попробуем еще раз.

— Мое дело солдатское. — Переключаю синтезатор в другой режим. — Орган?

— Орган. — Она пробует непривычно звучащие клавиши. — И твой голос.

Вслед за вводными тактами я вступаю с темой. На фоне органа голос звучит лучше, чем я думал. Резкость на верхних нотах уравнивается бархатом на нижних. С точки зрения вокала совершенно неправильный, начиная со звукоизвлечения. С мобильником в руке на пороге комнаты нас слушает Катя. Лицо — зеркало, дышит трагизмом. Глаза распахнуты, дрожат ноздри, и это у нее больше, чем слёзы. Когда стихает последняя нота *Адажио*, молча обнимает нас — сначала Веру, затем меня.

— Сейчас звонил Майер — он дозрел до вашего дуэта. Я ему на днях эту идею подбросила, но он сомневался. А сейчас готов продюсировать, спрашивает: что будем петь? *Адажио!*

Смотрю на Катю в воображаемый лорнет.

— И всё?

— Нет, не всё. Вы с Верой подготовите репертуар, и Майер организует турне. Это вытащит из трясины вас обоих. Вера, конечно, еще маленькая, но в этом ее сила.

— В чем тогда моя сила? — интересуюсь: не маленький ведь.

— В том, что ты такой раскрученный старый пе-рец. Который, что бы ни делал на сцене, на него всё равно придут. Девочка, ты согласна?

Согласна ли? Девочка. Несколько раз кивает, краснеет, и с румянцем на лице проступает вся ее детская сущность.

— Завтра сообщу Майеру о вашей согласии. — Катя щиплет меня за ухо. — Согласии, да? Заодно скажу об Альбинони.

— Говорят, что *Адажио* написал не Альбинони, — докладывает Вера. — Что кто-то другой.

Катя ставит руки рупором и почему-то произносит шепотом:

— Ремо Джадзотто. Глеб познакомился с ним незадолго до его смерти.

— Познакомился?

Вера переводит взгляд на меня.

— Когда-то я играл эту вещь. Сначала всё не мог понять, как к ней подступиться, и поехал во Флоренцию к Ремо... — Выключаю синтезатор. — Но тогда я еще не знал, что он автор. Никто не знал.

1990

Жизнь на Ржевке оказалась непростой, но через годы вспоминалась благодарно и с любовью. О привычке всюду ходить пешком пришлось забыть. Утром Глеба и Катю ждал переполненный автобус, который вез их к такому же переполненному метро. На самом деле и не ждал даже. Испуганные обилием людей на остановке, водители часто проезжали мимо, не останавливаясь. На обратном пути у Глеба и Кати возникала противоположная проблема: порой им не удавалось выйти, и автобус вез их лишнюю остановку. Выходили на проспекте, названном ими Постиндустриальным, потому что находился он еще дальше Индустри-

ального. Впервые в жизни они по-настоящему боялись опоздать, ведь теперь их ждал не университетский преподаватель, а целых два класса. Не раз и не два им приходилось приезжать на такси, что не на шутку встревожило педколлектив. В лучшем случае такие поездки говорили о Глебе и Кате как о людях, встающих поздно, в худшем — как о баловнях судьбы и прожигателях жизни. Последнее подозрение выглядело особенно тяжким. Учителям, борющимся за каждый час учебной нагрузки, было непросто смириться с тем, например, что Глеб получил дополнительный класс. И хотя повышение скудного жалования Глеба выразилось в считанных рублях, эти рубли были действительно посчитаны. Существовал, в представлении коллег, и другой источник сладкой жизни — Катя. Профессорская дочка из Берлина не могла не получать поддержки от родителей. Примерную сумму помощи коллеги также определили. В остальном к молодой паре относились с симпатией и даже давали ей педагогические советы. Симпатия могла бы быть еще глубже, если бы стали известны подробности родительской помощи Кате. Она была умеренной и в студенческие годы. Когда же Катя написала им, что устроилась на работу, помощь прекратилась. Вместо очередного, пусть и небольшого перевода ей пришли поздравления с началом трудовой деятельности. Хотя сама деятельность Кате нравилась. Нравилась дети (она представляла, что у них с Глебом будут такие же), в какой-то степени коллеги и даже уборщицы, встречавшие ее загадочным набором звуков — громких, но доброжелательных. Этим людям приятно было думать, что они здороваются с учительницей на немецком языке. Особое чувство у Кати вызывали портреты немецких классиков на стенах кабинета.

После прошедшей войны виселось им косовато, хотя никто и не думал их ни в чем обвинять. Катя осознавала неловкость их положения и в свое приветствие вкладывала все возможное тепло. Классики отвечали ей тем же: они давно скучали по крепкому немецкому *гутен морген*. Об утреннем обмене любезностями знала вся школа, и отношение к Кате становилось от этого только лучше. Она была человеком вне ряда, а к таким обычно не испытывают плохих чувств. Кроме того, Катя была просто добрым человеком. Это, видимо, и стало главной причиной того, что коллеги не злословили, уборщицы здоровались, а ученики не срывали уроков. Сложилось так, что в Катиной немецкой группе оказался разочарованный в русской литературе Крючков. Как ни странно, на немецкий язык его разочарование не распространялось. Он старательно выполнял самые трудные домашние задания, причем делал это не без блеска. На страноведческих занятиях с готовностью помогал устанавливать экран и настраивал слайдоскоп. Так от Кати Глеб с удивлением узнал, что Крючков способен быть вменяемым парнем и нисколько не *оттопыриваться*. Но этим сообщением Катя не ограничилась. В один из дней она попросила Крючкова помочь ей отвезти домой две пачки книг. Крючков, в глубине души джентльмен, без лишних слов взял тяжелую сумку и отправился сопровождать Катю. Видимо, он почувствовал какой-то подвох, потому что, поставив сумку у дверей квартиры, попытался откланяться. Катя же (как это — уходить?!) сказала, что теперь просто обязана угостить его чаем. В квартире Крючков увидел понятно кого, но уходить не стал. Это было бы слишком похоже на бегство. Не глядя Глебу в глаза, Крючков пробормотал что-то невнятное. Глеб подал ему

руку: сердисься на меня? Крючков промолчал, но руку пожал. Когда сели за стол, Глеб сказал, что хочет попросить у гостя прощения. Крючков покраснел. Нарисовал на скатерти треугольник и впервые посмотрел на Глеба. Да ладно, сам виноват. Понтовался. Забыто. *Понтовался*, прошептала Катя. Повернулась к Глебу: а ты в школе понтовался? Еще как, ответил Глеб, *на всю катушку*. По движению Катиных губ было ясно, что и это выражение для нее не пропало. Потом пили чай с тортом. Учитывая внезапность просьбы, следовало признать, что Катя хорошо подготовилась. После торта как-то само собой выяснилось, что Крючков съел бы и бутерброд с сыром. А может быть, и пельменей, которые Катя тут же стала варить. Мысленно она ругала себя, что с самого начала не предложила мальчику обед. Когда были съедены и бутерброд, и пельмени, Крючков рассказал, как ловил с отчимом рыбу на льду Финского залива, как их льдина откололась, ее понесло в открытое море и рыбаков спасал вертолет. Сообщил также, что рыба в заливе вкусная, но пресноводная: Нева сбрасывает в залив такое количество пресной воды, что у него просто нет шансов остаться соленым. Нева же (здесь Крючков попросил еще один бутерброд) — это, как ни странно, не река, а естественный канал между Ладогой и Балтикой, и оттого у нее нет весенних речных разливов. Невские наводнения происходят оттого, что сильнейшие ветры с Балтики загоняют ее обратно в русло. Крючков хотел было рассказать также историю наводнений, но был мягко остановлен. Глеб выразил восхищение эрудицией ученика. Признался, что не догадывался, какой Крючков глубокий и разносторонний человек. Отпросившись на минуту в туалет, Крючков по возвращении сообщил

собеседникам, что название унитаза связано с фирмой *Unitas*, производившей этот незамысловатый, но важный предмет. Общение закончилось за полночь, так что Крючкова отправили домой на такси. С тех пор парня как подменили. Когда на уроках русской литературы он первым поднимал руку, никто уже не смеялся. Все знали, что ответ Крючкова будет самым полным, хотя, может быть, и чуточку длинным. После памятного вечера на Индустриальном проспекте педагогическая жизнь Глеба вернулась в мирное русло. Бунты больше не повторялись, отношения с коллегами крепили день ото дня, и даже программу курса русской литературы, нелюбимую Глебом, удалось слегка подправить. Не особенно об этом объявляя, он сокращал изучение душноватых советских классиков и в сэкономленное время читал своим ученикам Лескова, реже — Платонова и Булгакова. Ученикам нравилось. В один из выходных он повез крючковский класс в Комарово на могилу Ахматовой, и, передавая друг другу потрепанный томик, ученики по очереди читали ее стихи. Поездку можно было бы назвать звездным часом Глеба-педагога, если бы не одно странное обстоятельство. В этот самый час Глеб неожиданно почувствовал усталость. Даже нечто большее: равнодушие и разочарование. Ему стало казаться, что путь, по которому он пошел, себя исчерпал. Так впервые в своей жизни Глеб осознал, что успех одновременно может быть концом. В один из осенних вечеров — как обычно, за ужином — Глеб и Катя смотрели телевизор. Увидев, как штурмуют берлинскую стену, Глеб сказал: вот куда сейчас надо ехать, там жизнь. Махнем? Махнем, отозвалась эхом Катя. Ужин как ни в чем не бывало продолжился, и они говорили о других вещах. Но Глебовы слова —

независимо от того, серьезно ли они были сказаны, — Катю поразили: сама возможность отъезда куда-то не приходила ей в голову. Оказывается, такая возможность существовала. И еще: Катя не предполагала, что на Глеба способна произвести впечатление революция. Он всегда казался ей человеком внутренним, к сфере общественного равнодушным. В конце концов высказывание Глеба она объяснила усталостью от школы. Катя и сама начала от нее немного уставать.

01.02.14, ПЕТЕРБУРГ

Среди ночи просыпаюсь от звука шагов. Набрасываю халат и выхожу в коридор. Свет пробивается из комнаты, в которой стоит синтезатор. Надев наушники и отключив звук динамиков, Вера перебирает клавиши. Не слышит, что я вошел. Чтобы не испугать ее прикосновением, выключаю и снова включаю свет. Вера оборачивается, снимает наушники. Целую ее в лоб.

— Что ты играешь?

— Репетирую *Адажио*.

— Ночью?

Сажусь в кресло-качалку.

— Ты говорил, что видел Джадзотто. Как он тебе?

— Обычный господин, похож на директора школы. Работал где-то на радио. Преподавал. В конце пятидесятых объявил, что нашел фрагмент неизвестного сочинения Альбини — шесть, что ли, тактов — и восстановил его.

— По шести тактам?

— Так он говорил. Хочешь морса?

Вера кивает, и я приношу из кухни два стакана с морсом.

— Это так странно, — Верины губы блестят от влаги, — приписать свою музыку другому.

— Пожалуй. Обычно всё происходит наоборот.

— Но раз теперь правда известна, неправильно называть это музыкой Альбини.

— Согласен. Наше выступление можно будет объявить так: Ремо Джадзотто, *Адажио Альбини*. Хотя то, как мы будем объявлять, для них обоих уже не имеет значения. Да и для музыки тоже.

Пройдясь по комнате, Вера присаживается на подоконник.

— Я играла и думала, что такую музыку можно написать только перед смертью.

— После своего *Адажио Джадзотто* прожил еще лет тридцать. Но в каком-то смысле ты права. Я думаю, он действительно готовился к смерти. Привыкал к ней.

— Разве можно привыкнуть к смерти?

— На это дается достаточно времени. Целая жизнь.

— А если не дается? — Встав с подоконника, девочка подходит к журнальному столику. — Каталог итальянской недвижимости...

— Да, мы с Катей хотели, чтобы ты это посмотрела.

Вера садится в кресло, я устраиваюсь на подлокотнике.

— Поццуоли... Где это?

— Под Неаполем. Вот здесь, — показываю на фотографию порта, — высаживался апостол Павел по дороге в Рим.

— Здорово снято.

— Чувствуется даже эта жара, правда?

— Это из-за ящерицы на камне. И воздух над ним, смотри, мутный.

— А это вилла. Тебе нравится?

— Я думала, музей. На самом берегу — круто. Просыпаешься и видишь море. — Вера переворачивает страницу. — Эта девушка похожа на Катю... Катя говорила мне, что у нее была зависимость...

— Была. Благодаря тебе теперь все по-другому... А это в Калабрии, тоже на юге. Скалея. Городок в табакерке.

— И звучит по-сказочному: Скалея... Ты хочешь уехать туда?

— Почему — *ты? Мы*. Если у тебя, конечно, нет возражений.

— А мама? Позавчера мы с Катей ее навещали.

— Знаю. На днях ее переведут в частную клинику, а там посмотрим.

Где-то внизу проезжает первый троллейбус. Щелканье штанг на стыке проводов.

Хорошо, что Вере завтра не идти в школу: по рекомендации врачей ей дали освобождение до сентября. Музыка, напротив, посоветовали не бросать — просто заниматься ею без переутомления.

— Это правда?.. — Вера смотрит в окно. — Ну, про тебя с ней, в юности?

— Правда.

— Мама рассказала мне это раза три. Она уверена, что ты ее до сих пор любишь.

1991

19 августа, утро. Глеба разбудил звонок отца. Не тратя времени на приветствие, Федор спросил: у вас теж *Лебедине озеро*? Это было похоже на пароль, но ответных слов Глеб не знал. Мог бы, конечно, задать встречный вопрос — не начал ли Федор, чего доб-

рого, снова пить? — только на такие вопросы отцу он не имел права. К тому же по голосу было ясно, что Федор трезв. Он сообщил Глебу, что в стране переворот, а по телевизору безостановочно крутят *Лебединое озеро*. Ніколи¹ не любив цього балета. Надто² він цукерковий³, а я не цінувач⁴ солодощів⁵. Зная отца, Глеб приготовился к подробному разбору балета, но Федор был краток. Чим ця історія скінчиться, одному Богу відомо. Скажу лише одне: будь обережний⁶, синку, і пам'ятай, що в тебе є брат Олесь. Помагайте одне одному. Помолчав, добавил: от тобі і *склонение существительного путь*. Відтепер⁷ це робитимуть⁸ у множині⁹, бо єдиної путі в Росії і Україні більш не буде. Положив трубку, Глеб включил телевизор и прослушал *Танец маленьких лебедей*. Выбор музыкального сопровождения для переворота ему понравился. Выглянул в окно — там все было как обычно. Даже очередь в пункт сдачи стеклотары не уменьшилась. В эти дни Глеб жил один: Катя улетела в Берлин навестить родителей. То, что она ездила одна, вызывало у него недоумение. Первую поездку он еще мог объяснить тем, что они не состояли в браке, но сейчас никакого объяснения не было. Катя отделалась коротким *так будет лучше*, а спрашивать Глеб считал ниже сво-

¹ Никогда.

² Слишком.

³ Конфетный.

⁴ Ценитель.

⁵ Сладостей.

⁶ Осторожен.

⁷ Отныне.

⁸ Будут делать.

⁹ (Во) множественном числе.

его достоинства. Досмотрев *Лебединое озеро* до конца, не стал дожидаться повтора и поехал в школу. Сам не знал, отчего именно туда. Потому, может быть, что все, кому он мог бы позвонить, были в отъезде, а дома оставаться не хотелось. В школе царило полное спокойствие и мирно пахло краской: команда маляров наводила последние штрихи. Учителя готовили классы к началу учебного года или молча сортировали раздаточный материал. Иногда перешептывались. Громко о происходящем в стране говорил лишь учитель Круглов, преподававший предмет *государство и право*. Переходя из класса в класс, он информировал коллег о том, что государство и право наконец-то возвращаются. Наименее надежным членам коллектива, среди которых он числил и Глеба, скупко сообщал, что невиновных не тронут. От этого обещания расплакались две учительницы английского: они понимали, что главным обвинением против них будет их предмет. Глебу Круглов дал понять, что располагает сведениями о том, как именно он преподавал советскую литературу, но (в голосе Круглова зазвучал металл) это еще не значит, что Глеба автоматически признают диверсантом. Уходя, обернулся: короче, нужно разбираться. Когда же Глеб поинтересовался, кто именно будет это делать, Круглов хмуро бросил: органы — и перешел в следующий кабинет. Во второй половине дня педколлектив был собран директором, зачитавшим присланное из обкома разъяснение текущего момента. Единственной фразой, принадлежавшей самому директору, было утверждение, что *этого* не могло не произойти. Сказал он это металлическим кругловским тоном и, говоря, преданно смотрел на Круглова. Интонация делала высказыва-

ние вполне лояльным к путчистам, так что даже Круглов одобрительно кивнул головой. Но директор оказался дальновиднее, чем можно было подумать. В дальнейшем эта же фраза, произнесенная с горечью и как бы даже в растерянности, послужила доказательством его сопротивления заговорщикам. Круглов же за поддержку путча через неделю был уволен. Впрочем, 19 августа никто, включая Круглова, об этом не догадывался, и дело казалось безнадежным. Выйдя из школы, Глеб долго бродил по городу. Дома оказался только под вечер и еще с порога услышал телефонный звонок. Это была Катя, она плакала. То, что Глеб не подходил к телефону весь день, заставляло ее предполагать худшее. Катя просила его быть осторожным и сообщила, что прилетает завтра вечером. Глеб протестовал. Отвергнув самую мысль о возвращении, он назвал Катю женой декабриста. Судя по сопению в трубке, ирония осталась непонятой: очевидно, о декабристах в ГДР знали слишком мало. Большая удача, что ты в Берлине, пояснил Глеб, поскольку неясно, что здесь завтра будет. Именно поэтому я лечу, ответила Катя. Фоном этой фразы была возмущенная немецкая речь. По всей вероятности, в отношении Катиного возвращения ее родители были на стороне Глеба. Положив трубку, он стал варить картошку в мундире. Включил было радиоприемник, но знакомая волна встретила его гробовым молчанием. Глеб почувствовал себя одиноко. Очищая картошку от кожуры, он с грустью вспоминал восхитительные Катинины трапезы, не имевшие ничего общего с нынешним приемом пищи. Когда почти вся картошка была съедена, из забытого им приемника раздался шорох, сопровождавшийся тихим бормотаньем. По

силе воздействия это могло бы сравниться с первым радиосигналом, отправленным Поповым. Глеб прекратил жевать. Кто-то прочистил горло и объявил, что в эфире подпольное радио *Открытый город*. Голос сменился шуршанием (кто вы, обитатели подполья?), но через минуту усилием воли снова вышел в эфир. Сквозь треск и затухания сообщил, что на город идут танки Псковской дивизии. Всех мужчин города призвал приехать на Исаакиевскую площадь и встать на защиту городского Совета. Советовал взять теплые вещи и зонтик, поскольку стоять придется всю ночь. Треск. Тишина. Но главное Глеб слышал: Исаакиевская площадь. Он и сам не заметил, как в руке его оказался зонтик: значит, все-таки едет. На мгновение испытал неловкость перед Катей: он обещал ей быть осторожным. Задумался. Выполняя обещание, будет осторожен там, на Исаакиевской площади. Уже выйдя, обнаружил, что оставил зонтик в прихожей, но возвращаться не стал. На город идет танковая дивизия, а он, привет, с зонтиком, как-то даже смешно. Огляделся. Индустриальный проспект был пуст. Глеб посмотрел на часы: начало первого. Как же долго можно есть картошку. Он решил ловить такси; минут через пятнадцать поймал. Сел на заднее сиденье: так поступают те, кто не хочет вести разговоров. Глеб не хотел. Еще утром искал в школе собеседников (нашел Круглова), сейчас же был благодарен таксисту за молчание. На Большой Морской тот коротко сообщил: баррикада, дальше пешком. В этой фразе Глебу почудилось что-то сказочное: а дальше мне нельзя, дальше уж ты, Иван-царевич, как-нибудь сам... Из бесформенного, от тротуара до тротуара, сооружения фары машины вырвали детали: батарея отопления, кресло

без ножек, по верху же безлиственной северной лианой — колючая проволока. Надо же, нашли где-то проволоку, пробормотал Глеб, доставая кошелек. Теперь на каждого хватит, отозвался таксист. Брать деньги категорически отказался. Общее решение таксопарка — на Исаакиевскую возить бесплатно. Обойдя баррикаду у самой стены дома, Глеб пошел по направлению к площади. Там былолюдно и как-то даже празднично. На баррикадах, закрывших прилегающие улицы, наводился последний лоск. Там, где на защитное сооружение не хватило материала, устанавливали рейсовый автобус №22. Милиционеры с доброжелательными лицами разливали по бутылкам коктейль Молотова. К Глебу подошел человек в камуфляже и сказал, что прикрыть площадь полностью не представляется возможным, слишком уж много здесь открытых пространств. А кроме того (он закурил), имейте в виду, что здесь пойдут *тэнки*. Тэнки. Произносил это с коротким злым э. Пройти баррикады для *тэнков* — раз плюнуть. В них завязнут те, кто будет убегать, когда тэнки ворвутся на площадь. Ваши предложения, по-военному отчеканил Глеб. Человек пожал плечами и отошел. Глебу окончательно расхотелось вести разговоры. На площади, где все говорили со всеми, к нему больше никто не обратился. Это братское, взявшись за руки, стояние ввиду грозящей опасности его не грело. Он остро чувствовал, что смерть наполнена одиночеством, она разрывает любые руки. Разбрасывает обнявшихся, как, чего уж тут, танк баррикаду. Тэнк. Глядя на памятник Николаю Первому, Глеб подумал, что, когда на площадь войдут танки, убегать и в самом деле будет бессмысленно. Лучше прижаться к цоколю, выдох-

нуть и ждать. Танк вплотную к памятнику подъехать не сможет, пушка помешает. Или не помешает — Глебу стало смешно. Между тем Псковская дивизия приближалась — об этом сообщил динамик на стене Мариинского дворца. Невеселый такой был динамик, со слабостью к чернухе. Заговорил о Москве, упомянул о том, что на гусеницы танка там уже успела намотаться первая жертва. Проходя мимо карет скорой помощи, Глеб попытался представить себе характер увечий. Не смог. Устал. К середине ночи фантазия не работала. Глебу казалось, что, появившись сейчас вся дивизия целиком, он бы уже не испугался — наступило отупение. Но дивизия не появилась. Под утро было объявлено, что все могут расходиться. Рядом с Глебом кто-то сказал, что по ходу следования танкисты выводили из строя свои машины, так что в конце концов пришлось отдать приказ об остановке. Таксисты... Глебу почудилось: таксисты. На Невском он без труда поймал такси. Откинувшись на сиденье, почувствовал, что засыпает. Таксисты (подумал) свои машины из строя всё же не выводили. Не было у них такой задачи. И ощутил тихую радость.

06.02.14, ПЕТЕРБУРГ

Мы с Нестором обедаем в ресторане на Петроградской стороне.

— Вернемся к тому, что ты рассказывал об Исаакиевской площади, не возражаешь? — Нестор медленно погружает ложку в грибной суп. — Хочу кое-что уточнить. Как ты там вообще оказался? Ты вроде бы не любитель таких тусовок.

— Это сейчас не любитель. А тогда мог и поучаствовать. Я, Нестор, был тогда совсем другим. Плюс, опять-таки, подпольное радио, отечество в опасности, все мужчины города... Это заводит.

— То есть не пошел бы сейчас на Исаакиевскую?

— Ни в коем случае. Ешь суп, холодный он будет невкусным.

— Ем... А может, сейчас ты просто стал осторожнее?

— Моя жизнь в последнее время складывается так, что я стал меньше бояться. — Ловлю внимательный взгляд Нестора. — Меня, дорогой, сейчас очень трудно испугать. Так же, как уговорить куда-то идти.

— Ну а, допустим, за идею? Всякая большая идея нуждается в защите.

— Да не нуждается она ни в чем! Защищай ее в себе.

— Проблемы всего народа в себе одном, боюсь, не решишь.

— А не надо решать проблемы народа — ты же видишь, чем это обычно кончается. Реши свою. Пусть каждый решит свою, и всё у народа будет в порядке.

— Складно получается... В конце концов, книга-то не обо мне. Моя задача — излагать твои рассказы без ошибок.

— То, что я до сих пор читал, безупречно. — Дожевываю кусок мяса. — Как этот стейк.

— Значит, не зря ты боролся с путчистами. Они бы такого стейка никогда не допустили.

— Ты думаешь?

— Еда должна была оставаться невкусной — в этом состоял смысл путча.

Вытираю рот салфеткой.

— Знаешь, в чем твоя ошибка? Ты считаешь, что ради хорошего стейка нужно сменить систему. Я же думаю, что нужно просто научиться хорошо готовить. А система — она подтянется.

— Так потому она и система, что включает в себя много задач!

— Ну да, включает. Только это не мои задачи. Тысячи рискуют жизнью для того, оказывается, чтобы в итоге несколько господ за бесценок приватизировали скважины.

— Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?

Мое лицо принимает выражение *непоколебимой уверенности*. Меняется на *готовность уступить* — мне не жалко.

— Преувеличиваю, конечно.

Официант приносит мороженое и кофе. Расставляет всё с подчеркнутой почтительностью. Появшись, просит у меня автограф. Возможность получить автограф поднимает с мест несколько человек из-за соседних столиков. Спросив имя, расписываюсь на листках из блокнота, салфетках и меню. Последней подходит пожилая дама. На открытых плечах — татуировки. Серьги-цепи, десятка полтора браслетов — всё из серебра. Черные джинсы, жилетка, заклепки.

— Царице Ире, пожалуйста. — Встретив мой взгляд (*плохо скрываемое удивление*), она лезет в сумочку. — Так в паспорте. Вот...

Я киваю и пишу. Звеня браслетами, Царица Ира протягивает мне руку. Изящно, можно сказать, царственно. Касаюсь руки губами.

— Что ты ей написал? — любопытствует Нестор. — Пожелал спокойного царствования?

— Ей? Феерического переворота!

Ясным апрельским днем в жизни Глеба снова возник Клещук. Позвонил и спросил, может ли прилететь для разговора. Не дожидаясь ответа, сообщил, что взял билет на завтрашний рейс. Глеб наконец понял, о ком идет речь. Музыкальная школа, сольфеджио, построение трезвучий. Всё это казалось теперь таким далеким, что не сразу пришло на память. Десятки раз убитый Глебом на дуэли, Клещук оказался не только жив, но и был твердо намерен появиться в Петербурге. Прилетай, вяло откликнулся Глеб: ему было непонятно, почему нельзя всё обсудить по телефону. И Клещук прилетел. Он был по-прежнему толст, но теперь от него исходил специфический запах денег. Это выражалось не только в буквальном смысле (от Клещука пахло нездешним одеколоном): в скрипе дорогой кожаной куртки, в небрежно свисавшей цепочке от часов, в том, наконец, как вел себя сам Клещук, чувствовалось, что человек преуспел. Научился, возможно, строить трезвучия, подумал Глеб и оказался неправ. Причина благополучия Клещука имела другую природу. Он рассказал, что до недавнего времени играл на аккордеоне в одном из киевских ресторанов. Как-то раз ему выпала редкая удача: ужинавший в ресторане Ивасик захотел спеть и попросил его, Клещука, ему подыграть. Услышав, что Глеб не знает, о ком идет речь, Клещук изумился и пустился в подробный рассказ об Ивасике, одном из виднейших предпринимателей современности. Он долго перечислял, что продавал и перепродавал Ивасик, так что Глеб уже начал терять нить повествования. Вероятно, Клещук это почувствовал, потому что нить внезапно оборвалась на сообщении

о том, что сейчас предприниматель занимается *ри-тейлом* овощей. Здесь Клещук замолчал, чтобы оценить произведенное впечатление. Видя, что молчит и Глеб, Катя вежливо похвалила овощи как продукт, полезный для здоровья. Клещук не торопясь достал трубку и закурил. Видите ли... Ароматный дым выходил с каждой новой порцией слов Клещука. Видите ли, польза овощей оказалась значительней, чем это принято считать: они сделали Ивасика миллионером. А миллионер Ивасик (дым пошел кольцами) очень любит петь. Всегда любил. То есть не то чтобы он Паваротти, но голос его не назовешь отталкивающим, да и в тональность он в целом попадает. И вот, через месяц после исторической встречи, миллионер Ивасик приглашает его, ресторанного лабуха Клещука, в свой ресторан. Французский коньяк, икра, отдельный кабинет — всё, короче говоря, что могут предоставить человеку овощи. В разгар пиршества хозяин как бы между прочим спрашивает: а помнишь, как мы славно пели? Как же не помнить, отвечает (губы в икре) Клещук. Как ты мне подыгрывал? Еще как подыгрывал, вспоминает Клещук. Тут халдей вносит аккордеон, и Ивасик говорит: а давай, брат, споем? И пел весь вечер, и обливался слезами, и удивлялся тому, как Клещук подбирал ему любую мелодию. А закончив петь, спросил: нравится ли тебе, Клещук, мое пение? Тут уж и Клещука пробило на слезу: очень! Исполнитель помрачнел: а то некоторым в консерватории, епт, не нравится... Так ведь зависть, возмутился Клещук, зависть к настоящему таланту... Суки, согласился Ивасик. Профессура стебаная. А ты не хуже играешь. Клещук не стал возражать, умолчав, правда, что в консерваторию его в свое время не приняли. Тре-

звучия, спросил Глеб. Они самые, вздохнул Клещук. Далее он рассказал, что Ивасик, оказывается, решил доставить удовольствие друзьям и подготовить для них небольшой концерт. Клещук немедленно изумился тому, что такой талантливый человек не хочет доставить удовольствие широкой публике. Ивасик, в котором еще тлела искра здорового сомнения, спросил, точно ли его пение будет публике интересно. В ответ Клещук развел руками и словно бы задохнулся от избытка чувств. Конечно будет! Потому что если ее не заинтересует пение Ивасика, то что же тогда может такую публику заинтересовать? Я ведь даже не знаю нот, признался Ивасик. В этот момент Клещук увидел в нем что-то беззащитное. Но, по признанию Клещука, черная икра ударила ему в голову, и он уже не владел собой. Он заявил Ивасику, что, по его сведениям, Паваротти тоже не пользуется нотами, но при этом не последний в вокальном искусстве человек. Ивасик робко предположил, что его голос все-таки несравним с голосом Паваротти, на что Клещук ответил, что Ивасик — прирожденный лирический тенор, о чем он сам, возможно, и не догадывается. Ивасик и правда не догадывался — более того, даже о существовании такого голоса не подозревал. Клещук стал убеждать предпринимателя начать сольную карьеру и предложил положить на это все его, Клещука, силы и умение — во имя, разумеется, искусства. Проект созрел мгновенно и состоял в следующем. Для сопровождения восходящей звезды создавался квартет: аккордеон, скрипка, гитара и контрабас. Собственно, квартет мог бы быть и квинтетом, и секстетом, но, перебирая в уме надежных кандидатов, Клещук насчитал всего четырех. Название коллектива на-

прашивалось само собой: *Ивасик-квартет*. Лирический тенор растерянно улыбался, но не возражал. Попросил лишь, чтобы консерваторские не привлекались. Клещук — и это был час мщенья консерватории — заверил его, что это исключено: никто из кандидатов в *Ивасик-квартет* не учился в этом заведении ни дня. Что, помогли вам ваши трезвучия, думал он, перечисляя Ивасику имена музыкантов. Среди них было и имя Глеба. Именно за Глебом Клещук прилетел в Петербург. Трубка руководителя квартета набивалась уже несколько раз, и выпускаемые им кольца дыма казались теперь нулями в миллионах предпринимателя Ивасика. Вначале Глеб отказался. Он назвал это чистой авантюрой и сказал, что не будет в ней участвовать. Но Клещук не зря предпочел личный разговор телефонному. Здесь нельзя было повесить трубку, нельзя было даже просто сказать *нет*. За гостем лежали сотни преодоленных километров, он имел право на обсуждение. И он им воспользовался. Легко приняв слово *авантюра*, Клещук поинтересовался тем, сколько получает в месяц учитель Яновский. Сколько-сколько, переспросил Клещук с приложенной к уху ладонью. Сумма оказалась так мала, что он ее просто не расслышал. Руководитель квартета предлагал Глебу жалование, в пятнадцать раз большее. Плюс гонорары. Плюс интересная жизнь. Что ты называешь интересной жизнью, полюбопытствовал Глеб. Поездки, выступления... Клещук впервые обратился к Кате. По-моему, любая жизнь интереснее школьной, а? Катя пожала плечами: вы говорите так потому, что никогда не работали с детьми. Не работал, согласился Клещук. Выпьем за встречу? Он полез в сумку и — как последнее средство

агитации — достал оттуда коньяк и икру. Со стороны Яновских на столе появились макароны и шпроты. Глеб отдавал Клещуку должное: никаких попыток давления он больше не предпринимал. Вспоминал музыкальную школу. По его просьбе они с Глебом показали Кате сцену дуэли — Клещук падал все так же неумело. Зато в его сумке нашлась вторая бутылка коньяка. Под конец вечера Глеб спросил, какой репертуар видит для себя Ивасик. Прежде чем ответить, Клещук налил себе полную рюмку. Боюсь, обрадовать тебя здесь нечем: это не Стравинский и даже не Шостакович. Он выпил залпом. Но хорошие вещи мы можем играть и без Ивасика. Самолет Клещука вылетал только утром, и Катя предложила ему остаться на ночь. Гостиница, коротко доложил Клещук. *Европейская*. Он был заметно пьян. Уходя, оставил Глебу визитную карточку. Я подумаю, пообещал Глеб. Ты говоришь так, чтобы сейчас от меня отделаться, вздохнул Клещук. Но я знаю, что ты в самом деле подумаешь. И согласишься.

24.02.14, ПЕТЕРБУРГ — КИЕВ

Рано утром из Киева звонит Олесь. К телефону подходит Катя, но Олесь требует меня. Я беру трубку, хотя мне уже всё ясно. Никогда Олесь не звонил так рано. Если быть точным, то никогда не звонил.

— Батько помер, — говорит Олесь. — *Ховаємо¹ післязавтра.*

— Я прилечу ближайшим рейсом.

¹ Хороним.

— Слухай, братику... В Києві неспокійно, будь обережний.

Я обещаю. Никак не могу поверить, что отца нет. Больно.

Билет удастся взять на вечерний рейс. Со мной хочет лететь Катя, но я запрещаю: в конце концов, кто-то должен остаться с Верой. Катя в сомнениях. Она помнит события 1991 года и боится, что я во что-то ввяжусь.

— Знаешь, я еду хоронить отца, и мне нет никакого дела до их заварухи. Даже до нашей не было бы.

— У нее к тебе может быть дело.

— Катюша...

За сборами и спором с Катей я чуть было не пропускаю самолет. В Пулково приезжаю за несколько минут до завершения посадки... Нет, все-таки после завершения: меня ждали. Незадолго до полуночи приземляюсь в Борисполе. Пограничники вежливо улыбаются — узнали.

— Ціль вашого візиту?

По произношению слышно, что рідну мову они знают еще нетвердо. Я владею языком гораздо лучше.

— Батька ховаю.

— Наші співчуття...¹

Пограничники по очереди пожимают мне руку. Почему я перешел с ними на украинский? С отцом ведь не переходил. Не потому ли, что наши отношения были глубже вежливости?

Отец. Свидетель прошлой моей жизни. Он ушел, но прошлое осталось — ему, прошлому, очевидно, не нужны свидетельства. Когда из музея похищают античную скульптуру, это не отменяет историю ан-

¹ Соболезнования.

тичности. Просто античность становится на одну скульптуру беднее.

Если исходить из обычного порядка вещей, то между мной и смертью стоял отец. Был той первой шеренгой, которая гибнет в бою. Теперь эта шеренга — я. А бой, понятное дело, заведомо проигранный, никто его еще не выигрывал.

Такси везет меня в гостиницу. Переезжая через Днепр, крещусь на Лавру — всегда здесь крещусь, в каждый приезд. Днепро́вская вода черна, по ней скользят грязно-белые льдины. Я не сообщил Олеся о времени прилета, чтобы он меня не встречал. Иначе пришлось бы ночевать у них с Галиной, а мне этого не хочется.

Гостиница находится на Владимирской. Меня встречают у входа, просят разрешения со мной сфотографироваться. Оставив сумку в номере, отправляюсь немного пройтись. Еще несколько часов назад был дома, а сейчас — в совершенно другом месте. Точнее, в обоих местах одновременно. Радость от исчезновения пространства, острое чувство. Спешу им насладиться, потому что на второй день оно исчезает.

— Погуляю немного, — говорю, проходя мимо портье.

— Позволю себе дать совет: не ходите на Крещатик, там сейчас опасно.

— Конечно...

Дохожу по Владимирской до Прорезной и поворачиваю в сторону Крещатика. В душе спокойствие. Я — часть ночного города. Провел здесь свое детство, оно служит мне защитой. Иду, невидим для всех, в облаке воспоминаний. Касаюсь ладонью домов, потому что каждый мне знаком: в них я ко-

гда-то входил или просто шел мимо. Беседовал с кем-то, остановившись, — когда, с кем? Поставив ногу на каменную тумбу. Слова в памяти цепляются не за собеседника — за место. Являешься через десятки лет, а слова здесь, пожалуйста, висят по-прежнему — на домах, на деревьях — как новенькие. А тумбы нет. Не говоря уже о собеседнике.

Начинается мелкий дождь, и я захожу в ближайшую подворотню. Капли по-зимнему смешаны со снежинками. Вот, тоже из незабываемого: прятался от дождя в подворотнях. Под сводом — лампочка на проводе. Качалась, двигала тени. (Дождь постепенно стихает.) Теперь здесь энергосберегающий светильник, весь неподвижность. А лампочка детства моего ничего не сберегала, просто качалась, и всё.

Майдан освещен кострами. Они горят перед палатками, на бывшей проезжей части. Одна из палаток окружена плетнем, за ним — дед и баба. Валенки да тулупы, котелок на огне. Привязанный за ногу петух. Всё уже когда-то видел, и не один раз. Что это было — лето в деревне? Музей под открытым небом? Пожалуй, если бы не гора автопокрышек за палаткой.

Замедляю шаг. Здравуюсь.

— Чаю вип'єте? — спрашивает баба.

— Вип'ю, спасибі.

Дед (сигаретка в заскорузлых пальцах) пододвигает мне ящик. Баба кладет в кружку чайный пакет, набирает черпаком из котелка воды и подает мне.

— А це що? — показываю на странную конструкцию в отдалении.

— Та катапульта, — отвечает баба.

Удивляется, наверное, что не знаю самых простых вещей. Ощущаю прилив веселья, потому что понимаю: это сон. Или нет, декорация к какой-нибудь

пьесе. Конец истории: Крещатик, плетень, катапульта. Но эти двое — настоящие, от них исходит тепло. Кружка с чаем греет ладонь. Спрашиваю:

— Як воно, тут жити? Нелегко?

Дед тушит сигарету о ящик.

— Та нелегко ж...

— Нема чого робити, ми так не звикли¹. — Баба достає из-за спи́ны метлу без черенка. — Я от мітли в'яжу, та де ж тут мести? Що мені з ними робити?

— Літай! — Рот деда растягивается в улыбке, лицо — гармошка.

— Так чого ж ви тут сидите?

Дед с бабой переглядываются. Из мрака выступает фигура в шинели.

— То хто тут такий цікавий?² — Пришедший хмур. — Документи!

Достаю паспорт. У меня их два — немецкий и российский, но немецкий остался дома. Начинаю понимать, что это плохо. Рассматриваю ладную шинель комиссара. Обычно шинели бесформенные, а эта сидит как влитая. И сапоги такие же. Пижон.

Баба вступається:

— Миколо, не чіпай³ його, він українською говорить.

— Українською, кажеш? Тим гірше⁴. — Он показує обложку мого паспорта. — Матушка Расея. Ви тут губи розвісили, а це провокатор і шпигун⁵. Мне: — Встав. За мною.

Я встаю и кланяюсь старикам.

¹ Привыкли.

² Любопытный.

³ Трогай.

⁴ Хуже.

⁵ Шпион.

— До побачення¹, — говорят они.

Микола смотрит на них насмешливо:

— Побачення на тому світі. — Он достает из кармана пистолет и сует его мне в бок. — Крок² убік³ — стріляю.

— Миколо...

Он поворачивается к старикам:

— А з вами ще розберемося. Контра...

Я иду вдоль палаток, чувствуя приставленный пистолет. Слышу, как полы шинели хлопают о сапоги. Нет, это не лето в деревне. И даже не август 91-го — кажется, всё гораздо серьезнее. Микола приводит меня в большую палатку с желто-голубым флагом. Начинается допрос. Сознание отказывается верить в происходящее и предлагает свои варианты. Сон. Кино во сне. Сон в кино.

Но происходящее — происходит, это его свойство, и я стою в центре палатки, и передо мной, развалившись, сидит Микола. Напоминает какую-то картину — чей-то, как и в моем случае, допрос. Злой и чернявый. *За що полюбила́ за що полюбила́ чорнявого Іванка?* И в самом деле, за что? Вроде не за что. Интересно, состоится ли концерт с Верой? Если да, нужно будет эту песню обязательно включить.

— На кого ты працюєш? Знаю, що на Москву — на кого конкретно? — Речь четкая, интонация безупречна.

Хочется, чтобы это был сон. Чтобы утро, начавшееся сегодня в Петербурге, продолжалось, а я все еще был в постели. Бывают такие затяжные сны,

¹ (До) свидания.

² Шаг.

³ В сторону.

когда кажется, что проснулся, встал уже, поехал, допустим, в аэропорт, куда-то улетел... Меня охватывает апатия. Если пристрелит меня Микола, то избавит, в общем, от многих неприятностей. ТТ как средство от Паркинсона.

— Мовчиш? — Он поднимает пистолет.

Пожимаю плечами.

— Я тебе питаю¹, ти, сука московська, нащо ти нашу мову вивчив, нащо тих дурнів розпитував?² Зрадниками³ хотів їх зробити?⁴

— Нет, конечно.

— На нервах граєш? Я знаю точно, що ти шпигун, але до суду не поведу, бо суд тебе не розстріляє. А я розстріляю.

Микола краснеет. А заодно как-то даже чернеет, хотя больше, кажется, некуда. Грозный ангел революции.

— Послушайте, мы ведь один народ...

— Справді?⁵ — Микола вдруг переходит на спокойный тон. — *Адин народ?* — он задумчиво продувает дуло. — Ні, не *адин народ*. Тут ти сильно помиляєшся⁶. Ви — вороги мого народу. А тепер слухай мене уважно⁷. — Он взводит курок. — Даю тобі хвилину⁸ для відповіді⁹ на моє питання¹⁰. Через хвилину — стріляю.

¹ Спрашиваю.

² Расспрашивал.

³ Предателями.

⁴ Сделать.

⁵ В самом деле?

⁶ Ошибаешься.

⁷ Внимательно.

⁸ Минуту.

⁹ Ответа.

¹⁰ Вопрос.

Театрально отвернул с часов рукав. Так же эффектно он меня, думаю, и застрелит. Жалею об отсутствии Клещука — он бы наконец увидел, как падают по-настоящему. В буквальном смысле последняя попытка преподавателя.

Признаться? В чем? В чем угодно? И дать основание для выстрела? Если сейчас он хоть немного сомневается... Но Микола не похож на того, кто сомневается. Он уверен в своей правоте.

Шаги и шелест брезента. Микола смотрит на вошедшего.

— Дивлюся¹, напружена² тут у вас атмосфера... — вошедший показывает на пистолет в руке Миколы.

Оборачивается ко мне. Похож на Егора, которого я после окончания школы не видел. Егор? Смотрит на меня. Подмигивает. Егор... Вот он, оказывается, где.

— Шпигуна піймав.

Голос у Миколы недовольный. Оторвали от дела.

— Та який же це шпигун! — хохочет Егор. — Це гітарист-віртуоз Гліб Яновський, мій однофамілець.

— Бачив я, який він віртуоз... Закликає³ до зради⁴.

— Не было такого, — возражаю.

— Мовчати!!! — неожиданно орет Микола. Встает. — Пане Єгоре, ви знаєте, як я вас поважаю...⁵

— То добре, що поважаєш. Тож опусти цю штуку.

— Так от, я прошу вас: не втручайтесь⁶.

¹ Смотрю.

² Напряженная.

³ Призывает.

⁴ (К) измене.

⁵ Уважаю.

⁶ (Не) вмешивайтесь.

Пан Егор по-прежнему весел. Достает сигарету, подносит к ней зажигалку. Всё внезапно: движение ноги, пистолет ударяется о натянутый верх палатки и падает рядом со мной.

— Як ти зі мною розмовляєш, гніда?

Егор уже не смеется. Взгляд его спокоен и зол. Понятно, что он и до этого не смеялся. Микола встает, но как-то нерешительно.

— А тепер підніміть пістолета, — губы Миколы дрожат, — і дати його мені.

— Дати? А чого ж і не дати?

Ударом в лицо Егор сбивает Миколу с ног. Тот вяло шарит руками по полу, и я вспоминаю эти движения. Лысый водитель. Пепельница... Егор поднимает Миколу за шиворот, чтобы ударить еще, но в последнее мгновение останавливается. Лицо Миколы в крови. Егор швыряет его на пол.

— Ще дати?

— Ні, — хрипит Микола.

Егор выводит меня из палатки. Мы идем мимо костров, которых теперь вроде бы меньше. Крещатик тоже когда-то засыпает. Пахнет весной.

— Ты как здесь оказался? — Егор переходит на русский.

— Приехал на похороны отца.

— Умер, значит... Жаль. На похороны не пойду, извини. — Подмигивает, но как-то неестественно. — Да меня и не известили.

Еще раз подмигивает, и до меня доходит, что у него нервный тик.

— Столько лет ничего о тебе не слышал...

— И слава богу. Этого, честное слово, лучше не слышать. — Егор хлопает меня по спине. — А я все эти годы за тобой, виртуозом, издали следил.

Возле поворота на бульвар Шевченко Егор останавливается.

— Ладно, прощаемся.

— Спасибо, брат. — Обнимаю Егора, точнее, пытаюсь обнять, поскольку Егор стоит не шелохнувшись. — Мне кажется, он бы меня пристрелил.

— Ну, это вряд ли. Микола — бывший артист, существо безобидное. Ему только и нужно было, что эффектная сцена.

— Жаль, что он не воспользовался катапультой. Не догадался, что ли?

— Выходит, не догадался. Глеб, братан... — Егор смотрит на темные громады каштанов. — Уходи подальше, иначе я сам тебя пристрелю. *Кто не спрятался — я не виноват*, помнишь? — Закуривает. — Матери привет. Она всё мечтала куда-то уехать... Уехала?

— В Австралию.

— Страна каторжников... Передай, что навещу ее.

— Собираешься в Брисбен?

Глубоко затянувшись, он выстреливает сигаретой вверх. В голых ветвях каштана вспыхивают искры.

— Так точно. — Егор делает несколько шагов в темноту. Оборачивается. — По этапу. У нас теперь вместо Сибири — Австралия.

1992

Клещук оказался прав: Глеб подумал — и согласился играть для Ивасика. Глебу казалось, что жизнь зашла в тупик, и он решился на объездной маневр. Пусть даже для этого требовалось сильно сдать назад — именно так он расценивал работу

у Ивасика. Решение принималось совместно с Катей. В школе она преподавала охотно, но так же охотно ее и покинула. Новый отрезок жизненного пути сулил открытия, поскольку, в отличие от прочих немцев, Катя знала, что в украинском существительное *путь* женского рода. По просьбе директора школы Глеб с Катей доработали до конца учебного года и 1 июля уехали в Киев. В их распоряжение была предоставлена двухкомнатная квартира на Соломенской улице. Клещук пояснил, что это одна из квартир Ивасика, предназначенных для деловых встреч в неформальной обстановке. Судя по эротическим плакатам на стенах и запасу контрацептивов в шкафу (всё было отдано Клещуку), здесь решались вопросы, с овощами не связанные. Ампириная мебель и золоченые дверные ручки, украшавшие панельную двушку, поначалу раздражали. Но мебель была мягкой, ручки — исправными, и примирение с этими предметами состоялось. С чем примириться было труднее, так это с репертуаром Ивасика. В большинстве своем это были образцы отечественного шансона — Глеб не мог даже представить себе, что когда-то будет такое играть. Собственно, об игре здесь речь и не шла, как не шла она о музыке и стихах. Предполагалось извлечение трех аккордов и примерно стольких же слов. За слова отвечал Ивасик. Это был плотный, ростом под два метра человек, певший высоким слабым голосом. Голос, определенный Клещуком как лирический тенор, дрожал, а на верхних нотах сбивался на фальцет. Отсутствие тенора Ивасик восполнял лиризмом: складывал губы бантиком и двигал густыми бровями. Мимика его выглядела неестественной, за-

ученной и наводила на мысль о кукольном театре. Знакомясь с Ивасиком, Глеб попытался представить себе того, кто водил эту огромную бровастую куклу, — и не смог. Между тем Ивасик обладал некукольными чувствами и не упускал случая облиться слезами. Так происходило при исполнении песни *Последний марш-бросок*, возвращавшей его в армейскую юность. Об измене девушки солдату срочной службы повествовал жестокий романс *Письмо с Мурманска*. Композиции *Рожденный в поселке Авангардный* и *Опять я побывал* являлись лирическими зарисовками, и эмоциональный их накал был вызван тем, что в неведомом Авангардном вырос солист. Но особенно Ивасика пробивала песня *Духи с бергамотом*, после исполнения которой крупное лицо этого человека блестяло от слез. В торгово-криминальных кругах он даже получил кличку *Бергамот*, определявшую музыкальные пристрастия и одновременно — так уж звучало это слово — комплекцию исполнителя. Непонятным оставалось, что именно вызывало слёзы — содержание песен или собственное исполнение. Возможно, и то, и другое. Репетиционный период был недолог — две недели. Репетиции требовались преимущественно Ивасику-Бергамоту. Проблема его как вокалиста состояла в том, что мелодии песен им исполнялись не вполне точно. Не то чтобы это была сплошная и грубая фальшь — просто некоторые ноты чуть расходились у него с композиторскими. Расхождение было вроде бы невелико, но именно эта приблизительность бесила Глеба больше всего. Уж лучше бы, думал Глеб, это была откровенная лажа — так было бы честнее. При слове *лажа* он вспомнил свою учительницу

музыки и порадовался, что она не знает о его музыкальной карьере. Глебу очень хотелось навестить ее, но он знал, что тогда придется рассказывать о Бергамоте. И не пошел. Был, однако, человек, не навестить которого Глеб не мог: отец. Они с Катей приехали к нему на обед, и Федор принял их вполне доброжелательно. Пока Галина и Катя разговаривали на кухне, он тихо спросил: як твоя мати? В Австралии, нехотя ответил Глеб. Заміж вийшла? Глеб кивнул. За тамошнього? Да... Я его не видел. В комнату вошел Олесь, и Федор сказал ему: піди, допоможи¹ жінкам. Я вже допоміг (скрип занимаемого кресла). Ще допоможи. Когда, закатив глаза, Олесь отправился на кухню, Федор спросил: синку, нащо² ти зв'язався з тим Івасиком? Він же придурок. Глеб пожал плечами: знаю. Гроші — це ще не все. Розвивай те, що тобі дано, — а тобі дано багато³. Это был первый раз, когда отец признал за ним одаренность. Неправ он был лишь в отношении денег: не они были основной причиной принятого Глебом решения. Глеб хотел было сказать отцу, что всё происходящее — попытка подтолкнуть судьбу, но объяснить это было трудно. И он не сказал. Попытка — Глеб видел это уже сам — не была удачной, но, не желая метаться, он пока ничего не менял. Вообще говоря, новая среда, в которую погрузился Глеб, в некотором смысле представляла интерес. В *Ивасик-квартете* играли люди примечательные. Скрипача Терещенко — крошечного веснушчатого паренька — он помнил еще по

¹ Помоги.

² Зачем.

³ Много.

музыкальной школе. О нем часто упоминали как о вундеркинде и восходящей звезде. Все знали, что Терещенко способен выслушать небольшую пьесу, а затем повторить ее без единой ошибки. Он гордился тем, что, в отличие от других, ему не нужно было сидеть над нотами по четыре часа в день. Говорили, однако, что этот дар сыграл с ним злую шутку, потому что глубокое понимание вещи появляется после стократного повторения, оно попросту входит через поры. Стократное повторение не было случаем Терещенко. Музыкальная карьера у него не заладилась, и звездой он не стал. В каком-то смысле Терещенко так и остался вундеркиндом. Почему-то он не развивался не только в музыкальном, но и в физическом отношении: выше полутора метров он так и не вырос. Но способность запоминать вещи с первого раза осталась. Скрипач демонстрировал ее в различных телепрограммах — от музыкальных до гастрономических, украинских и российских. Всё, однако, имеет свои пределы. Человеку даже очень маленького роста трудно играть ребенка бесконечно, да и фокусы с запоминанием постепенно надоели. Приглашения стали поступать всё реже. В этом отношении *Ивасик-квартет* подросел как нельзя кстати. Четвертый участник квартета, его ритм и мощь, был контрабасист со звучной фамилией Таргоний. Фамилия казалась Глебу римской, да и сам Таргоний — смуглый, с медным отливом — напоминал древнего римлянина. Вскоре, правда, стало ясно, что благородный цвет лица имел алкогольное происхождение. Контрабасист был пьян всегда. Его вялотекущий алкоголизм не приводил к скандалам

или дракам. Он проявлялся в потухшем взгляде, виновато опущенной голове и немногословии, переходящем в немоту. При этом свое пум-пум-пум Таргоний выдавал с точностью метронома. Не пропустил ни одной репетиции и даже ни разу не опоздал. После двухнедельной подготовки выступления последовали одно за другим. Бергамот увлекся вокалом не на шутку и почти каждый вечер появлялся на эстраде в смокинге и бабочке. Первое время это была эстрада принадлежащего ему ресторана. В начале выходил конферансье Клещук и объявлял присутствующим об их невероятном везении. Состояло оно в возможности услышать выдающегося исполнителя, который, несмотря на свою занятость, нашел время порадовать посетителей своего ресторана. В качестве небольшого приложения к основному подарку в честь выступления восходящей звезды объявлялась двадцатипроцентная скидка на заказы. Не будучи уверен в интересе к творчеству Бергамота, скидку придумал Клещук. Лирический тенор, в котором временами просыпался торговец овощами, попытался было снизить скидку до десяти процентов, но, когда Клещук напомнил ему, что искусство требует жертв, прекратил сопротивление. Эта мера действительно повысила посещаемость ресторана в дни выступлений: за скидку многие готовы были внимать Бергамоту. Вскоре он и сам поверил в то, что все только и ждут его выступлений, а в его отсутствие ресторан выглядит сиротским приютом. Не могу же я, говорил он капризным тоном, быть заложником своего искусства и выступать там ежедневно. Между тем быть заложником искусства ему нравилось. Очень.

Просыпаюсь поздно и звоню Олесю.

— Ты де? — спрашивает Олесь.

— В гостинице.

— Все гаразд?¹

Тру лоб. Хороший вопрос. Олесь говорит, что завтра в восемь утра нужно приехать за телом отца в морг. Хоронить его Галина решила не в Киеве, а в селе Лозовом, родом из которого была его мать. Последние годы Федор проводил там лето.

— Батьку в Лозовім подобалося², — поясняет Олесь. — Мати каже, що на сільському цвинтарі³ йому буде спокійніше.

Звонит Катя. Говорит, что Вера показала ей замечательную песенку про уток. Они уже послали ее Майеру, тот в восторге: именно то, что нужно для концерта. Мы с Верой будем петь ее вдвоем. Катя просит меня не покидать гостиницы — я обещаю. И не покидаю.

Жизнь, которая вроде бы пошла под откос, мне дорога, оказывается, и такой. Думаю о том, как внезапно и глупо все способно окончиться. Этот артист запросто мог пустить мне пулю в лоб. Вжиться в роль по системе Станиславского.

На следующее утро приезжаю к моргу без четверти восемь. Олесь и Галина уже там. Мы молча обнимаемся. В восемь часов из морга выкатывают тележку с гробом. Как скульптор, сдергивающий полотно с изваяния, сотрудник морга откидывает с отцовского лица тюль. Отец спокоен и ничуть не похож на

¹ (Всё) в порядке.

² Нравилось.

³ (На) кладбище.

мертвого. Мне даже кажется, что на щеках его играет румянец. Олесь ловит мой взгляд и шепчет:

— Тональный крем.

— Я хотіла, щоб і в труні¹ він був красивий, — Галина гладит лицо Федора.

— Принимайте работу, — предлагает автор.

Дав ему несколько купюр, показываю большой палец. Гроб закрывают крышкой и грузят в *Газель*. Туда же садится Галина. Меня Олесь приглашает в свою машину. До Лозового 150 километров. Первым трогается с места автомобиль Олеся: он показывает дорогу *Газели*. На выезде из Киева горизонт затягивает тучами.

— Хоч би не було дощу. Краще вже сніг...

Я вопросительно смотрю на брата.

— Боюсь, що в батька розміє грим, — поясняет он.

Мне кажется, что в сравнении со мной Олесь меньше похож на отца. Его черты лишены той резкости, которую я унаследовал от Федора. И характер, кажется, тоже мягче. В сущности, я о брате не знаю ничего. Почти ничего: отец как-то говорил, что он работает инженером. Незаметно для Олеся я за ним наблюдаю. А он смотрит на дорогу. Молчалив. Прикусил нижнюю губу.

— Як там у вас в Росії?

— Там?

— Ну, не тут же... Звідтіля² вся ця хвороба.

— Ты слишком торопишься с выводами.

— Тільки не кажи, що все це Америка придумала.

— Иногда не нужно ничего придумывать. Достаточно поднести спичку, и все пойдет само.

¹ (В) гробу.

² Оттуда.

Олесь поворачивается ко мне.

— Скажи, братику: ти Україну хоч трохи¹ жалієш? Ти ж народився тут, виріс. В тебе серце не болить?

— Болит. Россия и Украина для меня — одна земля.

— Для нас — *не одна*.

— Порезе говори *мы*. Я значит гораздо больше. Не отрываясь от дороги, он качает головой.

— Це, братику, вибач², твоя фантазія. Коли³ воюють тисячі, я не значить ні-чо-го.

— Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся.

— Це ти... сам таке вигадав?⁴

— Это Серафим Саровский. В нашем случае: мир между людьми начинается с мира в человеке.

— Серафим — росіянин, — смеется Олесь. — Не знаю, чи можна йому вірити.

Кручу пальцем у виска. Брат обнимает меня одной рукой.

— Батько сказав тебе слухатись...

Остаток пути проходит в молчании. Перед самым Лозовым начинается дождь со снегом, и Олесь включает дворники. С первым же их взмахом дождь прекращается. Олесь тоже кое-что может.

Проехав по селу, машина останавливается у церкви. Через минуту приезжает *Газель*. К машинам подходят люди. Затем уходят. Образцовое броуновское движение. Здороваются, хлопают друг друга по плечу. Застывают, скрестив руки на груди (засунув в карманы), иногда с наждачным звуком почесывают щеки. Курят. Олесь открывает двери *Газели*, и мы

¹ Немного.

² Прости.

³ Когда.

⁴ Сочинил.

с ним выдвигаем гроб. Подходит несколько мужчин. Берутся за ручки, мы вносим гроб в храм. С гроба снимают крышку и на изголовье надевают деревянную раму с отверстиями — в них вставляют свечи. Никогда такой не видел.

Олесь говорит, что нужно съездить на соседнюю улицу за Явдохой. Не знаю, кто такая Явдоха и надо ли мне тоже за ней ехать. Сажусь все же в машину к Олеся. На медленном ходу подъезжаем к хате Явдохи. Через несколько минут в дверях показывается сама Явдоха. Она согнута в поясице под прямым углом и идет, опираясь на два костыля. Движениями рук и ног напоминает лыжницу. Очень старую и почтенную лыжницу, для которой на этом свете нет уже достойных соревнований. Явдоха просит меня уступить ей переднее сиденье, потому что на заднее с костылями не забраться. Я понимаю, что присутствие Явдохи имеет какой-то особый, хотя пока и не явленный смысл.

Перед началом отпевания к гробу подходит женщина с двумя веревками и связывает отцу ноги у щиколоток. Хочет связать и руки, но правая рука застыла простертой вдоль тела. У меня примерно так же.

— Не згинається...

Раздается голос Явдохи:

— Я зігну.

Приблизившись к покойному, Явдоха передает женщине костыли. Я отвожу глаза, но боковым зрением всё же вижу, как с неожиданной силой Явдоха сгибает руку отца. Согнутые руки связывают. На этих руках он носил когда-то меня, из-под этих век текли его слёзы. А теперь руки не гнутся, веки не поднимаются: он ли носил меня, он ли плакал?

Начинается отпевание. Церковь полна народа, и я чувствую на себе десятки взглядов. Возникает

неприятное ощущение, что покойник на этих похоронах — я. Что ж, в конце концов, отец — часть меня, как бы там ни сложилась жизнь.

Закончив служить, священник спрашивает:

— Руки і ноги розв'язали?

— Та розв'язали ж, батюшко.

— Тоді раба Божого Федора виносьте.

Гроб поднимают шестеро мужчин (на этот раз мы с Олесем не участвуем) и, не накрывая крышкой, выносят из храма. У дверей стоят *Жигули* с прицепом. Гроб устанавливают на прицеп. Как на лафет. Лозовое отдает отцу последние почести, выстраиваясь в траурный кортеж.

Процессия трогается. Впереди — человек с крестом, чуть позади — двое с хоругвями, за ними — священник с хором, далее — *Жигули* с отцом на прицепе, за прицепом — Галина, Олень и я, за нами — Явдоха на костылях, две дворняги по бокам, а дальше — всё село. *Жигули* едут медленно, но грунтовая дорога тряская. Руки отца (особенно согнутая Явдохой правая) начинают приподниматься. Локти еще покоятся на животе, а вот кисти уже парят в воздухе. Лежа в гробу, отец, надо понимать, беседует с небесами. Руки его покачиваются, что придает беседе спокойный и даже непринужденный вид.

До кладбища около полукилометра. Каждую сотню метров процессия останавливается, и священник, сопровождаемый певчими, читает заупокойные молитвы.

— Твоя мати йому дзвонила, — говорит Олень. — Десь¹ півроку² тому. Вони довго розмовляли.

¹ Где-то.

² Полгода.

Иду, опустив голову.

— О чем?

— Не знаю. Він сумний¹ був. Сказав тільки, що з Брісбена дзвонили.

Когда первые комья земли стучат об отцовский гроб, поражаюсь громкости ударов. Они подобны барабану и совершенно не соответствуют тишине этих похорон. После того как могилу закапывают, все идут на поминки в стационарный буфет прямо через кладбище. Направляюсь было за всеми, но кто-то меня останавливает:

— У родичів своя путь.

Мне показывают дорогу, по которой надлежит идти одним лишь родственникам покойного. Чуть сзади — Олесь. Метрах в тридцати за нами следует Галина. Она разговаривает по телефону.

Олесь догоняет меня.

— Братику, все хотів спитати: що в тебе з рукою?

— Так, ерунда какая-то...

На поминках мы с Олесем сидим по обе стороны от Галины. Она неподвижна и молчалива. Когда поминки близятся к концу, Галина пригибает к себе наши головы и тихо произносит:

— Хлопці, плачте... Сьогодні вночі на Майдані вбили Єгора.

— Ти що?! — Олесь сжимает ее руку.

— Пострілом² в спину. Як батька поховали, мені був дзвінок³.

Она зачем-то достает телефон и кладет его перед собой. Олесь задумчиво смотрит на мерцающий дисплей.

¹ Грустный.

² Выстрелом.

³ Звонок.

— Що б він не скоїв,¹ то був² твій брат. Ти живий, а він мертвий. Прости його. — Галина встає і креститься. — Прости й нас, Господи, що ми боялися його все життя³. То батько забрав його з собою, щоб він тут не наробив лиха⁴.

Получается, все эти годы они страшились мести Егора за то, что родили Олесья. За то, что отдали Егора в интернат после попытки убить брата. Ждали, что он придет и завершит начатое.

Говорю Галине:

— Я знаю случай, когда он спас человека.

Она обнимает меня.

— Вірю, що за це йому буде багато відпущено⁵.

На ее глазах впервые видны слезы.

— Хто його вбив? — спрашиває Олесья.

— Так в спину ж стріляли — ніхто не знає...

Нет. Я знаю.

1992

В конце сентября Клещуку удалось договориться о концерте *Ивасик-квартета* с солистом в Доме офицеров. Это было не особенно сложно, так как овощи поставлялись и в армию. Представители вооруженных сил выказали к творчеству Бергамота живейший интерес. Когда же возникла ясность относительно вознаграждения за поддержку искусства, они обещали обеспечить полный зал. Гаранти-

¹ Натворил.

² Был.

³ Жизнь.

⁴ (Не наделал) бед.

⁵ (Много) отпущено.

ровали, что зрители будут висеть на люстрах. Чтобы не создавалось впечатление, что поклонниками квартета являются исключительно мужчины, младшему офицерскому составу было велено явиться с женами. Само собой разумеется, был привлечен и весь техперсонал, состоящий преимущественно из женщин. Общее количество женщин было обещано довести до 30%. Клещук, со свойственными ему галантностью и юмором, женщин попросил на люстры не вешать. Посмеялись. Когда же речь зашла об аплодисментах, к удивлению Клещука, выяснилось, что они проходят по отдельной графе — с тарифами от *теплого приема* до *бурных оваций*. Клещук заплатил за бурные овации, а также за *браво!* и *бис!*, которые оплачивались по количеству выкриков. Кроме того, организаторам концерта выделялась значительная сумма для покупки букетов в цветочном салоне. Успех концерта был колоссальным. Стоявший под сценой капельмейстер дирижировал аплодисментами по-военному четко. Из-за нестихающих оваций лирический тенор всякий раз не мог начать новую песню. Потный и счастливый, он успокаивал публику жестом, а публика всё не успокаивалась, потому что получила приказ слушать только капельмейстера. Капельмейстер же не мог видеть происходящего на сцене и ориентировался на хронометр. *Браво!* и *бис!* кричали офицерские жены, что придавало реакции зала характер слегка истерический. Зал изнемогал. Публика действительно завелась, и уже в первом отделении прозвучали неоплаченные крики. Видя счастье хозяина, сиял и аккордеонист Клещук. Пальцы его по-рихтеровски скользили по клавиатуре, а тяжелый инструмент почти летал — до тех пор, пока не стали вручать цветы. Букетов было много —

даже больше, чем ожидалось, — но всё это были исключительно ромашки. Происходящее не составило для Клещука загадки: цветочным салоном здесь и не пахло. С высоты предоставленной сцены он отчетливо видел ближайший полигон, на котором мобилизованные роты эти ромашки собирали. Клещук заиграл решительно и злобно, не отрывая взгляда от генерал-майора, предположительного автора идеи. Генерал-майор не мигая смотрел на сцену. Время от времени прикладывал ладонь к губам, словно лишившись слов, раздавленный волшебной лирой Бергамота. Но солиста порадовали и ромашки. Как романтично, бросил он на ходу Клещуку, и у того отлегло от сердца. Единственным крупным проколом оказалось отсутствие аплодисментов после выступления на бис. Внезапное это молчание объяснялось тем, что оплачена была лишь основная часть концерта, и капельмейстер, не имея отдельных предписаний насчет дополнительной, отменил бурные аплодисменты. Отменил всякие: после первой песни на бис в зале повисла звенящая тишина. Но — только после первой. Уже после второй, выйдя на авансцену, Клещук начал ритмично хлопать, успев при этом погрозить кулаком генерал-майору. Тот было засыпал (белки в щелках полусомкнутых век), но мигом встрепенулся, показал средний палец капельмейстеру, и зазвучали аплодисменты, равных которым еще не было. На следующее утро о триумфе Бергамота писали все киевские газеты. В репортажах узнавался единый стиль, и это был стиль Клещука. В исповедальной манере авторы признавались, что шли на концерт с мыслью о теплом приеме, который, возможно, окажут восходящей звезде, но никак не рассчитывали, что дело обернется просто-таки бурны-

ми аплодисментами. Половина статей так и называлась — *Бурхливі оплески*. Некоторые отмечали эмоциональный накал, который был столь высок, что после первой песни на бис зрители потеряли способность аплодировать (потом она вернулась). Массовое дарение ромашек, как факт труднообъяснимый, газеты обошли молчанием. Читая статьи, Бергамот рыдал, что Клещука немного даже озадачило. Бергамот знал организацию концерта во всех деталях (он же ее и оплачивал), знал, кто писал *рыбу* для корреспондентов, а вот ведь не успокоился, пока не прочитал все статьи-близнецы. И над каждой облился слезами. Клещук пытался заинтересовать самые разные социальные группы и размещал отклики в изданиях украино- и русскоязычных, про- и антизападных, музыкальных, спортивных и садоводческих. Неохваченной осталась лишь газета *Палиндром*, где информационные материалы публиковались под заглавиями-палиндромами. Палиндромы редакция не придумывала (она состояла всего из двух сотрудников), умело используя уже существующие. Маленькая и негордая, газета сама вышла на Клещука с предложением — на известных условиях разместить на своих страницах (их, в соответствии с числом сотрудников, тоже было две) положительный отзыв. Недооценивая роль палиндрома в общественной жизни, Клещук газету попросту послал. В итоге единственная отрицательная публикация о концерте вышла в *Палиндроме*. Называлась она *Клещук пополз, зло попку щелк*. Следующей вершиной, которую Клещук наметил освоить, стал дворец культуры *Октябрьский*. Узнав об этом, скрипач Терещенко и контрабасист Таргоний спросили, почему именно *Октябрьский*. Потому что концерт

состоится в октябре, ответил Клещук. Глеб покачал головой и сказал, что дворец велик, а организатора погубит гигантомания. Сомнения охватили даже Бергамота, сохранившего, несмотря на триумф, остатки здравомыслия. Природная скромность заставила его протестовать и против предполагавшейся телевизионной записи концерта: он явно не ожидал, что популярность его будет столь велика. Но Клещука, почувствовавшего, по его словам, кураж, было уже не остановить. Он призвал отставить пораженческие настроения и сообщил, что ему известен секрет успеха. На этот раз он заключался в смене целевой аудитории. Ею в данном случае должны были стать пенсионеры: Клещуку якобы удалось подобрать ключик к их сердцам. К удивлению Глеба, расчет Клещука и в этот раз был точен. Сердца пенсионеров оказались равнодушны к двум вещам: бесплатным билетам (они распространялись через собес) и продуктовым пакетам. Заметив, что две эти составляющие рифмуются, Клещук разместил их маяковской лесенкой в расклеенной по городу рекламе. Он попытался зарифмовать также содержимое пакета, но в конце концов от этого пришлось отказаться. Если пара *огурцы — молодцы* (комплимент пенсионерам) еще как-то проходила, то *гречка и редиска*, по мнению Глеба, рифмой не являлись. И хотя Клещук не был с ним согласен, ассортимент указали под звездочкой в прозе. Там же была помещена информация, что пакеты будут выдаваться при выходе. Про выход Глеб посоветовал Клещуку убрать, но тот решительно воспротивился. Боялся, что пенсионеры (знает он их) получают пакеты и сразу разойдутся. Более того. Предвидя, что бурных оваций в такой аудитории будет добиться сложнее, Клещук объявил кон-

курс на самого темпераментного зрителя. Авторитетное жюри должно было определить победителя и вручить ему большую сумку с образцами того, чем торговал солист. Здесь поначалу тоже вмешались музы (*банан — баклажан*), но, дойдя до *маринованной капусты*, которая не никак не влезала в размер, они трусливо бежали. Клещук, нашедший пронзительную рифму *пусто* (без *маринованной капусты*), с размером не смог поделаться ничего. Просто капуста — пожалуйста, а маринованная — ну никак. Он был уже готов заменить маринованную капусту в наборе полноценным кочаном, но Бергамот запретил: ему хотелось представить только продукты глубокой переработки. Собственно говоря, концерт во дворце *Октябрьский* тоже был таким продуктом. Переработка коснулась прежде всего лирического тенора. На каждую песню записали фонограмму, причем голос Бергамота был усилен голосом народного артиста СССР Соловьева. Оперный солист завоевал это право, победив в закрытом конкурсе на лучшее подражание Бергамоту. Конкурсанты ознакомились с его исполнительской манерой и освоили ее характерные особенности. Бергамот шепелявил — и они шепелявили, он пел *фатит* (песня *Хватит слез*) — и они пели *фатит*. В какой-то момент у поющих возникли вопросы к слову *асфальт*. Консультант по сценической речи, взвесив все за и против, пришел к выводу, что в данном контексте (песня *Закатан в асфальт*) такое произношение является единственно возможным. Почему претензии возникли именно к этому слову, так и осталось загадкой: среди особенностей произношения Бергамота эта была не самой яркой. Когда все песни были записаны, дней десять ушло на репетиции — Бергамота обуча-

ли петь под фонограмму. Подготовка к выступлению была всесторонней, отняла много времени и средств, но концерт, как и намечалось, состоялся в октябре. Бергамот был хорош. Он вдохновенно открывал рот, впуская в него, нота за нотой, свободно льющиеся звуки динамика. Между песнями произносил по несколько фраз, при этом цитировал, как бы случайно вспомнив, Достоевского, Джойса (тексты для заучивания подбирал Клещук), а также Джанни Родари, которого ему читали в детстве. Фразы из *Чиполлино* вызвали оживление в зале и позволили зрителям взглянуть на овощи новыми глазами. Помимо главного героя Бергамот показал в лицах синьора Помидора, Редиску и Фасоль. Куму Тыквочку не изображал, поскольку та не входила в продуктовый набор. Позднее в прессе было отмечено, что глубокая эрудиция удачно сочетается в исполнителе с тонким чувством юмора. Вообще говоря, изысканный вкус Бергамота снискал в отзывах особую похвалу. Исполнение неклассического, мягко говоря, репертуара в оперной манере было объявлено новым музыкальным стилем: оперный шансон. Пенсионеры тоже не подвели. В надежде получить зрительский приз они, по словам газет, *зажгли* так, что рок-фанаты *отдыхали*. Газета *Палиндром*, однако, откликнулась на событие разгромной статьей, в которой обвинила организаторов в заигрывании с пенсионерами и даже в их подкупе. Заглавие публикации, размещенной на первой полосе (*Мыли жопу пожилым*), отражало содержание довольно точно. При этом критикой общего характера газета не ограничилась, не побрезговав нападками личного характера. В том же номере был помещен творческий портрет скрипача Терещенко (*Меня лилипут*

упилил — я нем) — весьма негативный и содержащий, среди прочего, намеки на его малый рост. Эти публикации (художника легко обидеть) по-настоящему огорчили Бергамота. Он связался с редактором *Палиндрома* и спросил, любит ли тот бейсбол. Так совпало, что во время ответа редактора в помещение вошли несколько лиц с бейсбольными битами и переколотили всю редакционную технику. Отношение редактора к бейсболу так и осталось невыясненным. Через три недели по телевидению была показана трансляция нашумевшего концерта. Половина крупных планов была посвящена пожилым. Пенсионеры, пляшущие на креслах, рвущиеся на сцену, бросающие исполнителю цветы (в этот раз букеты были предусмотрительно куплены самим Клещуком) и качающие его на руках. Как образец активности в преклонном возрасте эти кадры обошли весь мир. Показали их и в городе Владивостоке, где они привлекли внимание офтальмолога Сударушкина, ставшего в свое время жертвой финансовой пирамиды. В качаемом пенсионерами Ивасике он опознал строителя пирамиды Виталия Безбородова, известного во Владивостоке под кличкой Тутанхамон. Да, фамилия и, до некоторой степени, внешность артиста были изменены, но это не мешало офтальмологу разглядеть в нем своего обидчика. Сударушкин сразу понял, на чьи деньги качают Безбородова, и позвонил в прокуратуру. На прокурорский вопрос, точно ли Ивасик — исчезнувший некогда Безбородов, он ответил, что это видно невооруженным глазом. Закрытое было дело о мошенничестве возобновили, последовал запрос об экстрадиции, и в середине декабря Ивасик-Безбородов был этапирован во Владивосток. Перед Новым го-

дом *Ивасик-квартет* собрался в последний раз. Без инструментов, в ресторане *У сверчка*. Арест солиста для всех был шоком — особенно для Клещука, начавшего переговоры с Монсеррат Кабалье о совместном выступлении с Бергамотом. Он с горечью вспоминал, как лирический тенор не хотел сниматься... Словно чувствовал что-то, предположил контрабасист Таргоний. Он был уже сильно пьян. Глеб улыбнулся: наш Бергамот — жертва искусства... Жаждал славы, задумчиво произнес скрипач Терещенко. По щеке Таргония прокатилась слеза: он — жертва этой жажды... точнее, его жажда жертвы... Жутко... Не находя нужного слова, Таргоний нарисовал в воздухе странную фигуру. Жутко жуку жить на суку, подсказал Глеб. Таргоний поднял на него страдальческие глаза: жук, он, видите ли, так как-то улыбнулся — спокойно и жутко... Не помню, кто сказал... Жуковский, отозвался Клещук. Снося локтем тарелку со стола, Таргоний закричал на весь ресторан: жизнь жестока, и каждый жук — жертва! Каждый — жертва!

17.04.14, ПЕТЕРБУРГ

Мне пятьдесят. Праздновать юбилей решаем дома и самым узким кругом. Помимо юбиляра и Кати за праздничным столом сидят Вера, Нестор с Никой. И — Анна. Мысль о ее приглашении принадлежит Кате. Приглашать Анну мне казалось в буквальном смысле безумием, но Катя сказала, что это важно для Веры. Я уступил.

После долгих переговоров лечащий врач позволил взять Анну из клиники на один вечер — под

мою ответственность. Предупредил, что это риск, и категорически запретил ей алкоголь, даже в самых малых количествах. Он сказал *álкоголь*, и в таком произношении опасность стала еще очевиднее. Да, последние недели Анна вела себя спокойнее, но это спокойствие было вызвано не столько улучшением ее состояния (его, по сути, нет), сколько действием транквилизаторов. Перед светским мероприятием ей вкалывают двойную дозу.

Сидящая за столом Анна имеет вид сомнамбулический. Она скупа на слова и движения, спина ее пряма, взгляд устремлен в пространство. Официант, приглашенный обслуживать торжество, смотрит на Анну уважительно. На этом вечере он видит в ней почетного гостя, образец сдержанности и аристократизма. Ставит перед Анной свежесжатый апельсиновый сок.

— Сок, — комментарий Анны предметен и сух.

Катя приносит охапку поздравительных телеграмм и начинает их зачитывать.

— Катюш... — дирижерским взмахом останавливаю чтение. — Обойдемся без этого. И отключи телефон, ладно?

Катя сваливает телеграммы на подоконник.

— Глебушка, так нельзя. Вдруг позвонит кто-то действительно важный...

— Кто, например?

Принимаю ироничный вид.

— А вдруг — президент Германии? — Ника расправляет салфетку на коленях Анны. — Или мама, а?

— У меня зазвонил телефон, — задумчиво произношу. — Кто говорит?

— Бегемот.

Дав вариант ответа, Анна снова безучастна.

Нестор предлагает тост за юбиляра. Все, кроме Анны, пьют. Ника подает ей сок, но Анна решительно отводит ее руку.

— Мам, выпей сока, — просит Вера. — Ну пожалуйста.

Просьба остается невыполненной. Катя дает Вере незаметный знак, чтобы она не настаивала. Официант приносит горячее.

А потом говорю я.

— Хочу выпить за наш с Верой дебют. Каждому из нас он в равной степени важен. Мы репетируем уже два месяца, и для меня это шестьдесят дней счастья.

Катя объявляет, что ей звонил Майер и сказал, что следует ориентироваться в основном на известные Вере вещи — те, что она играла на конкурсах. Да, он посоветовал включить в репертуар детскую песню, чтобы подчеркнуть юный Верин возраст. Майер просил о чем-то еще, но Катю неожиданно перебивает Анна.

— Шестьдесят дней счастья. Девочка, тебе не стыдно?

Вера выпрямляется и смотрит на мать. Анна не смотрит ни на кого. Катя понимает, что план доставить Вере удовольствие был ошибочным, но сделать ничего не может. Мы с Нестором, набросив пледы, уходим курить на балкон. Закрываем за собой дверь и садимся в плетеные кресла.

— На этом концерте ты действительно будешь петь? — спрашивает Нестор.

По ту сторону стекла наблюдаем беззвучную беседу в комнате.

— Нестор, я хотел тебе кое-что сказать. Не очень, может быть, юбилейное... У меня болезнь Паркинсона.

Во взгляде Нестора нет удивления.

— Я это знаю, Глеб.

— Катя рассказала? Впрочем, какое это имеет значение.

— Я понял это сам. Пару месяцев назад, по твоей правой руке. Нож ты вкладываешь в нее левой. Заметил, как ты пишешь: не без труда. Ну, и дрожание, конечно. Оно еще не очень заметно, но у меня отец был паркинсоником, я вижу.

— Катя страдает из-за моей болезни больше, чем я сам. Говорю ей, что дела пока в порядке. Хотя всё она, я думаю, видит.

— Не сомневайся.

— Бросается подать мне пальто, обувь помогает надеть. Начинаю на нее шипеть: я пока способен всё делать самостоятельно. А сам в рукав с третьего раза попадаю... Нестор, что мне делать?

— Видишь ли, эта болезнь не только физическая. Ее сопровождает глубокая депрессия. Нужно справиться хотя бы с этим.

Женщины в комнате молча смотрят на курящих мужчин. Внезапно Анна хватает мой бокал с виски и выпивает содержимое в три глотка. По подбородку скатываются выскочившие из бокала кубики льда. Анна хохочет. Вижу, как по просьбе Кати официант уносит бутылки — все, кроме минеральной воды. Он уже успел понять, что неподвижность Анны — вовсе не признак ее сдержанности. Признак чего-то противоположного.

Нестор (он сидит спиной к окну) закуривает новую сигарету от предыдущей. Ничего не замечает. Я замечаю, но не хочу его прерывать.

— Время от времени отец отказывался принимать лекарства, говорил, что хочет скорее сдохнуть.

А нам с мамой приходилось придумывать ему причины для жизни.

— Например?

— Ну, говорили, что он нам нужен. Да... Мы говорили, а он кричал: в качестве гири на ногах?! Мама обладала ангельским терпением. Гладила его по голове, отвечала, что он нужен нам в любом качестве, только бы был с нами. Отец знал, что это правда, и успокаивался. Иногда. Иногда — нет. С крика переходил на тихую трагическую речь: он-де понимает, что мы правы, но человек его темперамента и профессии не создан для жизни в четырех стенах, как птица не создана для клетки.

— А кто он был по профессии?

— Актер, понимаешь? Актер. В этом, думаю, была половина его бед — да и наших тоже. Мы остались его единственными зрителями, и тут уж он не жалел сил. Гиря на ногах, птица в клетке. Театральные интонации. — Нестор плотнее укутывается в плед. — Нужно сказать, что в клетку он запер себя сам: не хотел, чтобы видели его лицо-маску, трясущиеся руки. По амплуа он ведь был героем-любовником, его таким видеть привыкли.

— Ты всё время говоришь — был. Он умер?

— Да. Но не от Паркинсона. Во время одного из этих спектаклей у него не выдержало сердце. В каком-то смысле он умер на сцене. Актер — опасная профессия.

— Ох, опасная... — Я вспоминаю Миколу.

— Мне непросто всё это рассказывать, но это мой опыт. — Нестор встает и стряхивает с колен пепел. — Может быть, он как-то поможет тебе.

— Наверное, прежде всего нужно справляться с сознанием; тогда и с телом будет проще.

— Да. Это именно то, чего не смог сделать мой отец. Мы возвращаемся в столовую. Катя показывает мне глазами на Анну. Я даю знак, что всё видел.

— Ты говорила о просьбе Майера, — обращается Вера к Кате. — Насчет детской песни. У меня есть одна песенка, я только думаю, что она не подойдет.

— Почему, Верочка?

— Ну, это моя песня — слова и музыка. Это так, для дома. С Глебом исполнять ее неловко...

— Ей неловко! — Анна хватает бокал с соком и запускает в Веру. — Она хочет его у меня увести!

Бокал попадает Вере в плечо и разбивается об пол. На лицах сидящих желтеют капли сока. Ника снимает с носа апельсиновые волокна. Сохраняя самообладание, улыбается: сок свежесжатый, не концентрат. Рука Анны тянется к бутылке с водой, но бутылку успевает перехватить Катя. Через мгновение мы с Нестором держим Анну за руки.

Она вырывается и визжит. Нестор кричит, что Анну нужно связать, но никто не знает, как это делается. Из кухни приносят моток веревки и начинают его разматывать. Катя протестует: веревка может пережать сосуды. Исчезает на мгновение и возвращается с парой моих брючных ремней. Я пытаюсь стянуть ими руки Анны, но больная сопротивляется с неожиданной силой.

На помощь приходит официант. Приказав мужчинам крепко держать Анну, он быстро связывает ей руки и ноги и укладывает на ковре. Оставленная в покое, Анна замолкает. Снизу вверх немигающе смотрит на стоящих. Все выдыхают. Обращение официанта с ремнями Ника уважительно называет искусством. Тот с готовностью поясняет, что этим искусством он овладел в полиции, где служил до ре-

сторана. Он — единственный, кто сохраняет присутствие духа. Спрашивает, когда подавать сладкое. От сладкого отказываются все, кроме Анны. Она не против. С официантом прощаются, заплатив ему за дополнительные услуги.

Звоню лечащему врачу Анны, но он не отвечает. Посовещавшись, вызываем *скорую*. Приехавшая бригада делает Анне укол и переносит ее в спальню. Когда Анна засыпает, ее развязывают. Спать она должна вроде бы до утра, но за ней нужно постоянно следить.

Звонит лечащий врач: он обнаружил пропущенный звонок. Буянила? Что ж, весьма прискорбно. Он ведь предупредил, что этим может кончиться, и, если бы не личная просьба Глеба Федоровича, он бы никогда... Сейчас больную беспокоить не нужно, а утром он приедет за ней с санитарями.

Ника уезжает домой, а Нестор — на случай непредвиденной ситуации — остается дежурить со мной в спальне.

— Знаешь, Нестор, отчего мне плохо? — Я разливаю по бокалам виски. — От безнадёги.

Анна стонет, не открывая глаз.

— Дети, в школу собирайтесь... Вера, подъем!

Перехожу на шепот.

— Помню, лет в десять исполнилась моя мечта: мне купили радиоприемник. Дешевый, плохонький, но как я был счастлив! И вот, этот самый приемник упал со шкафа и разбился. Так бывает с мечтами. Мы с бабушкой отнесли его в мастерскую. Я почему-то твердо верил, что приемник починят — не так уж безнадежно он выглядел. Но мастер повертел его в руках и сказал: ремонту не подлежит. Я сначала этих слов даже не понял. Спросил: а что же делать? Он пожал плечами: выбросить. Этот тип еще объяс-

нял, какие именно детали там сломались, а я уже бился в истерике...

— Дети, в школу собирайтесь! — командует Анна во сне.

Мы с Нестором молча чокаемся.

— Даже сейчас, когда я вспоминаю эту историю, самым страшным для меня остается та дурацкая фраза: ремонту не подлежит. Скажи он как-то попроще — не могу, мол, починить или, там, еще что-нибудь, — было бы легче. Но в этой фразе была полная бесповоротность: и то, что приемника мне теперь не слушать, и то, что на новый денег нет. Вот эта фраза звучит у меня в голове сейчас. Твое тело, сказали мне, ремонту не подлежит. Не сказали: выброси, но это же понятно. И надежде зацепиться — ну просто не за что!

— Глеб, дорогой, к счастью, ты не совсем прав. Сейчас твой приемник не разбился. Да, он работает хуже, но работает.

— И будет работать всё хуже, пока не заглохнет...

Анна открывает глаза.

— Бегемот пропел давно... Пу-пу-пу-пу. — Глаза Анны закрываются. — Басовая труба.

— Бывает совсем плохо. — Нестор кивает на Анну. — Сравни.

— Слабое утешение...

Поправляю сползшее с Анны одеяло. Она садится на кровати. Волосы всклокочены, взгляд блуждает.

— Дети, в школу... Вера, где ты, девочка? Бегемот... — Дирижирует. — Пу-пу-пу-пу. Четыре четверти.

Ложится и засыпает.

Дремлет уже и Нестор.

А я пишу.

После ареста Бергамота Глеб и Катя пробыли в Киеве еще несколько недель. Не могли понять, что им делать дальше. Возвращаться в Питер не хотелось: было ясно, что этот этап жизни окончен. Дело решилось само собой, когда солнечным январским утром в дверь позвонили судебные приставы. Потребовали в течение часа освободить квартиру, которая уходила с молотка в счет погашения долгов Бергамота. Приставы придирчиво следили за тем, как Глеб и Катя упаковывали вещи, но позволили взять всё. Возможно, они не рассчитывали на то, что контроль над территорией получают так легко. Часа через два груженое такси отчалило от Бергамотова дома. Ночь Глеб с Катей провели в гостинице, а на следующий день (у Глеба уже была немецкая виза) выехали на поезде в Берлин. Поезд, а не самолет был выбран из-за большого количества вещей. Что до решения ехать в Германию, то оно — о чем, собственно, свидетельствовала и виза — не было внезапным. Такое развитие событий не исключалось, хотя и не сказать, чтобы Яновские как-то его приближали. Глеба, а в особенности — Катю посещала мысль о том, что в Берлине могут возникнуть свои сложности. Но ни Глеб, ни даже Катя не предвидели степени этих сложностей. Начались они уже на берлинском вокзале: Катины родители там не появились. Эту невстречу Катя вяло пыталась объяснить, хотя обоим всё уже было ясно. О Катиных родителях они никогда не говорили, но Глеб понимал: то, что Катя никогда не приглашала его с собой в Берлин, не случайно. С новыми родственниками Глеб познакомился в дверях квартиры на Винеташтрассе. С зятем они поздоровались без

особой радости, а затем молча наблюдали, как Катя и Глеб носили из грузового такси вещи. Катя, казалось, не замечала холодного приема. Она улыбалась своей обезоруживающей улыбкой и рассказывала, как непросто было убедить таможенников, что они с Глебом не контрабандисты. Никого она не обезоружила. Родители продолжали стоять с каменными лицами, и история про таможенников их не рассмешила. Ее и не было. Глеб испытывал к жене пронзительную жалость. И любовь. Катина мать что-то быстро у Глеба спросила. Ему показалось, что даже слишком быстро. Проверила, что ли, его немецкий? Катя, видя Глебово замешательство, тут же перевела: мама интересуется, чем бы ты хотел в Германии заняться. Вот ты, например, можешь быть переводчицей при муже, впервые улыбнулся Гертнер-отец. Если, конечно, кто-то будет платить тебе за это зарплату. А чем будет заниматься он? Нет пока в Германии такой профессии — ворон считать. Глеб задумался было над ответом, но понял, что ответа никто не ждет. На него больше не обращали внимания, дальше беседа продолжалась между супругами Гертнер. С первыми звуками телевизионных новостей они скрылись в гостиной и больше в этот вечер не показывались. Лишь перед сном Глеб столкнулся с фрау Гертнер у туалета, и та что-то быстро ему сказала. Глеб опять не понял — она безнадежно махнула рукой. Когда Глеб позвал Катю, Гертнерша отчетливо произнесла, что у Кати теперь и в самом деле отличное занятие — оказывать Глебу услуги переводчика. Кроме, конечно, всех прочих услуг. Катя вспыхнула, а Глеб сделал вывод, что теща умеет, оказывается, говорить внятно. Это происходит тогда, когда она хочет, чтобы ее услышали. Катя спросила, что именно ее мать хотела

сообщить Глебу, но та уже и сама этого не помнила. Фрау Гертнер ушла в свою комнату (спали родители раздельно), а Глеб и Катя — в свою, прежде Катину. Это была маленькая комната, в которой стояли шкаф, письменный стол и Катина детская кровать, на которой Глебу было не поместиться. Для него Катя нашла в кладовке раскладушку. Прежде чем лечь спать, они съели по шоколадному батончику. Батончики Катя, к молчаливому удивлению Глеба, купила на вокзале. Теперь ему было ясно: его жена знала, что они могут пригодиться. Затем разложили раскладушку. Кое-как Глеб улегся на нее, но сон не приходил. По сдерживаемым Катиным вздохам понимал, что не спит и она. Жалость к жене перешла в нежность. Под визг пружин (а задумывалось неслышно) Глеб встал с раскладушки и оперся коленом о Катину кровать. Лечь рядом оказалось и в самом деле сложно: руку и ногу ему пришлось забросить на Катю. Потерпи моих родителей, прошептала Катя, хотя ничего кроме отвращения они не вызывают. Глеб приблизил свои губы к Катиным: я не испытываю к ним отвращения, потому что они родили тебя. Катя обвила руками его шею. Я тебе рожу кого-то получше, обними меня... Когда утром они вышли из комнаты, Катины родители завтракали на кухне. Сказали, что минут через пятнадцать закончат, и тогда Катя с Глебом смогут позавтракать. Сообщили также, что для *этого* завтрака они могут взять продукты из холодильника, в дальнейшем же всё должны покупать себе отдельно. В холодильнике им выделялась особая полка. Катя хотела тут же идти в магазин, но Глеб незаметно сжал ее руку: не обострай. Катя не обостряла. Всё и так уже было достаточно остро. Глеб видел, как порой дрожат ее губы. Она испытывала обиду и стыд одновремен-

но. Ничего хорошего от этого приезда не ждала, так что обида ее была скорее гневом, но стыд оставался стыдом, потому что всё разворачивалось на глазах у Глеба. Они погрузились в безвоздушное пространство. Глоток воздуха появился вечером в лице дяди Курта. Дядей он приходился, в сущности, только одному человеку — отцу Кати. Это был брат его покойного отца. Дядя Курт, носивший ту же фамилию, что и племянник, был, по словам Кати, его полной противоположностью. То, что она определила отца как племянника дяди Курта, от Глеба не ускользнуло. Наблюдая за отношениями в семье, он понял, что из всех Гертнеров Катя любила только этого старика. Тот явился без приглашения. Точнее, приглашение последовало после того, как он сказал, что придет посмотреть на Катю и ее мужа. Курт Гертнер был известным художником, его картины стоили дорого, и он был одинок. Это были три причины, которые, по мнению Кати, заставляли ее родителей с ним считаться. Они часто гадали, каким будет его завещание, и в общении с ним проявляли на всякий случай лучшие свои качества. Впрочем, дядя Курт был не похож на того, кто собирается умирать в ближайшее время. Это был высокий статный старик, напоминавший Хемингуэя. Обняв Катю (она повисла на его шее), крепко пожал руку Глеба. Спросил: как идет, товариш? Отлично идет, ответил Глеб и похвалил его русский язык. Хорошая школа, сказала (вздых сочувствия) фрау Гертнер. Хорошая, подтвердил дядя Курт и добавил, что у него о России наилучшие воспоминания. Катя, улыбаясь, пояснила, что дядя Курт провел несколько лет в русском плену. Дядя кивнул с серьезным выражением лица и заметил, что плен — не самый плохой путь для изучения страны. Это был, возможно, не ку-

порт (он подмигнул Глебу), но полученный опыт дал ему закалку на всю жизнь. И понимание жизни. Дядя Курт любил Булгакова и Тарковского и — что для Глеба было самым важным — в свое время поддержал решение Кати учиться в России. Когда стали готовиться к ужину, Катя спросила у матери, нужно ли им с Глебом готовить что-то отдельно, но фрау Гертнер ответила, что, конечно, не нужно. Засмеялась. Покрылась. У нас есть свои семейные шутки, улыбнулся дядя Курт Глебу. У всякой семьи есть шутки (Глеб улыбнулся в ответ), это нормально. Катя пожалала плечами: наши — немного странные. Она явно шла в атаку, но дядя Курт внес умиротворение: пусть Глеб привыкает, он ведь теперь тоже член нашей семьи. За семью провозгласил тост и за ужином. Посетовал, что далеко сейчас Катина сестра Барбара. Вырвалась отсюда, бедная, шепнула Глебу Катя, учиться на врача в Манчестере. Перед уходом дяде Курту понадобилось посекретничать с юной парой, и они зашли в Катину комнату. Лицо старика было грустным. Смыться вам отсюда нужно, сказал он неожиданно, эти птицеловы у вас все перья выщиплют. Катя отвернулась. Дядя Курт погладил ее по голове: постараюсь что-нибудь придумать. А пока (достав пухлый конверт, вручил его Глебу) возьмите мой свадебный подарок. Как это у Чехова? Цветы запоздалые...

30.04.14, ПЕТЕРБУРГ

Мы с Верой готовимся к концерту. Вера сидит за синтезатором, я из-за ее плеча смотрю в ноты.

— Я спою первый куплет, а потом мы попробуем вдвоем, ладно?

— Ладно... Слушай, а может, ты будешь петь эту песню одна?

— Она тебе не нравится?

— Наоборот, очень. Мне только кажется, что здесь нужно петь твоим ангельским голосом, а мое гудение всё испортит.

— Так, понятно. Песня отменяется. — Вера хлопывает ноты. — Знаешь, она мне и самой не слишком нравится.

Я кладу ей руку на плечо.

— Верочка, всё будет так, как ты решишь. Спой мне первый куплет.

Вера отрицательно качает головой. Взъерошивает рукой волосы на лбу. Лицо отдаёт желтизной.

— Ну пожалуйста, — поправляю ей челку.

Вера выскальзывает из-под моей руки и внимательно на меня смотрит. Открыв ноты, пробегает пальцами над клавишами. Затем касается их. Начинает петь.

① $\text{♩} = 65$

Голос
Ска-зоч-но - е ут - ро, тре-пет - на-я не-быль, ста - я у - ток

Ф-но
p

Голос
ввин-чи-ва-лась в не - бо, ста - я у - ток ввин-чи-ва- лась в не - бо.¹

Ф-но

¹ Сказочное утро, трепетная небыль, стая уток
ввинчивалась в небо, стая уток ввинчивалась в небо.

— *Стая уток покидала озеро*, — вступаю во втором куплете.

Вера убирает руки с клавиатуры:

— В начале этого куплета вместо *ля* — *до*.

— Понял, четные куплеты начинаются с *до*: *Стая уток / Покидала озеро, / Было утром / Небо розово...* — Обрываю пение. — Дальше пробуем по очереди: *Взмыли, безголосые...*

— *Взмыли, безголосые, / Сосредоточенно, / Будто в небе озеро / Такое точно.*

— *Будто в небе озеро / Такое точно*, — присоединяюсь на повторе. — А теперь я: *Поплывут в безветрии те, кто добрались, / Для симметрии — головами вниз...* Нормально! *Для симметрии / Головами вниз.* Пробуем вдвоем: *Разомлеют после / От своей удачи. / Ну, а то, что бросили, — / Всё оплачут.* Повтор — ты одна.

— *Ну, а то, что бросили, / Всё оплачут.*

В дверях стоит сияющая Катя. Оба больших пальца подняты вверх — фирменный жест. Вера смущенно машет рукой: она еще не умеет принимать похвалы. Целует Катю и уходит в свою комнату. Я направляюсь было в свой кабинет, но Катя меня останавливает. Закрывает дверь.

— Только что звонили из больницы... Когда тебя не было, мы ездили в больницу сдавать анализы... — У нее перехватывает горло. — Всё довольно плохо. Очень плохо, понимаешь?

— Подожди... Что они конкретно сказали?

— У Верочки нарушено движение желчи. Желчь начинает разливаться по телу... Ты заметил, какая она желтая? Кровь очищается плохо. Когда неочищенная кровь попадает в мозг, человек становится агрессивным и непредсказуемым. Предупредили, что всё это проявится в ближайшее время.

Уже проявляется... Одно дело — медицинский прогноз, а другое — те изменения, которые наблюдаешь сам. То, что предстоит Кате в отношении меня.

Спрашиваю:

— Что предлагают?

— Срочно в больницу. Я не смогла сказать ей этого сейчас.

Достаю из кармана телефон, набираю Майера и передаю ему сказанное Катей. Он обещает перезвонить через час.

Я — Кате:

— Нам перезвонят. Садись, не надо вот так стоять.

— Как — так?

— Безнадёжно.

Катя садится в кресло, я — на винтовой стул у инструмента. Одним пальцем наигрываю мелодию песни. Появляется Вера в пижаме, она пришла попрощаться перед сном.

— Значит, ничего песня?

Катя улыбается:

— Ты же видишь, он не может остановиться.

Мы с Катей целуем Веру, и она отправляется спать.

Звонит Майер — ровно через час после нашего разговора. Пунктуален. Эффективен. Скуп на слова. Для Веры приготовили место в одной из берлинских клиник. Два дня на сборы.

1993

Знакомство с дядей Куртом вселило надежду. Дело было даже не в том, что его царский подарок (в конверте лежало 20 000 марок) открывал возможности

для бегства. Поддерживала сама мысль, что где-то недалеко, в одном с ними городе, живет тот, кто в крайнем случае найдет выход. А крайний случай стремительно приближался. Три недели, проведенные в Берлине, от первого дня особенно не отличались. В общении с Глебом Катины родители по-прежнему пользовались скороговорками и закатывали глаза, когда он не понимал сказанного. Иногда демонстративно переходили с ним на замедленную речь, где глаголы стояли в инфинитиве, а существительные — в именительном падеже: снег — обувь сушить, свет — зря не гореть. Все гадости о нем говорились четким размеренным речитативом — Кате, в его присутствии. Однажды фрау Гертнер пригласила его знаком к туалету. Открыв дверь, она показала на сиденье унитаза: капля, кто-то капать. Услышав иностранные конструкции матери, тут же появилась Катя. В этот момент Глеб пытался объяснить, что, пользуясь унитазом, сиденье он всегда поднимает. Катя сказала матери, что капнуть мог тот, кто выливал в унитаз старую заварку из чайника (выливать ее в раковину запрещалось). По версии фрау Гертнер, однако, *так* капнуть мог только *писающий стоя* (она употребила слово *Stehpisser*). Когда же Катя напомнила ей о присутствии в квартире еще одного *Stehpisser'a*, фрау Гертнер закричала, что дочь не смеет так говорить об отце. На крики вышел Гертнер-отец. Услышав о павшем на него подозрении, он чуть не задохнулся от возмущения и даже замахнулся на Катю. Не дремавший Глеб в один миг оказался рядом с женой. Катя втолкнула Глеба в их комнату и закрыла за ним дверь. Из-за двери до него доносились крики фрау Гертнер и, среди прочего, упоминание о Сталинградской битве, которую он, Глеб, скоро здесь устроит. Крики

внезапно сменились тихой Катиной речью, которая была почти не слышна. Глеб осторожно нажал на ручку, образовалась незаметная щель. Катя сбивчиво говорила, что, если она с мужем сейчас уйдет, то родители больше ее не увидят. Судя по всему, такое развитие событий их не испугало. Конец разговора был очевидным образом близок, и Глеб отошел от двери. Войдя, Катя неожиданно спокойно сказала, что надо собираться. Глеб даже не спросил — куда, главное — собираться. Он тут же снял со шкафа чемодан. Взяв *Желтые страницы*, Катя принялась обзванивать гостиницы. Нашла одну из самых недорогих и забронировала номер. Потом набрала дядю Курта: мы *смываемся*. Едем сейчас в гостиницу... Решение смыться дядя Курт приветствовал, но был категорически против гостиницы. Распорядился отметить бронь и ехать к нему в мастерскую. Это, возможно, не пять звезд, сказал он, зато есть своя экзотика. Когда Катя с Глебом уже стояли в дверях, появились Катины родители. Ты хорошо подумала, спросил ее отец. Я только и делала что думала — все три недели. Катя сказала: *Schluß*¹. И это было действительно *Schluß*. Больше она к родителям не приезжала. Видела их несколько раз на семейных торжествах — у того же дяди Курта, — но не приезжала. Как и ее сестра Барбара, которая домой тоже не вернулась. Окончив учебу в Манчестере, Барбара нашла место в одной из мюнхенских клиник: Мюнхен она выбрала, чтобы быть ближе к Кате. А Катя с Глебом оказались там благодаря дяде Курту. После посещения родственников в день их приезда он сразу же обратился за помощью к своей подруге и поклон-

¹ Здесь: довольно (*нем.*).

нице, мюнхенской галеристке Анне Кессель. Внимательно выслушав дядю Курта, она согласилась, что положение юной пары можно определить как *kritisch*¹, и обещала поспрашивать своих друзей о возможности помочь. Поискам всё благоприятствовало. В галерее Анны собирались люди из самых разных сфер, в том числе способные дать на вопрос практический ответ, а уж ставить вопросы она умела. Анна довольно быстро справилась с поставленным перед ней заданием. Она сообщила дяде Курту, что должность бундесканцлера оказалась занята, но нашлись две вакансии, которые на первых порах молодых людей могли бы выручить. Кате предлагалось место переводчицы с русского на немецкий, преимущественно в выставочной сфере. Глеба готовы были взять на должность тьютора в богословский коллегийум святого Фомы. Все эти новости дядя Курт объявил в присутствии большого числа знаменитостей, висевших в его мастерской. Знаменитости (некоторые не имели еще глаз и ртов) отреагировали сдержанно, зато благодарность Кати и Глеба не знала границ. Найденная Анной должность тьютора, сама по себе не очень денежная, имела важное преимущество: она решала жилищную проблему. За символическую плату Глебу и Кате предоставлялась небольшая двухкомнатная квартирка в самом коллегийуме. Прожив еще несколько дней в мастерской дяди Курта, они выехали в столицу Баварии. Глеб на скоростном поезде ехал впервые. Он любовался смазанными линиями домов, деревьев, станций, их смешанными красками. Не было лишь одного — звуков: поезд шел в абсолютной, почти

¹ Критическое (нем.).

студийной тишине, какой Глеб ее запомнил, записывая фонограммы для Бергамота. На мюнхенском вокзале они взяли такси. Издавая негромкие жалобные звуки (к собственным вещам Яновских прибавились подарки дяди Курта), машина влилась в движение улицы. Через полчаса она въехала в ворота коллегiums — с похожими вроде бы песнями, но уже в мажоре. Новая жизнь встречала их радостным скрипом автомобиля. За время пути восстановился блеск его потускневшей краски, а шофер немного помолодел.

05.05.14, БЕРЛИН

Больничная палата-люкс. Здесь уже третий день находится Вера, она проходит всестороннее обследование. Появляется врач и с извинениями просит меня на некоторое время выйти.

— И вообще походи куда-нибудь погулять, — говорит Вера. — Зачем нам здесь втроем тусоваться?

Врач в целом понимает сказанное по мимике. Он говорит Вере по-английски:

— На месте вашего папы я бы съездил в Тиргартен, там сейчас хорошо. А мама будет нам помогать с немецким.

На Верином лице появляется улыбка:

— Слышишь... папа? Мигом в Тиргартен, папа.

Слово ей нравится. Становлюсь по стойке *смирно* и отдаю честь. Катя поправляет мне воротник:

— Папа у нас покладистый... Подходящий такой папа.

— А мама как? — спрашивает врач. — Не подводит?

Катя, после паузы:

— Очень у нас сложно по части мам.

Врач надевает стетоскоп. Невозмутим.

— Открываем рот, так... С родителями вообще одни неприятности. Скажите *а-а-а...* Уж такие эти родители создания. Еще раз скажите: *а-а-а...* Отлично, Нетребко отдыхает. А теперь раздеваемся до пояса...

Я покидаю палату. Такси быстро довозит до Тиргартена. Там зелено и солнечно. Почему во всем мире зелено и солнечно, и только в Петербурге — нет? Там листва начинает только пробиваться, а здесь она во всей красе. Молчу уже о солнце. Сойдя с аллеи, сажусь на скамейку у озера. Редкие прохожие на аллее да утки на воде. Жизнь парковая и жизнь озерная. Не больничная.

Спросив разрешения, на противоположный край скамейки садится старик. Шляпа, тросточка: уходящий Берлин. Утки смешно ныряют за кормом — на поверхности только хвост да лапки. *Поплывут в безветрии те, кто добрались* (чувствую на себе взгляд старика), *для симметрии головами вниз*. Что будет с Верой? Я чужой среди этой красоты, а Вера — еще более чужая.

— Паркинсон?

Оборачиваюсь к старику и не скрываю удивления. Тот приподнимает шляпу.

— У вас Паркинсон? — Старик показывает на мою дрожащую руку. — Простите, я не из любопытства спрашиваю — из любви.

Вот как. Чувствую прилив энергии — ровно столько, сколько нужно, чтобы нагрубить и уйти. Но старик светится доброжелательством. Рука его, лежащая на трости, дрожит — гораздо сильнее моей.

Ну, пусть так. Достаточный ли это повод для распросов, особенно в Германии? И всё же раздражение проходит.

— А вы коллега?

— Коллега! — Улыбаясь, еще раз приподнимает шляпу. — Коллега Мартин. А вы — коллега Глеб. Знаменитость. У вас очень грустный вид, вы думаете о своей болезни...

— Не угадали.

— Значит, вы думаете над тем, как теперь жить.

Гляжу в голубые глаза Мартина.

— И вы мне это объясните?

— Конечно! Потому что я все это уже проходил. Иначе мне не было бы смысла с вами заговаривать.

Мартин замолкает, глаза его закрыты. Вода покрывается рябью, и ветер гонит прошлогодние еще листья к островку в центре озера. Туда же направляются и утки.

— В чем ваша главная претензия к болезни? — Мартин спрашивает, не открывая глаз.

— В том, что она неизлечима.

— А что, старость излечима? А смерть? — Он смотрит на меня с прежней бодростью. — Они не менее реальны, чем наша болезнь, но острого страха перед ними у вас нет. Есть спокойное понимание того, что в один прекрасный день...

— Всё так. Только ни о старости, ни о болезни не говорят, что они неизлечимы. Слово совершенно безнадежное! Безнадежнее смерти.

— Значит, вы боитесь не явлений, а слов.

— Старость и смерть — это грустно, но естественно. А болезнь...

— Болезнь — тоже естественно.

Какое-то время молчу.

— Для кого?

— Да для нас с вами, для кого же еще? Не воспринимайте болезнь как что-то внешнее. Любите ее, она ваша, родная!

— Оптимистический взгляд. Меня, значит, будет трясти, как осенний лист, а я буду радоваться?

— Вы будете думать: до чего я трепетный человек.

Мне смешно.

— Мартин, вы забыли о сопутствующих явлениях! Я не хочу о них даже упоминать.

— Вы сможете гордиться, что вам столько всего сопутствует.

— Настанет день, когда будет сложно ходить даже по комнате.

— Иной раз комната больше целого мира. Главное, не горюйте о том, что еще не наступило. А то получается двойная беда: первая — Паркинсон, а вторая — ваше огорчение. Начните кому-нибудь помогать, и это будет помощью вам самому. В мире есть люди, которым намного хуже, чем вам.

— Начал. Это получилось само собой.

— Легче?

От его ясного взгляда мне не по себе.

— Тяжелее, Мартин. Гораздо тяжелее.

1993

Коллегиум святого Фомы был учебно-благотворительным учреждением. Учебная его часть предусматривала получение богословского образования и рассматривалась как дополнение к университетскому обучению. Благотворительная деятельность коллегиу-

ма выражалась в уходе за людьми с психическими и физическими отклонениями, жившими здесь же в особых корпусах.

Уже в день приезда состоялась встреча Глеба с ректором коллегіума патером Петером (его называли коротко — ПП) и был подписан трудовой договор на семи страницах. С немецкой тщательностью там перечислялись обязанности и права нового тьютора, в том числе все исключения из указанных обязанностей и прав. Если же говорить коротко, перед Глебом были поставлены две основные задачи: обучать будущих богословов русскому языку и (неожиданно) игре на гитаре. И то, и другое для богословского образования считалось необходимым. Русский язык открывал учащимся доступ к православному богословию, а гитара — к прекрасному, поскольку (здесь ПП позволил себе улыбнуться) настоящему богослову без прекрасного не обойтись. ПП предложил Глебу перейти на *ты*: братья и сёстры здесь иначе друг к другу не обращаются. Глеб ответил: с радостью. ПП попросил его передать это и Кате. Глеб пообещал передать. Они с Катей становились тут своими, и ему это было приятно. Им была предоставлена возможность заказывать завтраки и обеды в общей кухне — недорогие, но вкусные. Вообще Глеб и Катя быстро убедились в том, что богословский быт налажен в высшей степени разумно. Те, кто думает о небесном, хорошо организуют и земное. Главным же плюсом их нынешнего положения стало отсутствие Катиных родителей. Трехнедельная жизнь под одной крышей с ними казалась настолько бесконечной и безнадежной, что в возможность перемен просто не верилось. Главной жертвой этих трех недель была Катя: тяжелее всех было имен-

но ей. По прошествии лет Глеба удивляло, что Катя, добрая и всепрощающая Катя, отношения к родителям уже не изменила. Как-то раз Глеб спросил, не хочет ли она их простить, но Катя ответила, что прощение здесь ни при чем: она просто не может их видеть. Даже впоследствии, когда Глеб (так случилось) оплачивал их дорогостоящее лечение и чета Гертнеров вела себя уже совсем по-другому, личное общение Катя постаралась свести к минимуму. Глеб понимал, что дело здесь не в трех неделях, а в проведенном с родителями детстве. Катина сестра Барбара не приводила к ним мужа (которого в настоящем смысле у нее так и не образовалось), но ее отношение к родителям не отличалось от Катиного. В Мюнхене Глеб и Катя о родителях просто забыли. Обоим нравились их новые занятия, которые, может быть, не были так уж хороши, но давали жизни новый толчок. Катя переводила с русского и на русский (ее русский правил Глеб) каталоги выставок и документацию для нескольких мюнхенских фирм, сотрудничавших с Россией. Занималась она и синхронным переводом, что на первых порах было довольно сложно. Переводимые лица (здесь их называли спикерами) зачастую забывали о переводчике, и переводить сказанное приходилось большими фрагментами. На этот случай коллеги посоветовали Кате иметь с собой блокнот, чтобы отмечать ключевые слова как крючки для памяти. Но находились и такие спикеры, которые ждали перевода после каждой фразы, что, казалось бы, упрощало дело. В действительности же это было не так. Перевод фраза за фразой делал заметными мельчайшие ошибки переводчика. Спасало то, что с течением времени ошибок у Кати становилось всё меньше. Набирался опыта и Глеб. Если

вначале он использовал на занятиях по гитаре свои ученические воспоминания и в основном призывал играть с нюансами, то впоследствии перечень его требований значительно расширился. Обучаться у него вызвалось три человека, из них один начинающий. Начинаящая. Беата Бауэр, высокая (выше Глеба) светловолосая жительница Гамбурга. К ней призыв играть с нюансами не относился, поскольку играть она пока не умела. Перед Беатой стояла более простая задача — обучение приемам звукоизвлечения, и это не позволяло включить ее в общую группу. Пока же Глеб ставил Беате руку, как когда-то ставила ему руку Вера Михайловна. Правая рука должна образовывать над струнами домик (домик, серьезно повторила Беата), при этом крыша его не может проваливаться. Движением Веры Михайловны он просунул в домик Беаты палец, чтобы показать, как сильно просела ее крыша. Палец тут же был пойман. Глеб (беспечное насекомое, проникшее в хищный цветок) поднял брови, но Беата пальца не отпускала. Так играть не получится, сказал он спокойно. Но я хочу играть, возразила девушка, очень хочу. Глеб понимал, что складывается какая-то немзыкальная ситуация, и решил, что в этом случае лучше всего сохранять спокойствие. Что было, вообще говоря, не так уж просто. Он испытывал замешательство, и Беата (палец все еще был в ее распоряжении) это чувствовала. Но Глеб был старше, а в таких случаях это много значит. Он разглядел в своей ученице что-то такое, что не позволяло относиться к ней всерьез. Когда Беата отпустила палец, Глеб улыбнулся: ну что, будем заниматься? Будем, фыркнула Беата, вопрос только — чем?левой рукой (указал на ее левую руку): с ней не меньше сложностей,

чем с правой. Беата тряхнула левой рукой, и ее деревянные браслеты съехали к локтю. Да, левая, конечно, левая, я про нее совсем забыла. Удивительным образом Беата была дважды начинающей: с Глебом она решила заниматься и русским языком. В этой области сложилась ситуация, симметричная области музыкальной. Русский изучало три человека. Двое оказались с языком в какой-то степени знакомы, и их было решено объединить. Беате же и здесь потребовались персональные занятия. Ее способность постигать новое была феноменальной. Беата получала два образования — богословское и психологическое. Глеб не знал, как она училась в университете, но, судя по успехам на его занятиях, с богословием и психологией у нее тоже всё было в порядке. Параллельные уроки музыки и языка поразили Глеба своим сходством — даже проходили они в одной и той же аудитории. Главное же состояло в том, что музыка была языком, а язык — музыкой. Беата очень быстро выучила основы нотной грамоты и так же быстро — русский алфавит. Через пару уроков она уже наигрывала простые музыкальные фразы, сопровождая их фразами на русском языке. Беглость пальцев она тренировала этюдами, а беглость устной речи — скороговорками. *Шла Саша по шоссе и сосала сушку.* Почему она ее сосала, почему не грызла, удивилась Беата. Это была очень жесткая сушка? Да, пересушенная, согласился Глеб. Сушка, изготовленная с нарушением технологии. К тому же у Саши попросту могло не быть зубов... Так. *На дворе трава, на траве дрова.* Беата тут же заметила, что место хранения дров — сарай: на траве они быстро отсыреют. Если

уж что-то класть на траву, так эту несчастную сушку — чтобы она стала хоть немного мягче. Услышав, как *жутко жуку жить на суку*, девушка только посмеялась. Отчего же он живет на суку, если ему там жутко? Глеб задумчиво посмотрел на нее: оттого, что это его родина, Беата.

25.05.14, БЕРЛИН

Мы с Верой выезжаем из клиники. За нами, пружиня, закрываются ворота. Машина берет курс на аэропорт: мы вылетаем в Петербург. Двумя днями ранее туда улетела Катя, чтобы всё устроить к Веринуму приезду. Состояние Веры стабилизировали, но болезнь ее продолжает развиваться. Скорее всего, потребуется пересадка печени, а это ох как непросто. Предполагалось, что ближайшие недели Вера будет наблюдаться в Берлине, но она захотела провести это время в Петербурге. Врачебный контроль будет осуществляться там. При первых признаках ухудшения мы снова вылетим в Берлин.

Машина останавливается перед светофором. Вера опускает стекло. Красный. Улицу пересекает группа велосипедистов. Незаметно наблюдаю за Верой — она улыбается. Желтый. Лицо Веры тоже отдает желтизной. Чувствую, как к горлу подкатывает ком. Автомобиль трогается с места и, не ожидая зеленого, стартует. В потоке машин оказывается первым.

— Нам запретили готовиться к концерту? — спрашивает Вера.

— Кто?

— Врачи.

Вообще-то, конечно, запретили. Хотели запретить, но мне удалось их уговорить. Отмена концерта, доказывал я, была бы для девочки сильнейшим ударом, а репетиции — наоборот, стимулом к выздоровлению. Если не перенапрягаться. Врачи нехотя с этим согласились, потребовав именно что не перенапрягаться.

— Врачи приветствуют всякую активность. Так что с завтрашнего дня начинаем снова репетировать. Если ты, конечно, не раздумала...

— Не надейся. — Она прижимается к моему плечу. Хохочет. — Папа... Ты ведь мой папа?

Целую ее в висок.

— А ты — моя дочь.

По представлению психиатрической клиники Анну лишили родительских прав: ей предстоит провести там неопределенно долгое время. Встает вопрос то ли об опекунстве, то ли об удочерении — я не разбираюсь в этих тонкостях. Как бы это ни называлось, мы ее уже считаем дочерью.

Самолет набирает высоту. Вынырнув из клубов пара, оказывается по ту сторону облаков. Напоминает утку из Вериной песни. Его истинные размеры теряются в бесконечном пространстве, и снизу он — меньше утки. Вера смотрит в иллюминатор. Оборачивается.

— Послушай, а этот Джадзотто... Я всё думаю: почему он приписал свою музыку Альбинони?

— Этого, боюсь, мы уже не узнаем.

Стюардесса приносит клюквенный морс и просит у меня автограф.

— Может, ему казалось, что он этой музыки недостойн? — Вера держит морс у иллюминатора, и облака становятся багровыми. — Что она как бы велика для него?

— Ну да, наверное... Думал, например: вот какой незаслуженный мне подарок. Или что-нибудь в этом роде.

— А ты считаешь, что он был незаслуженным?

— Да любой подарок незаслуженный. Важно лишь правильно им распорядиться. Джадзотто нашел свое решение.

Стюардесса катит тележку с газетами. Вера берет одну. Листать начинает с последней страницы. Толкает меня в бок:

— Смотри, здесь пишут, что Австралии нет.

— Прелестно.

— Нет, правда, какая-то шведская девочка доказала, что Австралия — выдумка, мираж. Кто ее видел своими глазами? Ты видел?

— Нет, не видел.

— Ее придумали в Англии, когда массово казнили осужденных. Чтобы родственники не подняли бунт, им говорили: дескать, так и так, отправлен в Австралию. Поди проверь, в Австралии он или нет... — Смеется. — Ты все еще веришь, что Австралия существует?

— Вот теперь даже не знаю. Может, и нет ее, Австралии.

1993

Быт в коллегииуме был устроен так. С 7:30 до 10:00 можно было позавтракать в общем зале. Для этого накануне следовало внести свое имя в список завтракающих. Обед накрывался в 13:00. Для тех, кто принимал участие в общей трапезе, существовал обеденный список с пометой *горячее*. Те же, кто собирался

пообедать позже или в своей комнате, проходили по списку *холодное*. В этом случае обед ждал своего хозяина в одном из холодильников (у каждого была своя полка), и его можно было разогреть в микроволновой печи. Ужин кухня коллегіума не готовила, предполагая, очевидно, что вечернее питание вредно. Глеб и Катя предпочитали завтракать и обедать в компании. Им нравились общие беседы. Друзей в Мюнхене у них не было, и коллективные трапезы восполняли недостаток общения. Разговоры за столом были тем более интересны, что в коллегіуме жили не только немцы, но и иностранцы. Застольные беседы иногда затягивались на несколько часов. В эти часы Глеб многое узнал о Германии и Западной Европе в целом. О Соединенных Штатах, Бразилии и двух подчеркнуто южных государствах — Южной Корее и Южно-Африканской Республике. В то же время ему казалось, что с каждой такой беседой он всё меньше знает о России, которая была не похожа ни на одну страну в мире. В ней не было немецкой тщательности и американского богатства, там не умели играть в футбол и отсутствовало чернокожее население. Когда собеседники спрашивали Глеба о том, что же определяет современную Россию, у него не было внятного ответа. Он мог бы сказать о ее природных богатствах, но они не делали население богаче, так что само их наличие в недрах земли начинало вызывать сомнения. Можно было бы вспомнить о пространствах России, но они стремительно сужались — и не только за счет экзотической Азии, но и родной ему Украины. Украина была частью его родины в самом глубоком смысле этого слова. За границей у Глеба возникло физическое ощущение того, что прежде единая страна распалась

на куски, и теперь они разъезжаются под ним, как при землетрясении, а он стоит над самой бездной и чувствует, что скоро в нее провалится. Это ощущение было так сильно, что однажды за обедом он даже сообщил о нем ПП. В красках описал, как земля уходит из-под ног и как ему (хватательное движение) не за что держаться. Держись, друг мой, за небо, посоветовал ПП, наматывая спагетти на вилку. Когда такое происходит под ногами, лучше держаться за небо. Он произнес это просто, как нечто само собой разумеющееся. Хлебнул кофе, вытер губы салфеткой и поспешил в офис. Фраза имела все шансы стать крылатой, появившись она в России. Но у немцев земля под ногами не разъезжалась, и повторять ее здесь было некому. Была в коллегии другая фраза, не хуже, в сущности, первой, — она стала своего рода ежедневным приветствием. Ее произносил садовник Пильц, наливая по стенке бокала нефильтованное пиво: вы, русские, — еще римляне или уже итальянцы? Формально говоря, это был вопрос, но Пильц его произносил как *фразу*, потому что если так спрашивают, то понятно, что империя рухнула и что уже итальянцы. Первый раз он задал этот вопрос Глебу, водя пальцем по газете; впоследствии же делал вид, что всё придумал сам. Чисто по-человечески Глеб предпочел бы быть итальянцем, но и сравнение с римлянами имело свои достоинства: оно словно облекало в тогу — его, бабушку, Лесю Кирилловну, Клещука и всех когда-либо живших в СССР. Ставило их, можно сказать, на котурны. Высказывание о римлянах и итальянцах повторялось Пильцем десятки раз. Впрочем, так происходило не со всеми фразами. Иначе случилось с заявлением о том, что нет такого физического закона, по

которому газ идет с востока на запад, а потому русских лучше не провоцировать. Эту фразу садовник повторял всего несколько дней. Между тем в коллегии имелось лицо, которое только и делало, что провоцировало русских. Это была Беата. Успехи в изучении языка резко расширяли ее возможности воздействия на Глеба. Например, изучая вид глагола (самый трудный раздел русской грамматики), Беата очень внимательно отнеслась к сведениям о том, что несовершенный вид обозначает не только незаконченность действия, но и его многократность, а также движение туда и обратно. Правильно ли я понимаю, задумчиво спросила она, что для описания действий эротического характера используют несовершенный вид? Она покачала длинным пальцем на манер метронома. Да, вежливо ответил Глеб, — особенно если эти действия оказались несовершенны. Чем больше он с ней общался, тем лучше понимал: эти маленькие безобразия не приглашают к чему-то большему, поскольку большего Беате не надо. Об этом говорило и то, что свои игры Беата затеяла под носом у Кати и тем самым изначально положила им предел. Его ученица была тем, что в русском языке обозначается индустриальным словом *динамо*. Она доходила до предельного количества оборотов, но это движение было холостым. Когда от построения отдельных фраз Беата перешла к созданию связных текстов, Глеб предложил ей выбрать разговорные темы. Беата уточнила, можно ли разговорной темой сделать первый сексуальный опыт. Глеб ответил, что, конечно, можно — если он есть. И Беата начала своим опытом делиться. Ломаная русская речь вкуче с некоторой фантастичностью описаний создавала впечатление чистой выдумки. И когда Беата (голу-

боглазое ну как?) замолчала, Глеб коротко сказал: вранье. Сказал: убежден, что в данном случае опыт отсутствует — даже первый, что действия в рассказе успешно заменены словами и что всё это, очевидно, служит психологической (сексуальной?) разрядке. Такую разрядку (Глеб снял свитер и остался в футболке) Беата никогда не позволила бы себе с соотечественником, потому что с соотечественниками у нее выстроены отношения, которые не подлежат пересмотру. Другое дело — он, Глеб. Расстегнув ремешок часов, Глеб констатировал, что они с Беатой — люди с разных планет и их отношения не регулируются никакими конвенциями. Именно поэтому Беата вправе вести себя так, как она себя ведет. Но поскольку ее так интересует эротическая тема (Глеб стянул футболку), он готов обеспечить ей кое-какой опыт. Глеб расстегнул ремень джинсов. Просто чтобы снабдить материалом для разговорной темы. Расстегнул пуговицу и молнию. Придерживая джинсы руками, подошел к двери аудитории и закрыл ее на защелку. Отпустил руки — и джинсы съехали на пол. Когда он взялся за трусы, Беата сказала: пожалуйста, не надо. Лицо ее было пунцовым, каким бывает оно только у блондинок с тонкой кожей. В руках Беата нервно вертела карандаш, словно готовилась составить перечень снятого Глебом. Если бы я знала, что ты воспримешь всё так серьезно... Беата, дорогая, воспринимаю совершенно несерьезно, в том-то и дело. И ничего у нас не будет — ни первого опыта, ни второго. Глеб медленно натянул одежду в обратном порядке. Когда он уже стоял у двери, Беата вдруг сообщила, что эротика задумывалась как часть научного эксперимента. Ее дипломная объединяла две специализации Беаты и называ-

лась *Психология греха*. Исследовательница призналась, что окончательно запуталась в материале. Карандаш в ее руках треснул. Глеб усадил Беату на стул, поцеловал в лоб и вышел из комнаты. В положении стоя он до ее лба не доставал.

16.06.14, МЮНХЕН

За неделю до концерта Вера, Катя и я прилетаем в Мюнхен. В аэропорту нас встречает Майер. До этого он уже прилетал в Петербург. Прослушивал нас с Верой, несколько раз менял концепцию концерта и его представления в прессе. Теперь, когда планы Майера окончательно сложились, он приступает к их воплощению.

Чтобы обратиться к новому, мы, с его точки зрения, должны громко проститься со старым. Первое, о чем он просит меня в аэропорту, это рассказать о моей болезни журналистам. Я изображаю сомнение, но скорее для порядка. Еще в самолете я сам сказал Кате, что пора *колоться*. Катя знает: колоться значит признаваться. Она согласна: пора, иначе это приобретет характер охраняемой тайны. Что глупо.

Рассказать о своей болезни продюсер просит также Веру. Здесь я готов с ним поспорить, но, к моему удивлению, просьба воспринимается Верой как само собой разумеющееся. Майер говорит ей, что выступление больной девочки на сцене способно поддержать тысячи больных, заставить их бороться за выздоровление — потому-де и нужно публично рассказать о своем недуге. Вера соглашается сделать это при случае. Случай, как выясняется, запланирован

Майером на сегодня, и уже через четыре часа состоится встреча с корреспондентами.

Мой взгляд на план продюсера менее романтичен. Я понимаю, что Майер не уверен ни в Вере, ни даже во мне. Медицинскую тему он выдвигает как оправдание при возможной неудаче. К больным ведь подходят с другими мерками. Тут смотрят не столько на качество, сколько на сам факт пения. Больные, а поют. Как бы мы ни выступили, требовать деньги обратно никто не будет, и Майеру это известно.

Главное его открытие — Вера и ее талант. У нее прекрасная техника игры и природный шарм. Особое впечатление Майера связано с Вериной песней, которую он сам отдавал в перевод. Вера будет петь ее по-английски. В меру детская и эмоциональная, эта песня — в точности то, что ему хотелось видеть.

После обеда мы с Майером едем в Олимпия-Халле. Здесь нам предстоит всю неделю репетировать с симфоническим оркестром и детским хором. Пока тут только журналисты. Они расселись в партере неровным полукругом. У первого ряда установлен стол с табличками. В центре — Вера, по бокам — я и Майер.

Волнуюсь. Ничего подобного со мной раньше не происходило. На самых ответственных концертах я легко справлялся с волнением, а сегодня как-то не получается. Мне предстоит сказать об окончании карьеры музыканта — после стольких лет успеха.

Майер произносит вступительное слово. При здешнем освещении он похож на Лютера. Толстый, задумчивый, излагает свои тезисы — их совсем немного. Закончив, предлагает журналистам задавать вопросы. Кто-то подходит к сцене с букетом, кри-

чит, что это для меня. Приняв букет, я не возвращаюсь на свое место, а сажусь на край стола. Смотрю на Катю — та кивает: да, муж мой, именно так и стоит сидеть. Торжественность в подобных случаях губительна. Майер подносит мне микрофон, почему-то на цыпочках. В вытянутой руке.

Вопрос задает молодая журналистка — из полумрака, с нимбом контрольного света над головой.

— Господин Майер уже намекнул на какие-то медицинские обстоятельства... — Трение блокнота о микрофон рождает громкий скрежет. — Можете ли вы подробнее сказать об этих загадочных обстоятельствах, поскольку...

Микрофон с грохотом падает и закатывается под кресло.

— Я понял ваш вопрос. Собственно, это то, ради чего я сегодня пришел. — Отжавшись на руках, полноценно сажусь на стол. — Я хочу объявить, что мою гитарную карьеру заканчиваю. — По залу проносится вздох. Несколько неразборчивых возгласов. — Причина — болезнь.

— Какая? — крик из-под кресла и (микрофон найден) шуршание. — Какая болезнь?

Невидимой журналистке машет Майер.

— Ау-у... Возвращайтесь, фройляйн!

В зале смех. Фройляйн, пыхтя, поднимается с колен.

— У меня болезнь Паркинсона, правая рука вышла из строя. — Поднимаю правую руку и трясу ею, как в цыганском танце. — На подходе — левая. Тремор... Почти тремоло. Такое себе нескончаемое тремоло.

Шум в зале — этого не ждали. Микрофон переносят на противоположный фланг.

— Я смотрю, вы не падаете духом.

— Не падаю.

Защищаясь от света софитов, пытаюсь разглядеть спросившего. Парень лет двадцати пяти. Джинсы, джемпер. Рукава закатаны до локтя.

— Респект. Но. Если не ошибаюсь, при Паркин-соне страдает и голос.

— Это не медицинская конференция. — Майер встает. — Вопрос будет?

Парень спокойно показывает, что, конечно же, будет.

— Стоит ли при таких делах начинать карьеру певца? Простите, но это естественный вопрос.

— Главное — гуманный, — комментирует Майер. — Иногда не замечаешь, как журналист превращается в мясника.

— Всё нормально, — отвечаю. — Буду петь, пока не исчезнет голос. Дочь буду воспитывать... — Показываю на Веру. — Знаками.

Никто не смеется. По сигналу Майера микрофон передают пожилой даме.

— Можно сказать, что дочь — новый смысл вашей жизни?

Протягиваю Вере руку ладонью вверх. Вера звонко по ней шлепает.

— Можно.

Приходит очередь Веры. Майер говорит о ее болезни. Просят рассказать, как она с ней борется. Вера разводит руками. К врачам ходит, это понятно. Еще они с Глебом репетируют. Репетиции — настоящее лекарство, без них она бы уже... Иногда ничего настроение, а иногда боится умереть. Тогда ведь ни музыки, ни репетиций — ничего. Вообще ничего. Она не знает, зачем всё это рассказывает, —

совсем ведь не то хотела сказать. Да, вот Глеб и Катя ее недавно крестили.

Майер просит нас с Верой спеть. Вера садится за фортепьяно, и мы исполняем *Уток*. С последней нотой — взрыв аплодисментов. Нам аплодируют журналисты и рабочие сцены. Подняв руки с инструментами, приветствуют музыканты симфонического оркестра, начинающие уже съезжаться на репетицию. Выходя на сцену в организованном порядке, разноцветными лентами машут участники детского хора. Овациями охвачены пустые пока ряды кресел Олимпия-Халле, но об этом знает лишь Майер. Ликованием многотысячного зала наслаждается пока только он. Ему свойственно слышать то, что до времени не слышно другим.

1994–1995

Примерно через год после приезда в коллегиум Яновские познакомились с душевнобольными его обитателями. Эти люди жили в трех отдельных корпусах, но жизнь их при этом ничуть не выглядела отдельной. Они гуляли в общем дворе, заглядывали в корпуса богословов, а иногда принимали участие в общих трапезах. Длинное слово *душевнобольные* не вполне описывало их состояние. У многих была больна не только душа, но и тело. У некоторых тело почти отсутствовало: на инвалидных креслах лежали веточки и стручки с поднятыми к небу скрюченными пальцами. Поначалу Глеб их боялся. Этим и объяснялось то, что поначалу с обитателями трех отдельных корпусов у него не было никакого соприкосновения. В отличие, между прочим, от Кати. Глеб

был близок к обмороку, когда она подходила к ним с платком и вытирала текущие слюни. Или поправляла вязаные шапки на их маленьких, как декоративные тыквы, головах. Когда ПП устраивал совместные с ними обеды, кусок вставал у Глеба в горле. Собственно, до горла он даже не доходил. Глядя на изувеченные болезнью лица и руки, Глеб не мог заставить себя сделать и глотка. Со временем это изменилось. Наблюдая за душевнобольными, он понял, что все они больны по-разному и у каждого свой особенный характер. Жили в коллегии и те, кто больным не выглядел. Психических отклонений их внешность (почти) не отражала. С одним из них, Францем-Петером, Яновские подружились. Впервые они увидели Франца-Петера во время ознакомительной экскурсии по коллегии, которую вел ПП. По дороге, шедшей вдоль футбольного поля, мчался кабриолет. Мчался он, по счастью, с умеренной скоростью, потому что в нем не было педали газа. Имелись две педали, связанные цепью с колесами, — их вращение и обеспечивало движение автомобиля. Проще говоря, машина двигалась благодаря работе ног шофера. Этим шофером был Франц-Петер. Не скорость, но выражение лица Франца-Петера позволяло говорить о том, что кабриолет *мчался*. Та ярость, с какой он крутил педали. Он просто пролетел мимо экскурсантов и остановился метрах в десяти. Усталой водительской походкой Франц-Петер подошел к застывшей группе и сказал: о дружбе надо заботиться. Полюбовавшись произведенным впечатлением, добавил: сейчас я еду к одной фройляйн, чтобы себя, так сказать, реабилитировать. Он хлопывал перчатками по руке и держал в зубах спичку. И это движение, и интонации, и даже спичку в зу-

бах Глеб уже когда-то видел, только не мог вспомнить где. Такое же ощущение возникло у Кати. Позже они осознали, что жесты и слова Франца-Петера родом из телевизора. Франц-Петер был не просто зрителем, но самой точной и безжалостной копией ведущих телешоу и актеров мыльных опер. Чем убедительнее эти люди представляли в его исполнении, тем пошлее и примитивнее выглядели на телеэкране. Особенно удачно Франц-Петер передавал речь официальных лиц, мелькавших в телевизоре не реже шоуменов. Многочисленные *не представляется возможным, в сложившихся обстоятельствах, следует подчеркнуть* вылетали из него с постоянством музыкального автомата — не балующего, может быть, чистотой звука, но всегда включенного. Время от времени он заходил к Яновским, и они угощали его чаем с пирожными. Франц-Петер рассказывал им о непростой судьбе человека, который востребован всеми. С ним постоянно советуется администрация автобусного завода, где он работает. Как, ты работаешь, от неожиданности вырвалось у Кати. День и ночь, подтвердил Франц-Петер со стальным выражением лица. Самое удивительное, что он действительно там работал. Дважды в неделю в порядке трудотерапии его возили на автобусный завод, и он сметал там металлические стружки. Как-то раз, придя к Яновским, Франц-Петер застал Глеба одного. В отсутствие Кати хозяин смог предложить гостю лишь булку с молоком. Это я категорически отвергаю, с достоинством произнес Франц-Петер. Двинувшись к выходу, сказал, что пирожные надеется получить у маленькой Даниэлы. Глеб пожелал ему успехов у маленькой Даниэлы, заметив при этом, что не знает, о ком, собственно,

идет речь. Франц-Петер со вздохом признался, что тоже не знает — в отношениях с друзьями он был предельно честен. Уходя, сказал: жизнь — это долгое привыкание к смерти. Будто между прочим сказал. Без особой связи с предыдущей беседой. Проводив гостя, Глеб надел легкую куртку, подошел зачем-то к календарю (15 апреля) и засунул в карман джинсов кошелек. Спустился вниз, пересек двор. Вы, русские, еще римляне или уже итальянцы, спросил его садовник Пильц. Глеб махнул Пильцу, даже не пытаясь ответить. Нет, Франц-Петер был явно покруче: долгое привыкание к смерти... Глеб зашел под навес, где стояли велосипеды. Сделав ласточку, удобно устроился в седле, выехал на улицу. Куда ехал — не знал: что-то гнало его вон из дома. Знал только, что всё сейчас увиденное — запомнит. Даже самое непримечательное: такое с ним уже случилось, и всякий раз — весной. Память, как внезапно включившаяся видеочамера, сама собой наводилась на резкость и начинала снимать. Словно сериал ВВС, ловила каждую, в дождевых каплях, травинку на газоне, клейкий лист на дереве, дрожащую, допустим, паутину — всё, что они так любят снимать. А кроме того — кошку, вылизывавшуюся на теплом еще капоте машины. Под машиной лежал человек с радиоприемником (канал классической музыки) и набором инструментов. Симфония для скрипки и гаечных ключей: каждый звякал по-особому, в соответствии с номером. Кошка прервала умывание, интересуясь произведенным впечатлением. Потянулась. Полюбовалась торчавшими из-под машины ногами. Глебу: сказала ему, короче, утром посмотреть коробку передач, можешь, говорю, взять с собой радиоприемник и послушать классику, клас-

си-ку, без всяких там баварских тирлим-бом-бом, заколебало уже народное творчество, в особенности, блин, волынка, хуже, чем гвоздем по стеклу, а он мне такой: не бойсь, киса, на полчаса, типа, работы, и вот, уже полдня здесь загораем, полдня, потому что если руки не оттуда растут, так что ж ты ими отремонтируешь? Подмигнув Глебу, замолчала. Он двинулся дальше, камера работала, и был виден ее красный огонек. 15 апреля, рассеянное солнце. Ехал мимо теннисного корта — стена вьющегося винограда скрывала играющих. Слышны были удары ракетки по мячу. Жизнь как долгое... Скажите, пожалуйста, как философически — не сам же Франц-Петер это сочинил. Может быть, маленькая Даниэла? Глеб был уверен, что она не выдумана. В сумеречное сознание Франца-Петера девушка наверняка шагнула из какого-нибудь латиноамериканского сериала. Маленькая Даниэла... В этих сериалах так зовут всех девушек. Подобно двум своим именам, Франц-Петер соединил в голове вымысел и реальность. Получилась реальность. Идеальный зритель. Глеб ехал по Людвигштрассе. Катился на холостом ходу, рассекая лужи на велосипедной дорожке. Мелькнуло удивленное лицо Беаты. Припухшее какое-то и обиженное: после выяснения отношений она вела себя как брошенная жена. Зачем, спрашивается, здесь возникла Беата? Зачем со своим рюкзаком топала по Людвигштрассе? На что надеялась — остаться в памяти? Прежде всего запомнится весна во всех своих подробностях — с шуршанием шин, с дорожными рабочими в разноцветных касках, с лучами солнца в фонтане, но, может быть, даже и с Беатой. За зданием библиотеки он свернул в Английский сад. Всё вспомню когда-нибудь, по-

обещал себе Глеб, вдыхая запах первой зелени и прошлогодней прели, слушая искусственные водопады и естественных птиц. Думая о том, что, возможно, в это самое время маленькая Даниэла угощает Франца-Петера пирожными.

24.06.14, МЮНХЕН

Ночь в мюнхенском доме накануне концерта. Мы втроем и прилетевший накануне Нестор. Биографическую книгу обо мне он пишет медленно, но тщательно. Теперь эта биография развивается на его глазах.

Перед концертом никто не может заснуть — включая Геральдину, у которой для этого свои причины. Получив контрамарку на концерт, она просит еще одну — для садовника.

— Мы пойдем вместе, — говорит Геральдина. — Мы впервые куда-то идем вместе.

Выдавая вторую контрамарку, пытаюсь угадать, знает ли об этом садовник. В прежние время он ничем, кроме цветов, не интересовался — ни концертами, ни Геральдиной. Впрочем, жизнь в отсутствие хозяев здесь не стояла на месте.

Как-то незаметно все собираются в Вериной комнате. Геральдина приносит на подносе снотворное.

— Выступающим снотворное принимать опасно, — предупреждает Нестор. — Непонятно, как оно действует днем.

В конечном счете лекарство не принимает никто. Чтобы раскрепостить Веру, присутствующие по очереди рассказывают забавные случаи. Вера не раскрепощается, скорее даже наоборот.

Услышав о том, как когда-то по случайности я надел на концерт домашнюю байковую куртку (зал решил, что так было задумано), Вера бросается проверять свое сценическое платье. Рассказ о том, как я однажды забыл ноты и сочинял мелодию на ходу, оборачивается волнением по поводу нынешнего репертуара.

У Веры начинает идти носом кровь, ее укладывают на кровать, и она лежит, запрокинув голову. Кровь долго не могут остановить. Геральдина приносит завернутый в салфетку лед, его кладут Вере на лоб и на переносицу. Когда Катя уже готова вызвать *скорую помощь*, кровь неожиданно останавливается. Постель и овечья шкура у кровати в алых каплях: Вера несколько раз вставала.

У Кати начинается тихая истерика. Пока с Верой разговаривает Нестор, она шепчет мне:

— Концерт Веру добьет, его нужно отменить.

— Если что ее и добьет, то это отмена концерта, — так же шепотом отвечаю я.

Катина истерика заканчивается так же внезапно, как и началась. Нестор, попросившись со всеми, уходит. Катя укрывает Веру и ложится рядом — поверх одеяла. Я, сев на овечью шкуру, прислоняюсь спиной к Вериной кровати. Начинаю рассказывать *сонные* истории. Они ничем не примечательны, и в этом их сила. Успокоительны и снотворны. Я в детстве много таких слышал.

Рассказываю о том, как не спал ночь накануне выпускного экзамена по истории. Учил билеты, боролся со сном при помощи кофе. Под утро решил немного отдохнуть, но заснуть уже не смог. Тогда мать села рядом и стала рассказывать о Брисбене, где очень длинный сезон дождей. Климат там субтро-

пический, и дожди вроде бы теплые. Идут круглые сутки, так что река Брисбен переполняется и разливается по долине. Под дождь хорошо думать. Читать. И, конечно же, спать. Уже засыпая, почувствовал, как мать накрыла меня пледом. Сквозь полузакрытые веки вижу, что Вера и Катя спят. Мне не хочется идти в спальню, и я устраиваюсь на овечьей шкуре. Подтягиваю колени к животу. Волнения больше нет. Спокойствие и уют.

Вере снится концерт. После недели репетиций она знает о нем всё, вплоть до мельчайших деталей. И ничего другого за последние дни ей не снилось. Кате снится приезд *скорой помощи*: кровь у Веры никак не останавливается. Алым стало всё: постель, пол, подоконники, они с Глебом и даже Геральдина со своим садовником. Усилием воли Катя приоткрывает глаза, но вполне не просыпается. Видит, что всё в порядке. Замечает свернувшегося на шкуре меня. Пытается улыбнуться, но прежде чем уголки ее губ успевают подняться, она уже снова спит, и ей снится, что она улыбается.

Мне снится, как много лун тому назад, въезжая весенним днем в Английский сад, пообещал себе всё вспомнить. Вот я переезжаю через ручей по бревенчатому мосту. Брёвна мелодично стучат под колесами велосипеда — одно за другим. Это похоже на большой ксилофон, из которого резиновое прикосновение извлекает приглушенные глубокие звуки. Потом асфальт. За ним — утрамбованный грунт велосипедной дорожки. Когда колеса наезжают на корни, в велоаптечке сыпко бренчат инструменты. С зубцов слетает цепь. Надевая ее, невозможно не вымазать пальцы. Осторожно, чтобы не коснуться джинсов, мизинцем выуживаю из кармана бумаж-

ный платок. Вытираю им пыльное лицо и запачканные руки. Лицо становится уже, подбородок острее, вены уже не оплетают рук с той непреклонностью, которую демонстрировали еще при въезде в сад. Молодею невероятно быстро. Седые волосы начинают срочно темнеть, исчезают морщины под глазами и под носом, но главное — главное, что рука больше не дрожит. Движения уверенны и плавны, плечи развернуты, фигура — высший класс. Красивый, по слову песни, сам собою, въезжаю в коллегииум, а там — полное неузнавание. ПП давно уже нет — ушел на повышение, и дальнейшая его судьба неизвестна. Как неизвестна, удивляюсь, если вы говорите, что это лицо ушло на повышение? Ведь тот, кто на повышении, виден отовсюду, верно? Это было умеренное повышение, отвечают, не многим, откровенно говоря, заметное. Хорошо, продолжаю, помолодев, а как чувствуют себя Беата и Франц-Петер? Что ли, тоже пошли на повышение? Очень, отвечают, богословски точное определение, ибо сии преставились. Беата возглавляла какую-то благотворительную организацию в центральной Африке, чем-то заразилась и умерла. Пауза, вздох. Не ходите, дети, в Африку гулять... Одна радость, что умерла здесь, ее еще успели доставить на родину, хотя к тому моменту она уже никого не узнавала. А Франц-Петер? Этот умер без всякой причины. Взял себе и умер. Качаю головой. Просто, полагаю, он окончательно привык к смерти. Как вы сказали, спрашивают. Франц-Петер полагал (я прочищаю горло), что жизнь — это долгое привыкание к смерти. Меня буравят удивленным взглядом. Да? Так он говорил? Так, слово в слово.

Жизнь в коллегии постепенно потеряла свою новизну и стала привычной. Настолько привычной, что перестала ощущаться как жизнь. Стала похожей на воспоминания, в которых есть и хорошее, и плохое, но всё — прожитое. И этим не удивишь. Из всех окружавших Глеба и Катю способность удивлять сохранял лишь Франц-Петер. Он регулярно появлялся на вечерних лекциях и смотрел на докладчиков немигающим взглядом того, чьи убеждения тверды, пусть и не бесспорны. Франц-Петер внимательно слушал выступления на сложнейшие богословские темы, но вопросы его были просты и предельно конкретны. Одну из докладчиц он спросил, за что распяли Христа, а главное — почему Он воскрес? Та ответила, что это, несомненно, ключевые вопросы, но тем и ограничилась. Другому докладчику вольнослушатель сообщил, что его мать умерла два года назад, и спросил, где она сейчас. Ответ оказался настолько расплывчатым, что его не понял не только Франц-Петер, но и бóльшая часть аудитории. Впрочем, отдельные разочарования не могли повлиять на его преданность науке, и богословские заседания он продолжал посещать. Слушал самозабвенно, отчего под носом у него всегда блестело. На процессе познания это никак не сказывалось, но другому важному увлечению Франца-Петера — его слабости к поцелуям — очень даже мешало. Девушки коллегии с ним целоваться не хотели. Когда же объятия Франца-Петера застигали их врасплох, они возмущенно кричали: *Oh, diese feuchten Küsse!*¹ Замужних

¹ О, эти мокрые поцелуи! (нем.)

женщин он не целовал, что позволяло ему навещать Яновских и с чистой совестью есть у них пирожные. Надо сказать, что Франц-Петер был едва ли не единственным, с кем Глеб и Катя делили трапезу, потому что от общих завтраков и обедов они уже давно отказались. Если в отношении обедов случались еще исключения, то завтракали только дома. Утром невероятно трудно с кем-то разговаривать. Невозможно произнести элементарное *Guten Morgen*. Глеба и Катю начала охватывать усталость. Условия, в которых они жили, были хорошими — лучшими, пожалуй, за всю их совместную жизнь. Они и сами толком не сказали бы, что именно их угнетало, но тяжесть определенно чувствовали. Становилось всё яснее, что усталость приходит не только от переизбытка усилий. Она возникает и от неподвижности. Преодоление неподвижности Яновскими началось в той же точке, в которой она изначально возникла. Этой точкой (если уместно так говорить о высокой и полной даме) стала галеристка Анна Кессель. Все минувшие годы она нередко приглашала Глеба и Катю на вечера в своей галерее. На вечерах Глеб, по просьбе Анны, играл на гитаре и даже получал за это небольшой гонорар. Глеб любил эти выступления. Они его ни к чему не обязывали, он по своему обыкновению спокойно играл и гудел, не особо заботясь о производимом впечатлении. Первое время Анна просила его не очень-то гудеть (это казалось ей делом необычным), но гостям гудение нравилось, и она оставила Глеба в покое. Пусть, решила, гудит. На одном из таких журфиксов присутствовал продюсер Штефан Майер, который, в отличие от других гостей, занятых разговорами, весь вечер внимательно слушал игру Глеба. Когда все уже расходились, он по-

просил Анну познакомить его с Глебом. По-моему, он неплохо играет, сказала Анна, и Майер кивнул. Правда, гудит немного, добавила галеристка, чтобы не захваливать музыканта. Гудит он феноменально, пробормотал Майер. Никогда еще не слышал, чтобы голос так удивительно входил в резонанс с инструментом. Я всегда находила, что в его гудении что-то есть, сказала Анна, представляя Глеба Майеру. Продюсер дал Глебу визитную карточку и пригласил на следующий день в свой офис. С гитарой, спросил Глеб. Немец бросил короткий взгляд на Глебову гитару: нет, не нужно. Гитара Ленинградского завода музыкальных инструментов (Глеб подавил улыбку) ему, видите ли, не понравилась. Когда Глеб приехал в офис Майера, тот без лишних слов подошел к шкафу красного дерева и открыл его. Внутри зажглись лампы. В их лучах блестела закрепленная на специальных держателях гитара. Отщелкнув их, Майер извлек гитару из шкафа: Хосе Рамирес, гитарный Страдивари. Протянул Глебу: сыграйте. И Глеб заиграл. Одну за другой он исполнял вещи классического гитарного репертуара — Таррегу, Джулиани, Сора. А негитарную классику вы играете, спросил Майер. Глеб сыграл разученные еще в школе фрагмент из *Волшебной флейты* (в переложении для гитары Сора) и *Фугу из Сонаты соль минор* (переложение Тарреги). Он играл и наслаждался инструментом. Как он звучал! Благоухал. Раскрывался, как букет благородного вина... Вокал, негромко произнес Майер. Что, переспросил Глеб. Майер смотрел куда-то в окно. То, что вы называете гудением. Майеру был тут же предъявлен вокал. *A bocca chiusa*, командовал продюсер, что по-итальянски обозначает пение с закрытым ртом. Глеб запел, как просили.

По лицу Майера было совершенно непонятно, нравилось ли ему пение с закрытым ртом. Видимо, не очень, потому что через некоторое время он сказал: а теперь разомкните губы. Глеб разомкнул, но, как выяснилось, слишком. Вы не у зубного (обнажились идеальные зубы Майера), не надо так широко. Когда Глеб был уже готов к тому, что разочарованный Майер с ним попросится, тот заговорил. Произносимое продюсером так не соответствовало утомленному выражению его лица, что в первый момент Глеб подумал, что ослышался. Майер назвал Глеба выдающимся исполнителем и свою задачу видел в том, чтобы дать его таланту раскрыться. Сила Глеба не в сверхъестественных технике и слухе (ничего такого у него нет), а в умопомрачительной симфонии голоса и инструмента. Она — следствие особой энергии Глеба, которую при желании можно назвать даром. Где и как исполнитель наткнулся на богатейший энергетический пласт, Майер не знал, да его это и не интересовало. Главное, что ему были видны громадные запасы этого пласта и характер энергетических потоков. Глеб, как человек умный, держался настороже. Полуулыбка на его лице свидетельствовала о готовности признать всё сказанное стебом — при первых же признаках такого разоблачения со стороны Майера. Но признаков не поступало. Более того, Майер подробно описывал особенности потоков энергии, якобы изливающихся из Глеба. В них не чувствовалось тонкости, и они не были связаны с музыкальным интеллектуализмом (условные Дебюсси, Стравинский, Шнитке) — тем феерическим фонтаном, который своей виртуозностью энергию дробит. Нет, это были мощные волны, накрывавшие с головой. По словам Майера, волны подобного

рода могли оседлать лишь такие испытанные серфингисты, как Бах, Моцарт, Бетховен и Чайковский. Если угодно — автор *Адажио Альбиниони*. Эта компания направит энергию будущей звезды по верному руслу. Вы хотите, чтобы я играл популярную классику, удивился Глеб, но это же... банально. Майер строго посмотрел на него. Вот как? Так ведь все главные истины банальны, только от этого они не перестают быть истинами. Банальный материал, сыгранный небанально, — что может быть лучше? Этих ребят надо исполнять как в первый раз... Ну, дав, конечно же, понять, что знаете: до вас это уже играли. С их стороны — укорененность, с вашей — полет. Вот когда огромное укорененное дерево взлетает ввысь — это и есть искусство. Вы видели, как буря выворачивает деревья с корнем? Майер не ждал ответа: а я видел. Вы, наверное, полагаете, что они взмывают как ракета (ничего такого Глеб не полагал)? Нет, они медленно поднимаются в воздух, будто их вытаскивают краном. Вращаются вокруг своей оси. Раскинув руки, Майер тоже вращался. Напоминал медведя на ярмарке. И поднимаются всё выше, выше — это сказочное зрелище... Майер взлетел немного и теперь оставался на своей небольшой высоте. Вот этой мощи вы должны достичь! Я оплачу консультации у профессоров консерватории (гитара, вокал), но по большому счету они вас могут только испортить. Так что слушайте их вполуха и стремитесь только вверх. Они не поймут вашего гудения, но дадут полезные советы по технике исполнения. Всё (он опустил ся). Нет, не всё... Эту гитару я передаю вам во временное пользование. Не отказывайтесь (Глеб не отказывался), мы оба заинтересованы в результате. Просто берегите ее, вот и всё.

Она, конечно, застрахована, но мне было бы жаль ее потерять. Я видел, на какой лопате вы играете, — так мы не покорим мир. Вот теперь — всё. Начинаю работать над вашим первым концертом.

25.06.14, МЮНХЕН

— Когда я начинал работать над его первым концертом... — Майер помогает Кате и Вере выйти из лимузина.

С другой стороны машины служащие Олимпиа-Халле встречают меня. Встречает рев фанатов. Энергично машу им левой рукой. Правой так уже не получается. Все направляются по красной дорожке к служебному входу. Возглавляют шествие Майер и Вера.

— ...поначалу было тяжело, потому что Глеб нервничал. — Майер берет у одной из поклонниц букет и вручает его Вере. — Ему казалось, что он непрофессионален, неинтересен, недостоин. А кто, спрашивается, достоин? Кто профессионален? Что-то я не слышал о консерваторской кафедре гудения.

С Верой Майер говорит по-английски. В его английском она понимает не всё, но на всякий случай кивает. Да, нет такой кафедры, потому что она тоже не слышала. Никто не слышал.

— Между прочим, песня твоя классная — про птиц.

— Уток, — подсказывает Вера.

— А утки что, не птицы? — смеется Майер, который вообще-то не любит возражений.

— Утки — это утки, — твердо говорит Вера.

Катя — Майеру:

— Ты же не называешь Глеба человеком. Говоришь: Глеб.

Мама моя, думает по-баварски Майер. До чего все тонко организованы. Мама моя. Верино поведение кажется ему капризом, но, взглянув на нее, он начинает понимать, что это, может быть, и не так. Лицо ее отдает желтизной и в свете боковых ламп неожиданно выглядит увядшим.

В репетиционную пытаются проникнуть несколько журналистов. Майер бесцеремонно их выставляет.

— Подготовим голоса и пальцы. — Он обнимает Веру и меня. — Всё это — легонько, вполсилы.

Мы с Верой исполняем по паре куплетов из нескольких песен. Вера очень волнуется. Майер напоминает ей еще раз, что в случае сбоя следует уходить в пианиссимо, а тему мгновенно подхватит один из оркестровых инструментов. Если совсем ничего не будет получаться (бывает и такое), Вере следует имитировать исполнение: режиссер подложит фонограмму. Она отвечает, что всё помнит. Майеру приносят рюмку коньяку: он тоже волнуется, прежде всего из-за Веры. Наклоняет голову набок и заглядывает ей в глаза.

— У Глеба, между прочим, такая же премьера, как и у тебя. Он у нас теперь вокалист. — Майер перекачивает коньяк под языком и глотает. — И ничего, не паникует...

Он жалеет, что сказал это. Верины глаза полны слез.

— Ты начал что-то про уток... — сердито напоминает Катя.

— Начал. Симпатичная там мелодия, и ритм хороший.

Широкое лицо Майера от улыбки становится еще шире, но Вера серьезна:

— Вам близки сочинения на две четверти?

— Очень. Это мой любимый размер. — Подмигнув Вере, Майер одним глотком допивает коньяк. — Человеческим ритмам соответствует на самом деле не так уж много размеров. Две, три, четыре четверти, шесть восьмых...

К Майеру подходит человек во фраке и сообщает, что нужно начинать. Говорит, что собралось пятнадцать тысяч зрителей, что висят на люстрах. Майер просит подготовить отдельную статистику по висящим. Предлагает увеличить количество люстр. Тот, что во фраке, вежливо смеется. Просто от невозможности не смеяться — таков уж юмор Майера. Диалог о люстрах ведется ими много лет. Всеми причастными к организации концертов ведется — такой уж это образ. Полководческим взмахом Майер дает команду выдвигаться на позиции. Возглавляет шествие человек во фраке.

Светлый коридор внезапно сменяется тьмой. В руке провожатого возникает фонарик. Мы с Верой понимаем, что находимся уже за кулисами: на репетициях мы выходили так много раз. В нескольких метрах от нас — оживленное движение во мраке. С ловкостью спецназа черные фигуры рассыпаются по сцене. Это большой симфонический оркестр, который вызван сюда для того, чтобы нас прикрывать.

Зачем это, думаю я. Зачем я делаю то, чего никогда не делал, — пою? Зачем мы втравили в это Веру, думает Катя, она может не выдержать. Нас удержит

на поверхности симфонический оркестр, думает Вера. Просто не даст нам пойти ко дну.

На границе сцены Катя крепко обнимает Веру: всё будет хорошо. Дальше Вера идет, держа меня за руку, — в полной темноте. Бойтся ее выпустить. И я боюсь: если мы разожмем руки, нам уже не найти друг друга. Меня охватывает ледяной страх, он давно уже сковал Катю. Страх, что рука этой девочки выскользнет из наших рук, и Вера, одинокая, отправится во тьму.

Передо мной возникает фигура: вы остаетесь здесь. Прижимаю к себе Веру и целую ее: всё будет хорошо. Остановивший меня берет Веру за руку: а мы пойдем дальше. За моей спиной проходят по сцене последние музыканты. До меня долетает легчайшая воздушная волна с ароматом туалетной воды. Мне слышен скрип пола под их ногами. Погруженный во мрак, огромный зал абсолютно тих. Он знает, что прежнего меня уже не увидит, и ждет нового. Ждет хоть какого-то, потому что не хочет еще прощаться. Знает, что со мной выступает больная девочка, и заранее сострадательно ее любит. О гигантском темном пространстве впереди говорят лишь лампы — указатели выходов.

Откуда-то сверху бьет мощный сноп света. Вырывает из мрака рояль и стоящую у него Веру. Свет влечет за собой звук:

— Фера Афдейева!

Из двух простых слов разом уходит все русское. Зал взрывается аплодисментами. Вера деревянно кланяется. Угловатость подчеркивает ее юный возраст. Смена темноты ярким светом заставляет Веру моргать. Всё выводится на большой экран, всё крупным планом и неподдельно.

Вторая группа софитов включается через тридцать секунд и напоминает световую пушку. Она бьет прицельно в меня.

— Фера Афдейева унд... Глиб Янофски!!!

Овация: пятнадцать тысяч исполнителей, и все — стоя. Как напишут потом в газетах, четыре минуты оваций. И это еще до выступления...

Вспыхивает свет над симфоническим оркестром и дирижером. Их объявляют дважды, но всё тонет в общем гуле. Я вытаскиваю правую руку из кармана — она больше не дрожит. Поднимаю ее, укрощая Олимпиа-Халле, — я всегда поступал так прежде. Чувствую, как наполняюсь силой, как обновляется моя кровь.

Был договор выбрать первую вещь уже на сцене. Указательный палец — *Ноктюрн* Шопена, указательный и средний — *Токката и Фуга ре минор* Баха. Выбор за мной. Указательный и средний: Бах. Знак *виктории*. Показываю его Вере и Хуберу, дирижеру. Вера кивает, Хубер дублирует знак для оркестра. Поднимает палочку. Зал стихает, в нем снова устанавливается полумрак. На сцене три освещенные точки: Вера, я и Хубер. Дирижерская палочка направлена на Веру. Взмах палочки. Взмах Вериних рук.

Десять первых и самых знаменитых нот *Токкаты* взвиваются над оркестром, как тропический, вырастающий в течение ночи цветок. В ответ — семь нот, спетые мной и поднявшиеся на ту же высоту. Несколько задумчивых фраз на фортепиано, и музыка обрушивается водопадом. Аранжировка виртуозно соединяет разные потоки — оркестровый, фортепианный и вокальный, — то сплетая их, то заставляя звучать порознь, но всякий раз с мощью, рождаю-

щей глубинный, композитором не предусмотренный земной гул.

С последней нотой *Токкаты* наступают секунды тишины. Музыка была столь насыщена, что с ее окончанием пространство не успевает заполниться другими звуками. В такие секунды на поверхность выходит домозыкальная, дозвуковая природа Земли. Этому безмолвию исполнитель знает цену: оно предшествует ураганным овациям. Так перед ударом цунами море отступает на сотни метров, и обнажается суша. Но где-то далеко, у самого горизонта, гигантская, пусть пока и невидимая, уже несется первая волна.

1997–1998

Подготовка к первому концерту Глеба длилась около полугода. Профессор Рихтер корректировал его игру на гитаре, профессор Лемке ставил ему гудение. Если первый занимался делом привычным, то задача второго была сложнее: прежде чем консультировать кого-то по гудению, ему нужно было научиться гудеть самому. Как для профессора, Лемке загудел довольно быстро. Он не был слепым защитником традиции, этот специалист по вокалу. Оценив уникальный тембр голоса Глеба, Лемке с увлечением начал работать над улучшением качества гудения и довел его до совершенства. Оно входило в абсолютный резонанс с гитарой. Профессор Рихтер тоже не подкачал. Он прошел с Глебом не то что каждую ноту избранного репертуара — каждый форшлаг и флажолет. На занятиях они играли всякую вещь по многу раз, и всякий раз

в безупречном, казалось бы, исполнении Рихтер находил ту или иную пометку. После урока в консерватории требовал еще четырехчасовых занятий дома. Репертуар будущего концерта Глеб довел до автоматизма — того состояния, когда невозможно даже споткнуться, как невозможно споткнуться (так он думал до болезни) при ходьбе. Эта музыка звучала в его голове, когда на велосипеде он ехал в консерваторию на очередное занятие. Ему казалось, что в такт ей он объясняет своим немецким ученикам правила русской грамматики. Музыка звучала в нем во сне и была первым, что он слышал при утреннем пробуждении. Но однажды Рихтер приказал ему прекратить занятия и не прикасаться к инструменту. Неожиданно для Глеба мелодий, не вызывавших у него уже ничего, кроме зубной боли, через неделю ему стало отчаянно не хватать. Когда он сказал об этом профессору, тот ответил, что это хорошо. И попросил Глеба по-прежнему не играть. К концу третьей недели Рихтер сам позвонил Глебу и пригласил его приехать к нему с инструментом. Глеб приехал. И когда профессор предложил ему сыграть первые три вещи из репертуара, Глеб едва не плакал от счастья. Он играл их так хорошо, как не играл еще никогда в жизни. Прежде вы освоили эти ноты в совершенстве, сказал Рихтер, но вам не хватало эмоционального к ним отношения. Если хотите, любви. Чтобы почувствовать любовь, нужна была разлука, потому что самая сильная страсть — результат воздержания. Теперь разлука позади, а вы готовы к выступлению. В любой программе Рихтер советовал иметь варианты, которые учитывали бы эмоциональный и энергетический фон, состояние здоровья и т.п.

Так, находясь на подъеме, концерт можно начать с *Времен года* Вивальди (*Лето. Гроза*). Это задает эмоциональный накал выступления — если, конечно, хватает сил его удержать до конца. Если же на весь концерт сил не хватает, нужно поднимать градус постепенно, начав, скажем, с *Ave Maria* Шуберта. На своем первом концерте Глеб выбрал Шуберта. Выйдя на сцену, он знал, что к своей странной манере исполнения будет приучать публику постепенно. Это уже потом, когда они со зрителем изучили друг друга, он особенно не задумывался, с чего ему начинать. Глеб сливался со своим залом, как в единый организм сливаются давние любовники, одновременно входя в экстаз. В эти трепетные мгновения Глеб видел, как в темноте зала возникали электрические разряды — высоко, на уровне верхних ярусов. Над бархатом лож они висели мелкими переливающимися искрами. Иногда по нескольку раз за концерт. Волна успеха до Глеба докатилась не сразу. Как он позже рассказывал Нестору, на первом концерте она лишь замочила ему ноги. Глеб тогда вообще ничего не знал ни о волнах, ни об электрических искрах над верхними ярусами. Не было даже ярусов, потому что первое его выступление состоялось в небольшом зале на окраине Мюнхена. Публика не представляла, что именно ей предложит Глеб, так что никаких электрических эффектов, по большому счету, не предусматривалось. Да и преодолевал Глеб не публику, а самого себя. Ни репертуар, ни избранная Майером модернизированная манера исполнения не казались ему убедительными. И если с хрестоматией начинающего музыканта, как Глеб называл свой репертуар, он примирился без особых усилий, то элементы рок-музыки

(например, акцентированное использование ударных) вызвали у него сильные сомнения. Доступность всем — это еще не безвкусица, убеждал его Майер. В разное время он подробно разбирал выступления Франсиса Гойи, Ванессы Мэй, Дэвида Гарретта, внимательно анализируя их сильные стороны и еще более внимательно — недостатки. Майер поколебал тогда Глеба, но полностью переубедить его не смог. Потребовались годы выступлений, прежде чем Глеб перестал краснеть в присутствии *классических* гитаристов. Он понял: по-настоящему значимо лишь то, что человека возвышает, а уж как это называть — дело десятое. Нет плохих жанров, частенько говорил Майер, есть плохие музыканты. Еще он говорил, что хорошие музыканты сами создают законы, по которым их нужно судить. К подобным *bon mots* немцы неравнодушны, а Майер был настоящий немец. Первые годы своей исполнительской карьеры Глеб беспрекословно слушался продюсера. Майер был, возможно, не ахти каким теоретиком, но безошибочным чувством успеха он обладал. Со временем работа Глеба с хрестоматийными вещами изменилась. Он всё меньше использовал модернизацию и в значительной степени отказался от современного ритма. Классические произведения наполнял своим духовным опытом, и это было их вторым одухотворением. Объяснить это одухотворение не мог ни один критик, но оно чувствовалось, как в февральском дне чувствуется несомненный запах весны. Не имело прямого отношения ни к технике исполнения, ни даже к исполнявшемуся (выдающемуся) материалу. Но классикой репертуар Глеба не ограничивался. Он включал народные и даже эст-

радные песни. Печать одухотворенности лежала и на них. Всё это видел и Майер. Свойственное ему чувство успеха подсказывало этому человеку, что вмешиваться здесь уже не нужно.

01.07.14, МЮНХЕН

Концерт был для Веры сильнейшим потрясением. Концерт, собственно, не *был*: в ее душе он продолжается. Каждый день она садится за инструмент и проигрывает всю программу от начала до конца. Катя говорит, что девочке нужно эмоционально освоить произошедшее. Происходящее, потому что Вера не просто играет весь репертуар раз за разом — всякий раз она проживает его заново.

Мрак зала и прожектора сцены. За последним аккордом *Токкаты* следует пауза, а потом — цунами. Только это не цунами, потому что накрывшая нас волна оваций не опрокидывает — наполняет. Вера ждет, пока волна схлынет, и, бросив взгляд на меня в круге света, вступает с *Ноктюрном*. Пою резким немзыкальным голосом.

Я вхожу в комнату, Вера оборачивается. Говорит, что концерт бы начала с *Ноктюрна*. Я соглашаюсь. Обещаю, что в следующий раз начнем с *Ноктюрна*. Или, допустим, с *Адажио*. Объясняю, что помимо композиции *классика* — *фольклор* — *эстрада* есть внутренний ритм концерта. Так, после *Токкаты* нужно было попросту отдохнуть. Вера рассеянно кивает, она всё это уже слышала.

Я знаю, что она думает о *следующем разе*. Когда он состоится — и состоится ли? За последние дни ее состояние ухудшилось — об этом говорят анализы.

Исподволь смотрю на нее: вялая, желтая. Всё ясно и без анализов. Продолжаю говорить, чтобы не молчать. Чувствую неловкость, даже стыд. Вера переходит к *Адажио*. Все, кто вручал ей цветы после *Адажио*, были с мокрыми глазами. Жалели меня, жалели ее — двух то есть больных, — что тут удивительного? Ну, и музыка, конечно, просветленная и трагическая.

Вот на *Временах года* никто не плачет. *Лето*. При исполнении этой вещи Вере видятся два водопада. Выходя утром из-за скалы, их янтарно подсвечивает солнце, а мелкие брызги образуют радугу. Водопады несутся вниз в непосредственной близости друг от друга — есть в этом что-то человеческое. Неводопадное. Никогда не звучат в унисон, всегда один за другим, и поют совсем не одно и то же. Пока Вера эти водопады видит, она не чувствует своей болезни и не думает о ней, хотя печень с каждым днем болит всё сильнее. Не отходит от рояля, потому что рояль служит ей чем-то вроде обезболивающего.

Сообщаю ей, что звонил Майер. 15 ноября в Альберт-холле состоится благотворительный концерт в поддержку детей с онкологией. Участвуют Пол Маккартни, Элтон Джон, Мик Джаггер, Шинейд О'Коннор — недурная в целом компания. Да, приглашается и еще кое-кто. Кто же, спрашивает Вера одними губами. Мы с тобой. И знаешь, что просят исполнить? Вера, конечно, знает, но спешит пожать плечами: мол, откуда же мне... Одним пальцем наигрываю мелодию ее песни: вот это. (Раздается звонок в дверь, слышны торопливые шаги Геральдины.) На концерте эта песня звучит удивительно хорошо. На большом экране плывут слова немецкого перевода. А теперь в Альберт-холле эти слова поплывут по-ан-

глейски. Я смотрю, как скользят по клавишам Верины пальцы, тонкие и белые. Легко представить их замершими, более не гнущимися. Сложенными на груди.

В прихожей — Катина сестра Барбара. Сдавленные рыдания Кати. Вера слышит их, но не подает вида. Катя на пределе, и от нее постоянно пахнет мускатным орехом. Им Катя заедает алкоголь, считает почему-то, что после ореха алкоголя не слышно. А еще считает, что мы с ней виноваты в ухудшении Вериного состояния, что Верочка перенапряглась на концерте.

Вера говорит Кате, что это совсем не так. Нет никакого перенапряжения. Во-первых, иногда она отдыхает, когда играет оркестр. Во-вторых, есть несложные для фортепианной партии вещи — на них она тоже отдыхает. *Вже сонце низенько*, медленная и очень грустная. Моя любимая песня. Теперь, когда понятно, что к Кате обращаться нельзя, о болях Вера рассказывает мне. Я обещаю, что всё будет хорошо, и ей передается мое спокойствие. Которого нет.

Еще Верочка общается с Барбарой. Помимо всех приглашенных врачей, Барбара приходит к нам почти ежедневно и осматривает Веру. Умная, немного пьющая, с прокуренным голосом. С ней можно говорить о чем угодно, в том числе о музыке. Это Барбара в свое время предложила включить в репертуар хачатуряновский *Вальс из Маскарада* — теперь один из главных наших хитов.

Вера берет первые ноты *Вальса*. Играет его с той же страстью, что на концерте. Но в *Вальсе* доминирует не она и не я — здесь раскрывается вся мощь оркестра. Мелодия делает разворот над залом, как над аэропортом делает разворот авиалайнер. Он со-

вершает круг, второй, третий и всё не садится — не потому, что не может, а от нежелания покидать небо.

Перед Верой — бушующий океан. На зал обрушивается волна за волной, и от их ударов (барабаны) сотрясаются ряды кресел, и пена на гребнях волн (тарелки) повергает зрителей в трепет. В центре шторма — дирижер Хубер. Его отчаянное стремление справиться со стихией повторяют вскочившие с мест зрители, их движения синхронны с дирижерскими. Совместными усилиями им удастся несколько стихию укротить. По залу проносится вздох облегчения. И в это мгновение, на фоне отступившего ужаса, возникают (фортиссимо) Верин рояль и мой голос — как две стрелы одной ослепительной молнии. Кто-то в партере вскрикивает.

В покоренных мной залах я разбрасывал, бывало, снопы искр, по электрической части я был большим умельцем, но молнии с небес не сводил прежде никогда. И вот уже два человека в белых халатах выводят кого-то под руки по центральному проходу. Над проходом дают освещение, и видно, как ноги пострадавшего, в начале пути безжизненные и забывшие вроде бы радость ходьбы, постепенно нащупывают почву. Они пока заметно разъезжаются, и группа все еще напоминает занимающихся на катке, но благоприятный исход не вызывает сомнений. Скользи, скользи, конькобежец, шепчет Вера, и вспоминай Арама Ильича Хачатуряна.

Перед Верой с радостными лицами стоят Катя и Барбара. Девочка понимает, что дела ее хуже некуда. Врачи сказали (Катин голос немислимо бодр), что требуется пересадка печени. Я сейчас отправляюсь в клинику обсуждать детали. Барбара берет ноту

до. Поворачивается к Вере: пересадка — это хорошо, потому что свидетельствует об отсутствии метастазов. Иначе они не пошли бы на пересадку. Молчание. Еще одно *до* Барбары. Только — *до*. Будет ли *после*?

Вера берет первые ноты *Адажио*. Под эту музыку я сажусь в такси. Она звучит во время моего разговора с главврачом клиники. Проблема состоит в трансплантате. Не будучи немецкой гражданкой, Верочка не имеет права ни на какие медицинские программы, финансируемые Германией.

Оторвав глаза от клавиш, Вера видит, как многотысячный зал встает. Обняв друг друга за плечи, зрители раскачиваются. Главврач кладет мне руку на плечо: знаете, я ведь был на этом концерте, и внимал этой музыке, и раскачивался вместе со всеми. Феноменально, Вера же совсем еще девочка. Можно, конечно, поставить ее в лист ожидания на родине, но не все, как показывает практика, доживают до подхода своей очереди. Есть, вообще говоря, разные пути приобретения трансплантата, но вопрос опять-таки упирается в деньги. Когда я сообщаю, что вопрос о деньгах не стоит (уважительный взгляд собеседника), мы переходим к обсуждению медицинских проблем: совместимость трансплантата с организмом оперируемой (она определяется общей группой крови), подготовка ее к операции и т.д. Трансплантат может появиться через месяц-другой, а может завтра, и в любой момент надо быть готовым.

Главврач высоко ценит талант пациентки. Он надеется, что искусство здешних врачей будет ему соответствовать. По его просьбе мы с ним поем завершающую часть бессмертной музыки Джадзотто. В исполнении врача она выглядит не такой уж бес-

смертной, но я этого деликатно не замечаю. Издалека, с улицы Ам Блютенринг, доносится партия рояля.

1999

Как и предвидел Майер, Глеб круто пошел вверх. В одном интервью продюсер даже назвал Глеба истребителем с вертикальным взлетом. Это сравнение чем-то Майера привлекло и стало появляться в большинстве его интервью, что Глеба несколько даже беспокоило. Да, он видел такие машины в военных репортажах, но сравнение с истребителем казалось ему неочевидным, потому что кого же, спросил он однажды у Майера, ему надлежало истреблять? Ты будешь истреблять конкурентов, пояснил продюсер, что ж тут непонятного? Если ты считаешь, что музыкальный рынок недозагружен... Нет, Глеб так не считал, он вообще не имел представления о музыкальном рынке. Зато Майер — имел и дал свои подробные пояснения. Ты не можешь поразить какой-то сверхъестественной техникой. У тебя даже нет абсолютного слуха (немец был мастером комплимента). Но Майер сделал паузу и взял подопечного за подбородок. У тебя есть невероятная энергетика, излучение, то, что по-немецки называется *Ausstrahlung*. И, конечно, этот твой вокальный эффект. Эффект или дефект, уж называй как хочешь, но он входит в резонанс с гитарой и большинством оркестровых инструментов — молчу уже о душах человеческих. Так говорил Майер. Время показало, что он оказался прав. В отличие от воинственного тевтонца, Глеб никого не собирался истреблять, но

не мог не признать, что взлет оказался вертикальным. Обзор авиатора чрезвычайно расширился, и с набором высоты Коллегиум святого Фомы стал постепенно уменьшаться в размерах, пока наконец совершенно не исчез из виду. Но прежде чем исчезнуть, он вспыхнул в их с Катей жизни трогательным прощальным ужином. Для ужина, на который приглашались все живущие в коллегиуме, повару было предложено приготовить одно из русских блюд по его выбору. После долгих раздумий он остановился на бефстроганове. Войдя во вкус, этот мастер своего дела приготовил также *русский салат*, известный в стране происхождения под названием *салат оливье*. Знания повара о русской кухне были обширны, хотя и не лишены своеобразия: на десерт он предложил подать креманки с жареными семечками. Глеб и Катя его отговорили. Для усиления русского колорита, наряду с привычными здесь вином и пивом, они купили несколько бутылок водки. Приглашенные пили ее с многозначительными лицами — маленькими глотками и смакуя. Глебу хотелось сказать им, что водку в России не смакуют, а, как раз напротив, выдыхают перед тем, как выпить, но в последний момент он воздержался. Глеб не смог бы объяснить гостям, что же это за напиток такой, если его лучше не пробовать на вкус. Не пили только два человека: Беата и Франц-Петер. У Беаты насчет трезвенничества была какая-то сложная теория, которую мало кто выслушивал до конца, а Францу-Петеру алкоголь был строго запрещен. Девушка была грустна, потому что еще не привыкла к расставаниям, и уж тем более — к вертикальным взлетам тех, кто был частью ее повседневности. Любое, даже самое постороннее событие человеку свойственно пропу-

скать через себя, и успех Глеба автоматически означал отсутствие успеха у Беаты. Что до Франца-Петера, то он пришел в приподнятом настроении, поскольку не знал причины торжества. Он и прежде не интересовался причинами — вкусная еда и нарядные люди вызывали у него радость сами по себе. Когда Глеб и Катя сообщили ему, что уезжают, Франц-Петер сказал: очень-очень жаль, но ничего страшного. Потом улыбнулся, и из его глаз покатались слёзы. Катя достала бумажный платок и вытерла ему нос. Очень своевременно с вашей стороны, сказал Франц-Петер и стал жаловаться на соседей своего отца, у которого периодически гостил. Супружеская пара, лет им за шестьдесят (невысокого полета птицы), не замечала Франца-Петера в упор. Что я, по-вашему, должен делать — бомбу бросить? Франц-Петер, сузив глаза, наслаждался произведенным эффектом. Пока Глеб и Катя отговаривали его от бомбометания, суть обвинений изменилась. Эти же соседи, оказывается, задержали его своими вопросами и просьбами, которыми донимали его день и ночь. У них, видите ли, не работала газонокосилка. И это повод, чтобы вытаскивать человека ночью из постели? Франц-Петер вставать, понятное дело, не хотел. Но и оставить соседей без помощи тоже не хотел. Он строго крикнул им, чтобы в газонокосилке проверили электрику. Соседи проверили, и — что вы думаете? — техника завелась с пол-оборота. Они немедленно выкосили весь свой газон. Немедленно — то есть ночью, переспросила Катя. Немедленно, то есть ночью, подтвердил Франц-Петер и впал в задумчивость. Когда Глеб принес ему яблочного сока, Франц-Петер печально сказал: наконец-то что-то позитивное. По его просьбе Глеб сходил за

соломинкой. Вытянув последние капли (фырканье соломинки на дне стакана), Франц-Петер сок похвалил. Такой вкусный сок ему давала только маленькая Даниэла. Со вздохом добавил, что жизнь — это долгое привыкание к смерти. Прощаясь, обнял Глеба и Катю. По его словам, только с ними и можно было разумно говорить. Очевидно, с маленькой Даниэлой тоже можно, уточнил Глеб. Очевидно, кивнул Франц-Петер. Не устаю это подчеркивать. Несмотря на мою сумасшедшую занятость, она меня всё еще любит. Через неделю Глеб и Катя переехали в снятую Майером квартиру.

08.07.14, МЮНХЕН

В 21:30 нам звонят из клиники и просят срочно собирать Веру на операцию по пересадке печени. Прибытие трансплантата в состоянии холодовой ишемии ожидается в ближайшее время: спецмашина с контейнером полчаса назад выехала из Аугсбурга. Экстренно вызван персонал клиники. К операции нужно приступить сегодня ночью, иначе донорский орган погибнет.

Через полчаса к дому подъезжает реанимобиль, чтобы сразу начать готовить Веру к операции. Его мигалка отражается на лице Геральдины, выносящей сумку с Вериными вещами. Глаза ее опущены, шаги деревянные. Следом выходим мы с Нестором, за нами — Катя с Верой.

Июльская ночь прохладна. Шелест деревьев. Ничего необычного, но насколько же всё точно выполнено, ни одного лишнего мазка. Собственно говоря, всё в природе должно быть обычным, только тогда

оно узнаваемо и трогает душу. Отражается впоследствии в разных немеркнущих вещах — скажем, во *Временах года*.

Правая моя рука дрожит сильнее обычного. Перехватываю Верин взгляд и засовываю руку в карман. В последнее время я не думал о болезни и осознаю это только сейчас. Вера сжимает мои и Катины руки. Врачи реанимобиля истолковывают этот жест неправильно и предупреждают, что с ними едет только Вера. Вера знает, что остальные поедут на другой машине, но от этого предупреждения что-то в ней сжимается. Она ложится, как велят, на носилки, и врач задерживает занавеску. Нам с Катей остается лишь ее голос:

— Если выкарабкаюсь, поедем в Скалею, да?

Ответ заглушает захлопнувшаяся дверь. Катя волнуется, что наше *поедем!* прозвучало недостаточно громко, что Вера его не услышала. Успокаиваю ее, что — достаточно и что услышала.

Вслед за реанимобилем с места трогается наша машина. Они составляют странную пару: нашпигованный техникой медицинский автомобиль и роскошный, по-летнему открытый кадиллак. Плывут по ночному городу, и беззвучное мерцание мигалки придает их движению потусторонний вид. Где-то между Аугсбургом и Мюнхеном мчится машина с донорской печенью. На Людвигштрассе, где напряженное движение даже ночью, реанимобиль включает сирену. Малая секунда, нет в музыке большего диссонанса. Ворота клиники отъезжают в сторону, как в замедленной съемке. Реанимобиль вкатывается на пандус, нашей машине показывают место на парковке.

Ворота клиники открываются безостановочно, в них продолжает въезжать поднятый по тревоге

персонал. Прибывают трансплантологи, специалисты по сосудистой хирургии, анестезиологи, медсёстры, техники и многие другие, без кого операция не состоится. Они выходят из своих автомобилей и устремляются в общем замедленном ритме к входу. Всё раздвигается само: ворота, двери клиники, двери реанимобиля, из которых выезжает на носилках Вера. С той же неторопливостью носилки (они превращаются в каталку) принимают четыре санитары и перемещают их к дверям клиники. Прижав пальцы к губам, за происходящим с парковки наблюдает бледная Катя. Всеобщее это движение сливается в единый бездушный механизм, который завораживает ее и поглощает нашу девочку. Мне кажется, что Катя сейчас упадет. Сделав шаг к ней, беру ее под руку.

— Мы не успели ей ничего сказать, — шепотом произносит Катя. — Глеб, мы ее поцеловать не успели...

Чувствую, как у меня дергается подбородок. Нестор обнимает нас обоих.

— Она знает, что вы здесь...

Катя резко освобождается от объятий.

— Она въезжала в эти двери совершенно одна.

Операция начинается через три часа. Мы с Катей и Нестором ждем в коридоре, ведущем в операционную. Стоим — сидеть не получается. В какой-то момент Катя говорит, что ей нужно отлучиться. Я удивляюсь, что она берет с собой сумку, но Катя объясняет: женщине сумка нужна везде. Когда она возвращается, улавливаю запах коньяка. Судя по быстрому взгляду Нестора на Катю, он тоже улавливает. Мы не подаем вида.

На седьмом часу операции к нам выходит один из хирургов. Он переодет в цивильное. Его приглаша-

ли для консультаций по первому этапу операции, и этот этап успешно пройден. О том, каково настроение в операционной, догадываться не нужно: он улыбается.

— Всё идет по плану. Смертельно хочется курить.

При слове *смертельно* я вздрагиваю. Есть слова, не созданные для хирургов.

— А можно мы покурим с вами? — спрашивает Катя.

Врач всё понимает. Приглашает проводить его до машины. Выйдя на воздух, закуривает и рассказывает, как вначале была удалена больная Верина печень. Для поддержания кровообращения установлены шунты (берет сигарету двумя пальцами и показывает, как они были установлены), а также подключен насос, качающий кровь к сердцу. Следующим этапом стало помещение трансплантата на место удаленного органа. Сейчас заканчивают сшивать артерии и вены, и уже ясно, что новая печень будет работать. Осталось, по сути, решить вопрос циркуляции желчи, поскольку донорская печень пересаживается без желчного пузыря.

На вопрос Нестора о доноре хирург отвечает, что это врачебная тайна. Он может лишь сказать, что речь идет об автокатастрофе в Аугсбурге. Такова жизнь... В его рассказе появляются философские нотки: еще вчера человек не знал, что его печень самостоятельно отправится в Мюнхен. Родные дали разрешение на изъятие органа, но их пришлось уговаривать. Всё. *Ауф видерзеен*. Он садится в машину и подъезжает к воротам. Скупым жестом прощается с охраной.

Настенные часы. Идет девятый час операции. Больше из операционной никто не выходит, но

прежнего напряжения уже нет. По распоряжению главврача нам привозят тележку с кофе и круассанами. Садимся за стеклянный столик под пальмой. Главврач звал нас к себе, но Катя говорит, что предпочитает тропический завтрак. На самом деле она не хочет покидать свой пост. Это единственное, что мы можем сейчас сделать для Веры. Даже курить ходим во двор по очереди.

Сейчас моя очередь. Сажу на скамейке под кленом. Листья клена шевелит слабый ветер. Моя одежда вся в солнечных пятнах, напоминает камуфляж. Она — арена борьбы между светом и тенью. Если бы не движение воздуха, было бы уже жарко. Мимо проходят врачи и пациенты, смотрят на меня с любопытством. Некоторые улыбаются и здороваются. Чтобы не отвечать, опускаю голову и смотрю вниз.

Там — своя жизнь. Группа муравьев тащит какое-то крылатое существо в сторону газона. Всюду одно и то же. Стоит только обнаружить крылья, как тебя норовят куда-то упрятать. Личным моим опытом это не подтверждается, но образ хороший: кто-то один крылатый и масса социально ориентированных муравьев. Понимаю, что во мне начинает говорить усталость.

Возвращаюсь к Кате и Нестору.

— У меня сейчас медсестра что-то спрашивала, — говорит Катя. — Перед этим уточнила: вы Верина мама? Меня впервые в жизни мамой назвали. Невероятное ощущение!

Целую Катю.

— Могу себе представить...

Катя касается пальцем моего носа.

— Можешь? Тебя называли мамой?

Катаясь на велосипеде по Английскому саду, Глеб упал и сломал два пальца левой руки. Когда кости срослись, стало ясно, что один палец действует по-прежнему, а второй — нет. То есть он тоже действовал, но не вполне. Для музыканта недостаточно. Счастье в этот раз от него отвернулось. Нелепая случайность отняла у него всё: звездный статус, звездные гонорары, но главное — смысл жизни, который он теперь находил в своих выступлениях. Майер устраивал для него врачебные консультации, но там не говорилось ничего внятного. И хотя он призывал Глеба не раскисать, утверждая, что всё поправимо, с течением времени это произносилось всё с меньшей убежденностью. В один из дней, когда Глеб сказал, что вертикальный взлет окончился вертикальным падением, Майер пробормотал что-то протестующее, но не возразил. И это стало для Глеба ударом. Он понял, что, несмотря на осознание пришедшей беды, твердо верил в умение своего продюсера решать любые проблемы. Это умение, как оказалось, имело свои границы. Впервые в жизни у Глеба началась депрессия. Он сорвал развешенные Катей по стенам афиши своих выступлений, выбросил собранную ею коллекцию газетных отзывов и отвез Майеру его гитару. Глеб избавлялся от всего, что напоминало о ярком отрезке его жизни. На робкий вопрос Кати, чем он хотел бы теперь заниматься, последовал короткий ответ: ничем. Бурные эмоции быстро утомляют, особенно при отсутствии сил. Истерический период Глебовой депрессии сменился полной апатией. Он стал много спать. Как когда-то, в непростые годы отрочества, по утрам ему не хотелось вставать, и он держал глаза за-

крытыми так долго, как только это было возможно. Катя скрипела дверями и стучала ящиками, но Глеб знал, что, пока глаза его закрыты, она не станет его беспокоить. После завтрака ложился с книгой на диван и, прочитав пару-тройку страниц, снова засыпал. Несколько оживлялся лишь к вечеру, когда они с Катей за ужином смотрели детективы. Новые фильмы Глеба не увлекали — он любил немецкие сериалы шестидесятых-семидесятых годов. В них действовали мудрые усталые комиссары, обликом напомилавшие мосфильмовских секретарей обкома, и добро всегда побеждало зло. Так Глеб открывал для себя иную Германию, о которой прежде ничего не знал. В этой стране со скрипом открывались те же фанерные шкафы, что стояли в коммуналке его детства. В распахнутых окнах курили двойники дяди Коли, а стоптанная до дыр обувь регулярно сдавалась в ремонт. В один из киновечеров раздался телефонный звонок. Глеб, который давно уже не подходил к телефону, не изменил себе и на этот раз. Не подошла и Катя, поскольку получила на этот счет строгое указание от мужа. Но телефон звонил и звонил, и Катя все-таки подошла. Звонил Федор. Поздоровавшись, попросил к телефону сына. Спросил, как у Глеба дела. Получив короткий ответ (нормально), Федор сказал: дід помирає. Мефодий лежал в одной из киевских больниц. Что-то у него было с кровью. Щось недобре, уточнил Федор. Як хочеш попрощатися, приїжджай. Приеду, сказал Глеб. Ему стало страшно, что Мефодия больше не будет. Дед давно был слаб, и Глеб уже не помнил, когда говорил с ним в последний раз, но само существование Мефодия вносило в его душу покой. Глеб знал, что есть по меньшей мере один человек, который за него ежедневно молится. А теперь вот его не будет.

На следующий день Глеб вылетел в Киев. Катя забронировала ему гостиницу возле больницы — это было хорошим объяснением того, почему он остановился не у отца. Бросив вещи в номере, Глеб прошелся до больницы пешком. Вдыхал душистое киевское лето. Таким его делали клумбы у больничного корпуса. Они напоминали Глебу о детстве. Чернобрицы, анютины глазки, табак (он-то по преимуществу и благоухал), растрепанная барышня. Деда Глеб нашел слабым телом, но крепким духом и настроенным на беседу. Состояние своего здоровья дед предпочел не обсуждать — сразу перешел к жизни Глеба. Тот отделался общими фразами, но Мефодий безошибочно почувствовал неблагополучие. Попросил внука быть откровенным, как это всегда было в их отношениях, и Глеб понял, что на самом деле этого приглашения ждал. Если в чем-то слове он сейчас и нуждался, то в дедовом. Рассказывая о свалившейся на него беде, Глеб испытывал стыд за свою слабость, но одновременно — облегчение. Выслушав внука, Мефодий взял его ладонь и долго ее рассматривал. Хвилююся¹ не за пальці твої, а за безсмертну душу. Не впадай, Глібе, у відчай². Глеб (колеблясь): не знаю, как это объяснить... Вот, скажем, в моей жизни всегда было развитие. Ну, словно передо мной раскатывали великолепный ковер. И вдруг он кончился, понимаешь? Я стою, и неясно, что делать. Совершенно неясно. Какой смысл в этом стоянии? Мефодий (перейдя на русский): ты исходишь из того, что по ковру можно двигаться только вперед. Но это не так. Развитие — это разворачивание чего-то свитого. Этого самого

¹ Волнуюсь.

² (В) отчаяние.

ковра. Вот он кончился, ты стоишь и смотришь вперед. А за спиной у тебя тканые узоры — ходи по ним сколько хочешь. Глеб: так ведь идти в этом случае можно только назад, из сегодня во вчера. Какой в этом движении смысл? Мефодий: с точки зрения вечности нет ни времени, ни направления. Так что жизнь — это не момент настоящего, а все прожитые тобой моменты. Глеб: ты говоришь о настоящем и прошлом, но молчишь о будущем — так, будто его нет. Мефодий: а его действительно нет. Ни в один из моментов. Потому что оно приходит только в виде настоящего и очень, поверь, отличается от наших представлений о нем. Будущее — это свалка фантазий. Или — еще хуже — утопий: для их воплощения жертвуют настоящим. Всё нежизнеспособное отправляют в будущее. Глеб: но человеку свойственно стремиться в будущее. Мефодий: лучше бы этот человек стремился в настоящее. Вошла процедурная сестра и попросила Глеба подождать в коридоре. Он вышел. Двинулся в другой конец коридора, стараясь попадать ногами в клетки линолеума. Остановился. Как, в сущности, было бестактно говорить с умирающим о будущем. Даже если будущего нет. Вернувшись в палату, постарался сменить тему. Рассказал анекдот о русских и украинцах, получилось не смешно. Чтобы прервать затянувшееся молчание, сказал, что иногда и сам не знает, русский он или украинец. Хотя знал, конечно, с самого детства. Ты — це ти, Мефодий опять перешел на украинский. Як то співають: людина¹ — як дерево, вона звідси² і більше ніде³...

¹ Человек.

² Отсюда.

³ Нигде.

Прощаясь, Глеб (он выговорил это с трудом) попросил деда поскорее выздоравливать. Мефодий обещал стараться. Он понимал, что внук не хочет говорить о смерти, а Глеб знал, что дед это понимает. Испытывал жгучий стыд за слова, за тон, за неспособность пройти с дедом несколько шагов, отделявших его, деда, жизнь от смерти. Так было уже, когда умирала бабушка, и ничто не изменилось. В самолете, прильнув к иллюминатору, Глеб вспомнил слова деда о будущем. Думал обо всех, кто размещал там свои мечты. Мать — о Брисбене, Бергамот — о славе, Франц-Петер — о маленькой Даниэле. Принесло ли им это счастье? Стюардесса подала Глебу апельсиновый сок. Наконец-то что-то позитивное... Возвращая стакан, спросил: о чем вы мечтаете? О благополучном приземлении, господин Яновски. Глеб сказал ей, что мечта ее сбудется, и она воспрянула духом. Что важно: у него есть Катя и их любовь, это — в настоящем. И настоящее. Через месяц Майер договорился об операции в Израиле. Еще через два месяца Глеб приступил к репетициям.

09.07.14, МЮНХЕН И ПРОЧ.

Десятый час операции.

Пытаюсь говорить спокойно.

— Мне звонил главврач, у Веры возникли какие-то проблемы с сердцем. Туда уже направили бригаду кардиологов.

— Мы их видели, — произносит Катя будничным тоном.

Нестор кладет ей руку на плечо.

— Здесь квалифицированные врачи. Кать...

Катя кивает.

— Я отойду на минуту...

— Катюша, если тебе нужно выпить, — показываю на ее сумку, — пей здесь.

Катя заходит за пальму и достает из сумки фляжку. Приложившись к горлышку, протягивает ее нам с Нестором. Мы делаем по глотку. Перед тем как завинтить крышку, Катя еще раз касается горлышка губами.

— Как ты не понимаешь, — Катя внезапно переходит на повышенный тон, — что, если он счел нужным тебе это сообщить, значит, дело совсем плохо! И почему он не сказал этого лично? Мы же здесь! Я тебя спрашиваю, почему он сообщил это по телефону?!

Она припадает к фляжке, не предлагая больше никому. По коридору — один в полушаге от другого — идут два врача. Катя оставляет фляжку в горшке с пальмой и бросается к ним. Цепляется ногой за широкий поддон. Падает. Мы с Нестором ее поднимаем, врачи скрываются за дверями. Санитары почти бегом толкают громадный куб, и Катя перегораживает им дорогу. Совсем еще мальчишки, смотрят испуганно.

— Что там происходит? — она переходит на крик. — Что вы, черт побери, везете?!

— Дополнительное оборудование для реаниматологов... Пропустите нас, пожалуйста.

Коридор полон медперсонала и неизвестно откуда взявшихся больных. Катя закрывает лицо руками. Делает шаг назад. Я и Нестор держим ее за руки. Чей-то телефон играет *Токкату* Баха. Стрелки настенных часов замирают и начинают двигаться в обратную сторону.

Из операционной выходит пожилой хирург. Выбрали его. Идет медленно. Остановилось сердце... Катя зажимает ему рот, чтобы кричать самой. К ней подбегает сестра с таблеткой и стаканом воды. Катя выбивает стакан у нее из рук. Кто-то из больных вскрикивает. Они пытались завести Верино сердце в течение двух часов... Стакан касается пола и взрывается смесью стекла и воды. Они сделали всё, что могли.

Катя поворачивается и, покачиваясь, идет к выходу. Толпа расступается перед ней как море. Внизу десятки корреспондентов. На ступенях она поскользывается, ее подхватывает под руку телеоператор. Мы с Нестором ее догоняем. Катя направляется к машине. С трудом открывает дверцу. У машины целует Нестора и показывает ему, чтобы отошел. Смотрит на меня:

— Садись, Глеба.

Главврач:

— Она на ногах не держится! Господин Яновски, я прошу вас сесть за руль.

— Понимаете, — Катя ерошит главврачу волосы, — он не умеет водить. Ну, то есть совсем... А ехать мы должны вдвоем.

Она заводит мотор. Я сажусь на переднее сиденье.

— Не устраивайте комедии. — Главврач наклоняется надо мной. — Я не открою ворота.

Не поднимаю глаз:

— Тогда мы пойдем на таран.

Катя предупреждающе нажимает на газ. Главврач говорит что-то санитару, и тот бежит к гаражу. Через мгновение оттуда выезжает реанимобиль и ста-

новится перед нашей машиной. Ворота начинают свое боковое движение, реанимобиль включает сирену и мигалку. Из него высовывается санитар и показывает Кате, чтобы следовала за ним. Катя кивает, что поняла. Жестом просит его выключить сирену. Когда становится тихо, она поворачивается ко мне:

— Включи песню про уток. Громче. Вот так.

С первыми тактами песни реанимобиль трогается с места. Катя следует за ним. Мы покидаем территорию клиники. Уступая место кортежу, машины прижимаются к тротуарам.

Смотрю на Катю. Прямая спина. Готическое лицо. Плотно сомкнутые губы. Застывшие черты оживляют бегающие огни мигалки. Катя-Сама-Неподвижность неожиданно начинает раскачиваться в такт песне. Кладет руку мне на плечо, и мы раскачиваемся вдвоем. К нашей машине пристраиваются автомобили телевидения: они ведут прямой репортаж. Потом отстают. Реанимобиль тоже куда-то сворачивает. Дальше мы с Катей едем одни.

В полном одиночестве въезжаем в Скалею, куда обещали привезти Верочку. Днем набираемся впечатлений, а вечером, сидя на балконе, делимся ими с девочкой. Нестор не исключал, что она может нас слышать. Говорите с ней иногда, посоветовал, вам будет легче, а может быть, даже и ей.

В первый день сообщаю Вере, что вода очень теплая. На мой вкус, даже слишком, уточняет Катя. А на воде — катера, яхты (Катина кисть движется волнообразно), такое спокойствие. Несмотря на то что рука Глеба немного сдала, он сегодня плавал кролем и брассом. Шепчу: скажи про скалу. Ах да, вспоминает Катя, там в одном месте есть подвод-

ная скала — важно, плавая, не удариться. Просто быть внимательным: вода такая прозрачная, что ее видно издали. Одной частью скала выходит на поверхность, вся в бурых водорослях — вылитая макушка, которую причесывают волны, да, Глеб?.. Представляю, как это может надоест (провожу ладонью по волосам) — тысячи лет непрерывного причесывания.

На следующий день идем в средневековую часть города, она на горе. Свернув с виа Рома, наталкиваемся на византийскую часовню — так Кате подсказывает ее планшет. Восьмой век. Сохранились фрески. Святитель Николай. Часовня в частном владении... Катя проходит по нескольким ссылкам. Вот, нашла... Ключ у Люции, живущей рядом. Стучим к Люции. Соседи говорят, что пошла в гости. Отправляемся по ее следам и в одном из домов находим Люцию, пожилую итальянскую даму. Говорим с ней на условном английском. Да, готова показать, почему нет? Ключ у нее при себе.

Входим в часовню. Освещение — естественное: у строения отсутствует крыша. В апсиде действительно фрески. Они повреждены, но в сохранившихся фрагментах краски не выцвели. Посередине — каменный жернов (одно время здесь была мельница), что-то вроде экспоната. Когда глаза привыкают к полумраку, в углу замечаем человеческую фигуру. Неподвижна. Еще один экспонат.

— Это отец Нектарий, — шепотом говорит Люция. — Русский.

Фигура оживает и крестится. Катя вздрагивает. Также шепотом:

— Он здесь... всегда?

— Приходит молиться. У него свой ключ.

Нектарий зажигает свечу и становится на колени. Лючия неслышно выходит.

Теряем счет времени. Смотрим на Нектария и его свечу. Он читает молитвы очень тихо, и мы слышим только их отрывки. Только бы не останавливался — не хочется отсюда выходить, потому что здесь нет времени. А снаружи — будущее, которого у меня, собственно, и нет. Стоять бы вечно под это бормотанье, погружаясь в его покой. Обманывая будущее, ждущее там, за дверями.

Нектарий стоит передо мной — маленький, седой. Круглые очки в металлической оправе. Поймав мой взгляд, улыбается:

— Очки — винтаж, достались от одного монаха. — Улыбка его тает. — Ты ведь сейчас о будущем думал?

— Ты, отче, ясновидящий?

— Нет, просто видящий — благодаря тем же очкам: у тебя рука трясется. Подозреваю, что ты серьезно болен.

— Еще недавно мне было страшно, что болезнь отняла у меня будущее. А теперь, знаешь, нет.

— Будущее легко отнять, потому что его не существует. Это всего лишь мечтание. Трудно отнять настоящее, еще труднее — прошлое. И невозможно, доложу я вам, отнять вечность. — Он кладет ладонь мне на голову. — Если в болезни сократятся дни твои, то знай, что в таком разе вместо долготы дней тебе будет дана их глубина. Но будем молиться, чтобы и долгота не убавилась.

Мы с Катей взбираемся на вершину горы. Море с высоты неоднородно. Течения и мели аккуратно отмечены разными красками. Белые точки яхт у берега сравнялись в размерах с лайнером на горизонте.

У самых наших ног начинается тропинка вниз. Кто по ней ходит — звери, человеки, ангелы? Крута — как по такой спускаться?

— Катя, я всё думаю: о Верочкиной смерти надо сообщить Анне.

Катя пожимает плечами:

— Смысл? Анна живет в своем мире, зачем ее беспокоить?

Я набираю номер больницы Анны, чтобы посоветоваться с врачом. Тот, подобно Кате, сомневается. Спрашивает: зачем? Долг, отвечаю. Без воодушевления (*это ваше право*) просит перезвонить минут через пятнадцать. Говорит, что, скорее всего, она меня просто не узнает.

Мы с Катей молчим. Глядя на сбегающую вниз тропинку, неожиданно припоминаю спуск с горы в раннем детстве. Меня на всю жизнь напугавший. Не оставивший в памяти никаких деталей. Что это было за место на земле? Гора Синай? Арарат? Или, допустим, город Каменец-Подольский, где мы однажды навещали родню отца? И нет у меня воспоминания более раннего. Оно как фреска в часовне — большая часть стерта. Помню только, что я на чьих-то руках. И этот кто-то спускается, балансируя, боком. Нога к ноге, нога к ноге. И музыка трагическая, соответствующая этому спуску, — двухчастные фразы. Что это была за музыка? *Lacrimosa*? За пультом Герберт фон Караян? Вряд ли... Вряд ли Караян бывал в Каменце-Подольском. Игры памяти, привычка мыслить в музыкальных образах.

Снова связываюсь с больницей. Включаю громкую связь, чтобы слышала Катя. Врач (подчеркнуто сух) говорит, что передает трубку Анне. Вопреки ожиданиям, Анна меня узнает. Сообщает о навязчи-

вом внимания к ней со стороны мужчин. Жалуется, что вчера впервые ее не навестила Вера.

Катя поднимает голову и смотрит на меня. Прикрыв трубку ладонью, шепчет:

— Скажи: уехала...

Осипшим голосом повторяю, что Вера уехала. Надолго. После паузы из телефона раздается:

— Куда?

Смотрю на Катю.

— В Брис-бен... — шепчет по слогам Катя. — Это в Ав-стра-лии.

Получив мой ответ, Анна на пару минут задумывается. Когда уже кажется, что связь потеряна, спрашивает:

— Замуж вышла?

— Да...

— Там, в Австралии?

Прочищаю горло.

— В Австралии.

— За кого? Ну, что ты молчишь?

— За австралийца.

P.S.

Отпевание Веры проходит в узком кругу и в отсутствие прессы. Девочка, в одночасье ставшая знаменитой, находит свое упокоение на одном из мюнхенских кладбищ. С тех пор Яновские недоступны. Они не подходят к телефону и не отвечают на письма. Когда упоминания о них прочно соединяются со словом *исчезновение*, они внезапно появляются на публике.

Это происходит 15 ноября 2014 года на благотворительном концерте в лондонском Альберт-холле, где планировалось выступление Глеба и Веры. Дирижирует великий Санторини. Глеб выходит на сцену, и зал в молчании встает. Один за другим начинают зажигаться огни мобильных телефонов. Через минуту зал становится мерцающим морем. Санторини (над дирижерской палочкой — электрическая дуга) вопросительно смотрит на Глеба. И зал смотрит. Глеб одними глазами показывает, что готов. Санторини подходит к Глебу и, обняв его, что-то говорит ему на ухо.

Взмах палочки. Оркестр. У Глеба перехватывает горло, вступить он не может. Даже издали видно, как трясется его рука. Оркестр начинает играть еще раз, и дирижер в нужном месте дает Глебу знак. Бесполезно: Глеб не вступает и в этот раз. Из полуоткрытого его рта не раздается ни звука, по щекам текут

слёзы. Оркестр играет Верину песню, по большому экрану скользят ее слова. Глеб молчит.

На следующее утро газеты пишут исключительно о нем. Под заголовком *Две четверти молчания* выходит интервью с Санторини.

Вопрос: Перед выступлением вы обняли Яновского и что-то ему сказали. Что именно?

Ответ: Ничего особенного. У нас не было репетиций, и я лишь обозначил манеру исполнения: *andante cantabile* — медленно и певуче.

Вопрос: Получилось — взволнованно и молча?

Ответ: Может ли быть лучшее окончание музыкальной карьеры?

Вопрос: Вы шутите?

Ответ: Я не шучу уже много лет. Идеальная музыка — это молчание.

Имя Глеба Яновского еще раз всплывает в 2018 году. На этот раз он появляется в Киеве на судебных слушаниях по знаменитому делу *таксистов*. Таксисты передавали криминальной группировке одиноких пассажиров, ехавших в аэропорт и из аэропорта. Ограбленных пассажиров убивали — в этом причина того, что поиски бандитов затянулись. В показаниях одного из таксистов упоминается имя Ирины Яновской. На его вопрос о том, куда она летит, Ирина ответила: в Брисбен. Когда же он поинтересовался, отчего ее никто не провожает, она засмеялась и сказала, что проводы — это разведение сырости.

Покончив с заготовленными вопросами, таксист спросил из чистого любопытства, чего она ждет от Брисбена. Счастья, коротко ответила Ирина. Но почему именно в Брисбене, удивился тот. Потому, сказала Ирина, что он на другой стороне земного шара.

Этот город она описывала всю дорогу. Таксист до сих пор дословно помнит ее рассказ, ее сияющие глаза в зеркале заднего вида. Ничего сравнимого по полноте сведений и накалу этот человек о Брисбене с тех пор не слышал. Продолжая по требованию прокурора давать показания, он сообщает, что перед аэропортом свернул в назначенном месте в лес и оставил машину на полчаса. Когда вернулся, Ирины в ней уже не было.

В ходе судебного разбирательства выясняется также, что сразу после исчезновения матери Глеб приехал в Киев и с тех пор летал сюда регулярно. Став состоятельным, нанимал частных сыщиков, обещал вознаграждение милиции, но результат оказался нулевым. Ирины так и не нашли. На последнем заседании Глеб встает и говорит, что не считает свою мать умершей. Это его единственная фраза на процессе.

Зная, что готовится книга о нем, Глеб передает издателям дневник, который вел на протяжении трех лет. Эти записи будут опубликованы в книге. Глеба спрашивают, не хотел ли бы он добавить нечто такое, что было бы существенно для рассказа о его жизни и творчестве. Он задумывается и отвечает, что, пожалуй, мог бы добавить.

Ему вспоминается обрыв. На самом краю шевелятся высокие травы. Тревожно. Где-то за травами — дорожка вниз. За травами — пропасть. Оттуда поднимаются клубы дыма, как если бы там, внизу, жгли прошлогодние листья. Глеб, двухлетний, на руках у незнакомой женщины. Ощущает ее холодные ладони. Мать боится — ей тут самой страшно спускаться, а уж с ребенком на руках... Мальчик хочет сказать, что, может быть, не надо вниз, но словесный его запас ничтожно мал, да и выясняется, что нужно,

в общем, именно туда, других путей не предвидится. Я снесу ребенка, говорит женщина, а ты спускайся себе, Ирина. Похоже, эта женщина своя здесь и как бы привыкла к спускам, но Глебу от этого еще страшнее. В его глазах — ужас. Мать протягивает к нему руки, и вот он уже в ее объятиях. В слезах они начинают свое движение вниз. Ирина спускается боком, медленными приставными шагами. Напоминает усталого краба. Звучит музыка, рожденная ритмом этого нелепого и грозного спуска, — слышна ли она кому-нибудь, кроме Глеба? Мать тяжело дышит. Ладонью закрывает от ребенка пропасть. Раз за разом их окутывает дым, а неизвестная стоит над обрывом как вперёдсмотрящий.

Литературно-художественное издание

Водолазкин Евгений Германович

БРИСБЕН

Роман

Главный редактор *Елена Шубина*

Литературный редактор *Галина Беляева*

Выпускающий редактор *Вероника Дмитриева*

Корректоры *Надежда Власенко, Максим Кривов*

Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 12.07.2019. Формат 84x108/32.
Усл. печ. л. 21,84. Доп. тираж 7000 экз. Заказ № 5532.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2019 г.

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж

Наш электронный адрес: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасының импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан:

ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі

«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.

Тел.: +8(727) 2515989, 90, 91, 92, факс: +8(727) 2515812, доб. 107

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей



Отпечатано в ООО «Тульская типография».
300026, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 109.

Евгений Водолазкин
СОЛОВЬЕВ И ЛАРИОНОВ



Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового целителя стал литературным событием 2013 года (премии «Большая книга» и «Ясная Поляна»), был переведен на многие языки. Следующие романы — «Авиатор» и «Брисбен» — также стали бестселлерами.

«Соловьев и Ларионов» — ранний роман Водолазкина — написан в русле его магистральной темы: столкновение времён, а в конечном счете — преодоление времени.

Молодой историк Соловьев с головой окунается в другую эпоху, воссоздавая историю жизни белого генерала Ларионова, — и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его собственную жизнь. И вот уже сквозь современную научную конференцию проступает Ялта двадцатых годов и горящий в Гражданской войне Крым...

Евгений Водолазкин

ЛАВР



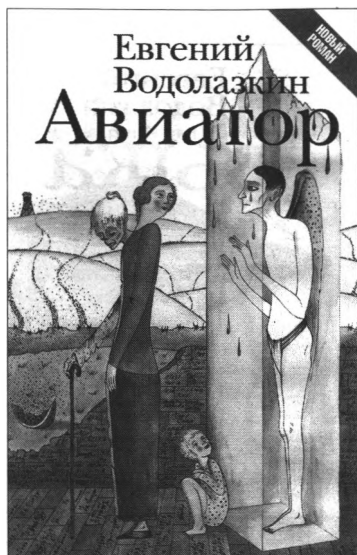
Евгений Водолазкин – автор романа «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист «Большой книги») и сборника эссе «Инструмент языка». Филолог, специалист по древнерусской литературе, он не любит исторических романов, «их навязчивого этнографизма – кокошников, повойников, портов, зипунов» и прочую унылую стилизацию. Используя интонации древнерусских текстов, Водолазкин причудливо смешивает разные эпохи и языковые стили, даря читателю не гербарий, но живой букет.

Герой нового романа «Лавр» – средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар.

Есть то, о чем легче говорить в древнерусском контексте. Например, о Боге. Мне кажется, связи с Ним раньше были прямыми. Важно уже то, что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, что озадачивает. Неужели со времен Средневековья мы узнали что-то радикально новое, что позволяет расслабиться?

Евгений Водолазкин

Евгений Водолазкин
АВИАТОР



Евгений Водолазкин — прозаик, филолог. Автор бестселлера «Лавр» и изящного historical fiction «Соловьев и Ларионов». В России его называют «русским Умберто Эко», в Америке — после выхода «Лавра» на английском — «русским Маркесом». Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки.

Герой романа «Авиатор» — человек в состоянии *tabula rasa*: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала XX века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки... Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре — 1999 год?..

Роман удостоен премии «Большая книга».

Евгений Водолазкин
ДОМ И ОСТРОВ,
или ИНСТРУМЕНТ ЯЗЫКА



Евгений Водолазкин (р. 1964) — филолог, автор работ по древнерусской литературе и... прозаик, автор романов "Лавр" (премии "Большая книга" и "Ясная Поляна", шорт-лист премий "Национальный бестселлер" и "Русский Букер") и "Соловьев и Ларионов" (шорт-лист премии "Большая книга" и Премии Андрея Белого).

Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и — пожалуйста — уже лежит. И все-таки "быть ихтиологом и рыбой одновременно" — не только допустимо, но и полезно, что и доказывает книга "Дом и остров, или Инструмент языка". Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды — что-то от пушкинских "table-talk" и записей Юрия Олеши — напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.

Евгений Водолазкин – лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». В романе «Брисбен» он продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых – как в античной трагедии – вдруг и сразу меняется.

Глеб Яновский – музыкант-виртуоз – на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает...

Прошлое – он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные.

Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер?



– В твоих интервью часто упоминается город Брисбен, ну, и вообще – Австралия. Почему?

– Потому что, когда у нас зима, у них – лето.

– А когда у нас – лето?

– Тогда у них тоже лето. По нашим меркам – лето. В нашей семье это место считалось раем.

– Длярая там слишком специфическое население. Потомки каторжников.

– И – что?

– Длярая требуется хорошая биография.

– Ты там был?

– Где, в Австралии?

– Нет, в раю. Откуда ты знаешь, какая там требуется биография?

ISBN 978-5-17-111100-7



9 785171 111007